

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

БРЕНКЕЛЛА

2(6)2018

ВРЕМЕНА

**Литературно-художественный
и общественно-политический
журнал**

Выпуск 2 (6) 2018

**Нью-Йорк
2018**

ВРЕМЕНА
Международный литературно-художественный
и общественно-политический журнал

VREMENA
International Journal of Fiction, Literary Debate,
and Social and Political Commentary

Publisher Leon Mikhlin

Editor David Guy

Design and layout Slava Petrakov

Copyright © 2018 Leon Mikhlin

No part of this publication may be reproduced or transmitted
in any form or by any means – electronic, mechanical,
photocopy, or any other – except for brief quotations in printed reviews,
without prior permission from the Publisher.

For any information about obtaining permission to reproduce
selections from the journal, please call 917-922-4153 и 646 -270-9615
or send an email to lbm28w@aol.com и guydmf@yahoo.com

All rights reserved

ISBN: 978-1986739825

Printed in the United States of America

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

ИРИНА БАСОВА-ЗАБОРОВА	(Франция)
Марк ВЕЙЦМАН	(Израиль)
ГЕННАДИЙ КАЦОВ	(США)
МАРИНА ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР	(США)
СЕМЕН РЕЗНИК	(США)
МИХАИЛ РУМЕР-ЗАРАЕВ	(Германия)
ЕВСЕЙ ЦЕЙТЛИН	(США)
ЛАРС ПОУЛЬСЕН-ХАНСЕН	(Дания)
ЭЛЛАЙДА ТРУБЕЦКАЯ	(США)

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

- ВАЛЕРИЙ БОЧКОВ. Возвращение в Эдем6
- ЛЕОН МИХЛИН. Индийский гамбит (продолжение)63
- ЕВГЕНИЙ КИСИН. Волшебный круг88
- ПОЛИНА ЖЕРЕБЦОВА. 45-я параллель116
- ГРИГОРИЙ ПИСАРЕВСКИЙ. Ночные тени.163
- СТАНИСЛАВ РОСОВЕЦКИЙ. Телеграфист из Фо-Пикс172

ПОЭЗИЯ

- МИХАИЛ КОВСАН55
- ГЕННАДИЙ КАЦОВ109
- ЕВГЕНИЙ СЛИВКИН143
- 70-ЛЕТИЕ ИЗРАИЛЯ. Из юбилейного сборника151
- АННА ПАВЛОВСКАЯ252

ПОЛЕМИКА

- ВЛАДИМИР ФРУМКИН. Хотят ли русские свободы?197

РЕМИНИСЦЕНЦИИ

АНДРЕЙ ОСТАЛЬСКИЙ. Судьба нерезидента (окончание)223

ИМЕНА В ЛИТЕРАТУРЕ

ЕВСЕЙ ЦЕЙТЛИН. «Голос звезды»
(беседа с Верой Зубаревой)243

БЫЛОЕ

ЮЛИАН ФРУМКИН-РЫБАКОВ.
«Царь-бомба» или «Кузькина мать»258

ЭХО ХОЛОКОСТА

СВЕТЛАНА ГЕБЕЛЕВА. Тайные папки Анны Купреевой282

ИЗ ЗАПИСОК АДВОКАТА-КАМИКАДЗЕ

БОРИС КУЗНЕЦОВ. Внебрачная дочь Майи Плисецкой296

БИБЛИОГРАФИЯ

ЛЕОНИД СТОНОВ. Долгий путь от Черты до Черты314

Валерий БОЧКОВ

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ

Отрывок из романа

Где та грань, что отделяет реальность от фантазии? Оглядываясь назад, мы вспоминаем события, себя, других людей и эти картины невольно или осознанно искажены. Два свидетеля одного и того же происшествия совершенно искренне расскажут нам две совершенно разных истории. Да и память наша – инструмент весьма неточный; по себе знаю как по истечению времени трава воспоминаний становится зеленее, небо синее, подруги ласковей. Роман «Возвращение в Эдем» – роман-медитация, роман-путешествие – путешествие в глубь своей памяти. Это роман-парадокс, конфликт и главный болевой узел находится внутри самого героя. В лабиринте его памяти. Ответ на вопрос, заданный сегодня, скрыт не в завтрашнем дне, он таится во вчерашнем.

Я открыл глаза и увидел мёртвую равнину, пустую и серую, точно покрытую мягким пеплом. Сверху висело плоское небо мышинового цвета. Было душно, как после летнего ливня, который не принёс прохлады, а напротив, наполнил сумерки сырым жаром. Пахло тёплой гнилью и мокрой землёй.

На возвышении вроде кургана угадывались фигуры. Три – две мужские, одна женская – женщина сидела в кресле на тонких, высоких ножках, мужчины стояли с боков. Я знал – это сон, и поэтому интуиция играла более важную роль, чем зрение: неразличимые в сумраке детали без труда дорисовывало моё воображение. Я не мог разглядеть лиц, но я уже догадывался об этих людях. Я сказал – людях?

Тот, что слева, был в костюме арлекина, скроенном из пёстрых лоскутов. Его шляпа напоминала шутовской колпак, украшенный

серебряными бубенцами, такие же бубенчики сияли на его малиновых сапогах. Нет, не шут, – возразил кто-то в моей голове, – фокусник.

Подойдя ближе, я увидел в его руках четыре предмета – меч, пентакль, огненный шар и чашу с водой. Он ловко ими жонглировал. Четыре стихии, – сказал тот же голос, – ты видишь четыре магических символа в действии. Движения фокусника, полные тайного смысла, уверенные и лёгкие, казались игрой, пустой забавой. Но каждое новое сочетание символов сопровождалось неожиданным видением – то вспыхивала радуга, то с треском рассыпались искры, а то откуда не возьмись вылетала стая изумрудных колибри.

– Для кого он так старается? – спросил я. – Где зрители?

– Ему не нужны зрители. Вглядишься в его лицо.

Лицо его постоянно менялось, словно одна маска превращалась в другую. От безумного калейдоскопа рябило в глазах, я не успевал разглядеть одно лицо, как оно тут же сменялось следующим. Кое-кто мне был определённо знаком – я узнал птичий клюв Данте, тараканьи усища Дали, напудренный парик Моцарта.

– Ты понял смысл? – спросил голос.

– Да, – соврал я.

И я увидел другого, того, кто стоял справа.

В рваном платье, грязный, он напоминал нищего. Попрошайку, юродивого – такие обычно ждут медяков на ступенях церкви. На плече бедолаги сидел жирный ворон и долбил его клювом в висок. В босую ногу впился скорпион. Другую обвивала гадюка, жирная и блестящая, похожая на чёрный садовый шланг.

– Безумный, – подсказал голос.

Впрочем я и без подсказки догадался, что у парня с головой нелады – он улыбался. Улыбался блаженно, как человек, обитающий в своём тайном мире.

– А что там в мешке у него? – спросил я.

Блаженный сжимал в руках тюремный сидор из драной рожи.

– Меч, пентакль, огонь и вода.

– Как? – те же магические символы? Что и у Фокусника?

– Да. Только Безумный не знает, что с ними делать.

Я вгляделся в его лицо, рассчитывая увидеть калейдоскоп пер-

сонажей. Оно вдруг смазалось и превратилось в зеркало. Я смотрел на себя.

– Ты понял смысл?

– Да.

На сей раз суть была кристально ясна.

И я взглянул на женщину, что сидела между Фокусником и Безумным. Лицо её скрывала вуаль. Трон, увитый плющом и диким виномградом, был украшен цветущей сиренью, жасмином и какими-то мелкими полевыми цветами, название которых мне неизвестно. Платье её казалось сотканным из трав, на моих глазах клейкие почки раскрывались и выпускали новорожденные зелёные листья. Гудели пчёлы, сновали пёстрые бабочки, толстый шмель пытался влезть в сочную белую лилию. Кровавые маки размером с кулак раскрывали свои хищные влажные пасти.

Женщина подняла вуаль – я узнал её.

– Ева...

– Царица, – поправила она.

– У тебя... – я запнулся. – Тело...

– Тело? – она улыбнулась. – Ещё какое... Подойди ближе.

Округлыми гавайскими жестами она поманила меня. На меня повеяло утренним лугом, скошенной сладкой травой, я не думал, что когда-нибудь напишу такую пошлость, но от ванильного духа жасмина у меня закружилась голова.

– Ближе, – она взяла меня за плечи. – Ты что, боишься?

– Вот ещё... С чего ты взяла?

Стараясь не потревожить пчёл, пальцами я осторожно развёл листья, раздвинул тяжёлые маки. Из-под васильков и клевера мне в ладонь вывалилась тёплая грудь с большим соском идеально круглой формы. Я сглотнул, во рту было сухо. На груди золотистой пудрой лежала цветочная пыльца. Не знаю зачем, я сдул её. Ева притянула меня, медленно подалась вперёд и приоткрыла рот.

Это сон – мысленно повторил я, – сон.

Дело в том, что я не изменял Вере. За все пятнадцать лет – ни разу. Возможности, безусловно, подворачивались, но не было желания. И ещё с возрастом сформировалось понимание, мудростью не рискну это назвать, понимание того, что определённые поступки меняют тебя бесповоротно. После них жизнь не может оставаться

прежней. Даже если никто о случившемся не узнает. Достаточно, что это известно тебе. Назовём это точкой невозврата.

– Сон же... – влажно выдохнула Ева мне в лицо. – Вот дурак...

Большим и указательным пальцами я взял сосок, слегка сжал.

– Ой, – вздрогнув, шепнула Ева. – Аккуратней там.

Мне на руку сел большой махаон. Жеманно развёл крылья и снова сложил. Свет, огонь, грех: кончик языка совершает три шажка... – вот ведь сволочь, – невнятная ассоциация мелькнула и пропала. Сосок набух, пальцы уловили частый пульс. Точка невозврата осталась позади. Я закрыл глаза и подставил ей губы. Жаркий и мокрый рот жадно всосал меня; я никогда не целовался с мужчиной, наверное, примерно так мы это делаем – страстно и властно. На грани с болью.

Русский язык коварен – при неограниченной палитре оттенков и полутонов для описания душевных мук и волнений он становится коряв и неуклюж, как только речь доходит до физиологии. По нашей доброй национальной традиции мы и тут впадаем в крайность: либо тебе парфюмерная жеманность, либо – подворотня. Либо – любовная усада, райский экстаз и приоткрытые трепетные губы, обещающие негу и безумную страсть, либо... – впрочем, про подворотню вы и без меня знаете. Есть, правда, и третий путь – медицинско-клинический, но все те термины, на мой взгляд, должны оставаться внутри гинекологических справочников и прочей специальной литературы для врачебного пользования.

Странно – я словно учился чувствовать заново. Мало того – у каждого чувства проявился свой цвет. Боль, например, раскрылась красным спектром, от сочно багрового до наивного колорита персикового бока. Где-то между оранжевым и алым боль перетекала в удовольствие, уходя в синь. Пыльно лиловый, словно виноград «дамские пальчики», цвет наполнялся ультрамарином, становясь глубоко фиолетовым. Бархатный пурпур казался бездонным, засасывал как чёрная падь. Втягивал как тряпина, как топь.

– Ты всё вспомнишь, – Ева выдохнула, от неё нестерпимо пахло скошенным лугом. – Вспомнишь и поймёшь.

– Да, – пробормотал я в ответ. – Да...

Я не сопротивлялся – пошло всё к чёрту и будь что будет. К тому же мне это лишь снится. Сон цвета сапфира. Диковинный вы-

мысел, порнографическая фантазия. Не совсем ясно, чей вымысел и чья фантазия, но на это тоже плевать.

Ева определённо знала, что делает. Уверенная нежность удачно сочеталась с неспешной страстью. Похотливые руки блуждали по телу, сладострастно стискивали мои тощие ягодички. Она словно раскачивала качели, – не к месту вспомнился дурацкий детский стишок; стараясь попасть в ритм, я сжал её потные бёдра, на периферии сознания удивляясь их мускулистости.

– Вспомнишь и поймёшь.

Ева подалась вперёд, сипло выдохнув мне в лицо сиренью и скошенной травой, я неловко ткнулся и неожиданно проскользнул в мокрый пульсирующий жар. Кажется, я застонал или всхлипнул. С этого момента происходящее окончательно перешло в разряд фантазмагии. Гашиш и морфий – чушь. Рай и ад с треском столкнулись, сознание вспыхнуло и погасло – увы, невозможно описать то, что описать невозможно.

– Вспомнишь... – долетело умирающее эхо из параллельной вселенной.

1

Дом, где я родился, дальним своим боком упирался в стену тюрьмы. Тюрьма напоминала старую фабрику: шершавый тёмно-рыжий кирпич, щели окон с решёткой, в которые заключённые просовывали ладони, когда шёл дождь. Толстая кирпичная труба курилась невинным дымком, мало отличавшимся от наших июльских облаков. Раз в три месяца труба раздражалась густым чёрным дымом, и тогда жирная копоть оседала на тротуарах и мостовых, на листьях и траве. Впрочем, зелени в нашем Йенспилсе было всего ничего – дохлый парк с дюжиной хворых лип вокруг клумбы с георгинами, среди которых скучал гипсовый солдат, выкрашенный серебряной краской. Раньше на его месте стоял латышский барон. Его имя – Родригас Латгальский, замазанное цементом, при желании можно было разобрать на гранитном постаменте. Замок барона сторел за три месяца до моего рождения. Тогда там размещался наш местный «Дворец культуры» с буфетом, библиотекой и кинотеатром. В большом, «дубовом», зале устраивали городские торжества – отмечали

годовщину революции и день победы, встречали новый год – сначала утренник для малышни, а вечером, вокруг той же ёлки, гульбище для всех остальных. Свадьбу моих родителей праздновали тоже в «дубовом» зале. Именно той ночью замок и сторел.

Мне едва исполнилось полтора, когда отец исчез. После мать плела какие-то байки и показывала фотографии, которые впоследствии оказались открытками. Думаю, врала она, в первую очередь, себе, я был лишь случайной частью аудитории. Тонкий шёлк чёрного халата, тощее запястье, сигарета, аристократичность жеста неясного происхождения – всё это сквозь дым, точно полузабытый кадр из старого кино с давно умершими актёрами, – да ещё сладковатый дух портвейна её поцелуев с примесью горькой копоты: то ли из тюремной трубы, то ли из той свадебной ночи.

Детство моё прошло на лестничных пролётах нашего подъезда. Ключ мне не доверялся сперва по малолетству, после по привычке. Всякий раз, ожидая мать, я опасался, что она не придёт и исчезнет бесследно, как исчез отец. Иногда меня пускала к себе соседка по лестничной клетке Маркова, коренастая старуха с перебитым носом и запахом лука. Луком воняло всё её жилище – комната, перегороденная платяным шкафом, за которым обитал её сын Толик, наш городской дурачок. Но и Толик Марков, и луковая вонь были всё-таки лучше лестничного томления. Тем более соседка Маркова разрешала мне листать её журналы – дореволюционную «Ниву», две стопки которой хранились под кухонным столом.

Журнал, судя по надписи на обложке, предназначался для семейного чтения. Эти семьи вряд ли проживали в городе Йенспилс – половина нашего населения сидела в тюрьме, вторая – охраняла её. наших горожан скорее всего не заинтересовала бы история возведения собора в Реймсе с приложением чертежей и старинных гравюр или биография американского изобретателя Эдисона. Не говоря уже про миграцию китов или подборку стихов некоего Гейне, женоподобного немца с бантом на шее. Впрочем, стихи немец писал неплохие, хоть и занудные. Я не поклонник поэзии, мне гораздо больше нравились отрывки из рыцарских романов Вальтера Скотта или пиратские истории писателя Стивенсона. Тем более с бесподобно детальными иллюстрациями, на которых кропотливый художник во всех подробностях изобразил мушкетеры, мечи и кинжалы.

Из журнала «Нива» я впервые узнал о подвесках королевы и замке Иф, о собаке Баскервилей и капитане Немо, о том, как выжить на необитаемом острове и как при помощи электричества воскресить мертвеца.

Вместе с луковым духом в мою душу входило осознание, что мир – это не наш трёхэтажный барак, не тюремная труба в моём окне, не гипсовый солдат в сквере. И не заколоченный навечно после пожара баронский замок. Вселенная не утыкается на севере в пустырь, заросший лопухами и не заканчивается на юге еврейским кладбищем. И что есть люди, которые не только копят на ковёр – и это лучшие из них, а остальные пьют водку, ругаются и бьют друг другу морду. Иногда, впрочем, и те и другие ездят на заводском «Икарусе» к озеру Лауке на шашлыки. Такой пикник они называют «вылазкой на природу», где тоже матерятся, пьют водку и бьют друг другу морду.

В тринадцать лет, выбравшись через чердачное окно на крышу, я видел, как повесили человека. Эшафот стоял в углу тюремного двора. Моросил дождик, и деревянный настил стал тёмным и блестящим как старое железо. Приговорённый, тощий, наголо бритый мужичок не мог идти, его втащили по ступеням двое – Эдик Хрящ с третьего этажа и второй, кажется, с Красногвардейской. Палачом работал Люськин отец, дядя Слава. Люська жила на первом, и иногда мне удавалось подглядеть, как она раздевается. Тогда мне казалось невероятным везением, что она забывает до конца задёрнуть занавеску и долго бродит голая по комнате из угла в угол.

Дядя Слава принёс деревянную лавку, что стояла у курилки – ржавой бочки, вокруг которой охрана травила анекдоты. Лавка шаталась, дядя Слава сложил газету, сунул под ножку. Потом залез на лавку и примерил петлю. Он не стал смазывать верёвку мылом, как это делали палачи в романах Александра Дюма. У лавки приговорённый попытался вырваться, Эдик пару раз ударил его в солнечное сплетение и тот согнулся пополам.

Всё случилось обыденно и как бы между прочим. Дядя Слава сапогом пнул лавку, мужичок повис, раздался хруст, точно кто-то делил варёную курицу. Третий охранник, который, кажется, с Красногвардейской, вытер ладони о галифе и достал сигареты. Угостил двух других. Все трое сгрудились, будто договаривались о чём-то

тайном, прикурили, закрывая огонь спички ладонями. Хлопнула дверь, из караулки вышел доктор с зонтом. У доктора была смешная фамилия – Куцый и дурацкие усы как у Гитлера. Куцый поднялся на эшафот, сложил зонт и что-то сказал. Все четверо рассмеялись.

На той же крыше спустя полгода я, как выразился бы писатель Вальтер Скотт, потерял невинность. Меня совратила тюремная повариха. Жила она этажом выше, прямо над нами, звали её Линда. Рыжая Линда.

Начался май, прошли бесконечные праздники, солидарность трудящихся похмельно перетекла в юбилей победы. Кто-то утонул в Лауке, кого-то пырнули ножом на танцах. Пацаны ездили в Елгаву бить латышей. Мочить лабусов. Юрке Скокову выбили два передних зуба, ещё троих забрали в милицию, но сразу отпустили, поскольку менты там – все наши, русские.

Тюремный репродуктор три дня хрипел военные песни и наконец заткнулся. В обморочной тишине по синему небу неслись расторопные облака. Такие белые, они проплывали так низко, что лёжа на крыше, казалось, что дом вот-вот всплывёт в одну из этих сахарных гор. А ещё если лежать на спине и смотреть прямо вверх, смотреть долго и не отрываясь, то весь мир вдруг переворачивался. И вот уже не облака, а сам дом резвым фрегатом врзался в синеву, бесстрашно рассекая несущиеся нам навстречу коварные льдины. Это была настоящая оптическая иллюзия самого высокого класса. Голова кружилась, исчезала крыша, дом, исчезала тюрьма и несурзанный Йенспилс. Становилось немного жутко и весело.

Рыжая Линда появилась из чердачного окна. В белом поварском халате с плохо отмытыми пятнами ржавого цвета и в домашних тапках с помпонами. Под мышкой она сжимала скатанное в трубу тощее солдатское одеяло. Громя кровлей, повариха протопала мимо, не заметив меня. Она тоже смотрела на облака. Расположилась у трубы, вынула пачку «Примы» и спички. Расстелила одеяло, на мышинном сукне белела трафаретная надпись «из санчасти не выносить».

Линда скинула тапки, растянула халат.

Я вжался спиной в жесть крыши, как камбала в песок, я почти перестал дышать. До Линды было всего шагов пятнадцать. Я видел всё. Её спина и плечи были усыпаны конопущками, а волосы на лоб-

ке оказались ещё рыжее, чем на голове. Она села, лениво потянулась, закинув за голову большие белые руки. Вместе с руками поднялись две полные груди, округлые, с бледно-розовыми сосками. Два мраморных шара – я тарасился до рези в глазах, не моргая. Сердце моё колотилось в кровельную жёсть. Стук, усиленный мембраной крыши, мне казалось, разносился до самых окраин Йенспилса, подобно колокольному набату.

Линда взлохматила волосы, провела ладонями подмышками, понюхала пальцы. Потом зачем-то принялась мять живот и бока, прихватывая жирные складки. Закончив, она закурила, сплюнула табачную крошку и растянувшись на одеяле, раскинула руки крестом. До меня долетел кислый запах «Примы». Я сглотнул, во рту пересохло. Внизу, наверное у Силевёрстовых, зарыдал младенец. Соседка Маркова говорила, что у ребёнка синдром дауна, как у её Толика. И что она-то уж в этих делах как-нибудь разбирается. В это время Линда выпустила в небо клуб дыма, выставила круглые колени и медленно развела ноги. Золотистый пук на лобке вспыхнул в невинных лучах майского солнца точно клубок медной проволоки. Лицо моё пылало, вывернутую шею свело, я боялся пошевелиться.

Линда глубоко затянулась, выпустила дым. Выставив руку, ловким щелчком выстрелила окурком. Бычок, описав дугу, исчез за краем крыши. От пота моя рубашка прилипла к спине. Повариха зажмурилась, мне показалось – задремала. Об этом можно было только мечтать. Я осторожно вдохнул, звук вышел сиплый, с присвистом.

В «Ниве», в этом целомудренном учебнике жизни для семейного чтения, эротика касалась деликатно, если не сказать – робко. Щекотливая тема возникала лишь в разделах живописи и скульптуры. Об этом журнал писал много, подробно растолковывал сюжеты картин, рассказывал про непростую жизнь живописцев и скульпторов. Но вот статуя Давида итальянского мастера Буонаротти цензуру не прошла, мраморные гениталии юноши строгий ретушёр прикрыл фиговым листком. Плотоядный Рубенс был представлен скучными библейскими сюжетами, Тициан, Рембрандт и Гойя тоже выглядели занудными портретистами, изображавшими исключительно старух и нищих. Тогда, в тринадцать лет, моя осведомлённость в сфере сексуальных отношений представляла собой коллаж из подсмотренно-

го, подслушанного, невразумительного вранья старшеклассников, да ещё затёртых серых фотокарточек, переснятых местными эротоманами из заграничных порнографических журналов.

Нет, повариха не заснула. Линда лежала с закрытыми глазами, одну руку она закинула за голову, другой поглаживала живот. Её пальцы добрались до лобка, она сонно поскребла рыжие кудряшки и соскользнула вниз. Чёртов младенец продолжал орать. Облака над нами плыли вертикально вверх, перпендикулярно крыше. Линда издала урчащий звук. Как кошка, лакомящаяся сметаной. Я осмелел, чуть приподнялся и вытянул шею, чтобы улучшить угол обзора. О да! – теперь мне стало видно всё – её ладонь, сжимавшую низ живота, пальцы с розовым лаком, синяк на ляжке и даже румянец, проступивший пятнами на шее и груди. Её большое белое тело покачивалось в плавном дремотном ритме, мне стало казаться, что я слышу эту мелодию. Тогда я был дурак и невежда, сегодня могу уверенно сказать – то был Равель. Шаманское бормотание барабанов, меланхолия алчных скрипок, сладострастный шёпот кларнетов – чистая ворожба! Волны, манящие волны, плавно катили одна за другой. Малиновый сироп – повариха качалась на тягучих волнах, плыла в медовом трансе. Её царское тело, бесстыжее, словно выставленное напоказ, сочилось похотью. В жизни я не видел ничего упоительней!

По моему виску в ухо сползла щекотная капля. Зуд проскользнул в гортань, безумно защекотало с носу. Беспомощно захлопнув ладонью рот и зажав обе ноздри, я зажмурился и чихнул.

Чих вышел от души – крепкий и звонкий, как рык бодрого льва.

Земная ось заскрежетала, мир остановился. Болеро оборвалось на полуноте. Эхо от моего чиха ещё улетало в синюю бездну неба, а Рыжая Линда уже стояла на четвереньках. Прикрывая локтём грудь, она пыталась дотянуться до халата. Её глаза вперились в меня, испуг перешёл в удивление, удивление сменилось яростью.

– Маука! Дырса сукат! – повариха угрожающе понизила голос и перешла на русский. – Ах ты... поганец! Паскудник!

Я съёжился. Повариха выдала цветастую тюремную тираду, из которой я смутно понял, что мне грозит кастрация. Латышский акцент делал речь Линды ещё страшней – таким манером в фильмах про войну говорили фашисты – эсэсовцы и гестаповцы в чёр-

ных мундирах. Которых по традиции у нас играли прибалтийские актёры.

– Дрочило-мученик! Шпынь! Подглядывать взялся, сучонок недоё...

– Не подглядывал я, – мне удалось выдавить.

– Айзвериес! – рывкнула она по-латышски. – Чего ты там бормотаешь?! А ну поди сюда!

Я поднялся. Глядя в сторону, поплёлся к ней.

Стоя на коленях, Линда застёгивала халат. Подняла злое лицо и усмехнулась.

– Да ты ж с нашего дома! – повариха всё-таки узнала меня. – Ты это... Сын Катьки-буфетчицы...

Я обречённо кивнул.

– Вот мамка тебя выпорот! Ремнём! – кровожадно пообещала повариха. – До мяса! Жаль папки нет – тот бы просто голову оторвал!

– В Антарктиде он. На станции.

– Ага! На станции! – повариха развеселилась.

Я насупился.

– Сбежал, – буркнул. – Знаю. Врёт мамаша про Антарктиду.

Повариха хмыкнула, хотела что-то сказать, но промолчала.

– Да и мамаша не выпорот, – расхрабрился я. – Её дома почти не бывает. А когда дома – пьяная. Не выпорот. Нет.

Линда прищурилась, разглядывая меня, розовым ногтём почесала нос. Нос у неё тоже был в конопушках. А вот глаза оказались почти бирюзовые. Голубые в зелень. Серёжки у моей мамы были такие – с бирюзой.

– А зачем на крыше? – спросила.

– Никого нет. Никто не лезет. Можно придумывать...

– Чего придумывать?

– Ну... – я растерялся. – Всякое можно придумывать... Про пиратские сокровища, про рыцарей можно... Знаете, какие истории бывают! Про мушкетёров, про индейцев! Или вот – офигенная история! Жил один моряк, кажется, в Марселе...

– Где?

– Ну, во Франции, в общем. У него была невеста – Мерседес звали. Красивая – жуть!

- Ага! Видать та ещё гусыня!
- Ну да! Так вот один мужик решил эту Мерседес отбить у моряка. Он написал в полицию донос...
- Вот дупель!
- Не перебивайте, пожалуйста! Моряка, значит, арестовали и посадили в тюрьму. Пожизненно...
- Ну твари – на всю железку! Выходит, один хер, что Франция, что...
- Но не в такую, как наша, – я мотнул головой в сторону тюремной трубы. – А в замке, что на острове Иф.
- Вроде Соловков...
- Там, на острове Иф, моряк познакомился с аббатом...
- Это кто?
- Ну вроде попа.
- Ерша гонишь, малец! У них попов не сажают!
- Ничего не гоню! Да и неважно, не в том дело! Короче, аббат этот рассказал моряку про сокровища, которые он спрятал...
- Ну и баклан, поп этот!
- Да он старый совсем! Рассказал и помер!
- Во облом! – повариха явно расстроилась.
- Не – всё классно вышло! Моряк вместо мёртвого аббата лёг, его зашили в мешок и бросили со скалы в море...
- Ну вертухаи, ну лопухи! А как же он, моряк-то? В мешке? Защищенный?
- Ну он же моряк! Он под водой пять минут, наверное, может просидеть! Он мешок разрезал...
- Фартово! А сокровища?
- Нашёл! И вернулся в Марсель! Но под личиной графа Монте-Кристо. Чтоб никто его не узнал.
- Ясно! Ксиву слепил новую, короче.
- Ага. Вроде того, – я решил в подробности не вдаваться, тем более, что в урезанном журнальном изложении вопрос паспорта и прописки графа не обсуждался.
- Ну вернулся, значит, в Марсель и отомстил всем, которые его предали. Только Мерседес пожалел, хоть она и женилась на том гаде...
- Замуж вышла, – поправила Линда и задумчиво добавила. – Пожалел, профуру. Любил, видать крепко...

Мы замолчали. Линда стояла на коленях, задумчиво наклонив голову. На окраине города, где-то у еврейского кладбища, забрехала собака. Ей ответила другая, хриплым басом. Я разглядывал свои драные сандалии из коричневого кожзаменителя, облупившуюся краску крыши, графаретную надпись на одеяле, всё-таки вынесенном из санчасти. Скорее всего, самой Линдой. Она шмыгнула носом, сплюнула.

– Тебя как звать?

Я ответил.

– А лет сколько?

Я соврал.

Мы снова замолчали. Время остановилось. Потом Линда потрогала шею, точно у неё прихватило горло, откашлялась.

– Поди сюда, – тихо позвала повариха странным голосом, настороженным что ли. – Ближе... Да, ближе. Не укушу...

Ухватив за ремень, она притянула меня. Звякнула пряжка. Ловко, одной рукой, Линда растегнула две верхние пуговицы. Рывком, вместе с трусами, стянула до колен школьные портки. Сердце моё ухнуло в бездну. Напоследок успел подумать о позорных сатиновых трусах.

– Точно пятнадцать? – подняв лицо, спросила повариха.

Я пискнул что-то в ответ и в ужасе зажмурился. Больше всего я боялся сойти с ума или умереть от разрыва сердца.

Потом мы просто лежали. Лежали бок о бок, сцепив жаркие потные пальцы, и молча пялились в небо. Экстаз мой щенячий сменился тихой радостью с оттенком сладкой тоски – будто я уже умер и угодил в рай.

Линда свободной рукой нашарила свою «Приму». Закурила. Едкий табачный дым смешался с запахом её тела – бабий пот и горькая корка ржаного хлеба. Так пахнет баня, если на камни плеснуть светлого пива. Пару раз, не выпуская сигарету из пальцев, она дала затянуться и мне. Я вдыхал дым осторожно, стараясь не закашляться.

Она начала говорить, рассказывать про себя. Глядя на облака, которые равнодушно ползли на расстоянии вытянутой руки. Её монотонный тихий голос – наверное это из-за акцента, показался мне каким-то таинственным, почти сказочным – будто со мной беседовала русалка или инопланетянка. Я молчал и слушал. Одновремен-

но я ощущал, что со мной творится что-то неладное. Страшное и восхитительное чувство – мне хотелось рыдать и смеяться, хотелось прижаться к этой большой рыжей женщине, прижаться до боли. Вдавить себя в неё, слиться воедино с белым телом.

Линда родилась в Латгалии, на хуторе под Крустпилсом. У него лесного озера, окружённого корабельными соснами. В ручье водились раки, а к концу июня поляна перед домом становилась красной от земляники. Когда Линде исполнилось одиннадцать, отец убил мать – зарубил топором. Отцу дали пятнадцать лет, девочку отправили к бабке в деревню под Резекне.

– Я тот год совсем не говорила. В школе не говорила, дома тоже молчала. В классе думали, что я чокнутая, – Линда тихо присвистнула, покрутив у виска указательным пальцем. – А мне плевать. Чокнутая. Даже хорошо.

Она замолчала. Достала из пачки сигарету, плоскую, точно сплюсненную.

– Дед мой, он поляк, – Линда сделала ударение на «о». – Старик тогда был... Сколько тогда? Семьдесят или так...

Она разминала сигарету, шуршал сухой табак. Тихим, безразличным голосом она рассказала, как дед изнасиловал её, когда они ходили по грибы в соседний лес. Дело было в середине сентября, начиналось бабье лето, они набрали две корзины боровиков. Вечером дед принёс ей кулёк ирисок.

– Барбариски. Кисленькие, – Линда закурила, зажмурилась от дыма. – А другой ночью пришёл опять.

Линда убежала от них.

У Плявиниса стоял цыганский табор, цыгане приняли её, научили попрошайничать и воровать. Воровали по базарам и на рынках. Тырили из грузовиков и легковушек на бензозаправках. Линда быстро попалась, её отправили в Даугавпилс, в колонию для малолеток. Из ремесленных курсов она выбрала поварские. Другим вариантом было шитьё.

К концу её истории стало ясно, что я пропал окончательно. Не жалость и не сострадание, смутное новое чувство, которое распирало меня, вытеснило всё остальное – здравый смысл в первую очередь. Я не просто согласился бы умереть за поварику, смерть за неё представлялась мне высшим наслаждением. Почти счастьем.

Вот так началось самое чудесное лето моей жизни. Истории о пламенной любви и возвышенных страстях из журнала для семейного чтения оказались правдой. Частью правды – «Нива» целомудренно скрывала главное. Пробел этот с охотой восполняла Линда.

Крыша стала нашим тайным раем – я имею в виду тот короткий фрагмент между яблоком и ангелом с горящим мечом. Сталкиваясь во дворе или на улице, мы даже не здоровались. Лишь обменивались загадочными улыбками. Линда приносила сигареты и солдатское одеяло, вонь сырой грубой шерсти пополам с дрянным табаком – эта комбинация и сейчас вызывает у меня эрекцию. Я выпрашивал у соседки Марковой журналы, мы валялись на колючем сукне и разглядывали картинки. Иногда я читал вслух. Выяснилось, что Линда по-русски читает как второклассник. Не хочу говорить «невежественная», назовём это «культурной девственностью», моя Линда была как Чингачгук, как Дерсу Узала. Те тоже наверняка не знали, кто такой Шекспир или Бетховен. Думаю, именно моя доморощенная эрудиция и делала наши отношения гармоничными.

Конечно, не всё так было празднично. Не всё и не всегда. Иногда шёл дождь, иногда она просто не приходила. Тогда я до ночи бродил по двору, сходил с ума и пялился в её тёмное окно. Прятался в кустах чахлой рябины, среди ржавой арматуры детской площадки. Часто она возвращалась не одна. Жёлтый проём подъезда на миг освещал два чёрных силуэта, пружина скрипела и дверь с треском закрывалась. Через минуту зажигалось её окно, но скоро гасло и оно.

Я лежал на вытоптанной траве, глотал слёзы и колотил кулаками в убитую каменную глину детской площадки. Проклятая «Нива» оказалась права и тут: обратная сторона любви – ревность была хуже пытки. Солнечные херувимы истекали кровью и гибли в малиновом закате.

Я бесновался. Придумывал изощрённую месть, перебирал способы самоубийства. Репетировал страстные речи о любви и предательстве. Но на следующий день она появлялась в чердачном окне с одеялом под мышкой, как ни в чём не бывало бросала своё «Свейки!» и, прежде чем я успевал молвить слово, она уже затыкала мне рот мокрым горячим поцелуем с привкусом кофе и дрянного табака.

Закончилось счастье внезапно – в конце августа. Изгнание израя всегда застаёт врасплох – как смерть или рассвет. Три томитель-

ных дня на крыше, мучительных вдвойне, ведь надвигалась неумолимая школа, сентябрь и неизбежные дожди. К тому же всю прошлую неделю мы встречались почти каждый день.

Да, вот ещё – накануне ночью мне приснилось, что я убил её. Мою Линду. Она стояла на краю крыши и разглядывала горизонт. Я подкрался сзади и толкнул её. Падая, она повернулась и сказала: «Ведь я твоя мать». И исчезла за краем крыши. Я услышал, как её тело стукнулось об асфальт, но даже во сне у меня не хватило духу заглянуть вниз.

Проснувшись, я кинулся наверх. На чердаке ещё спали голуби, я их распугал. Птицы носились между балок, поднимая пыль и грязь, хлопали крыльями. Паутина и перья лезли в рот и глаза. Почти наощупь, закрыв ладонями лицо – чокнутые сизари шли на таран как камикадзе, – я выбрался на крышу.

Солнце только вылезало из-за замка, кровельная жёсть блестела от росы как ртуть. Я поскользнулся и упал. Грохнулся со всего маху и в кровь разбил локоть. На карачках добрался до края крыши – я точно помнил, где Линда стояла. Заглянул вниз. На асфальте между мусорными баками и ржавым «запорожцем» Кузьмина лежало тело. Сломанное, точно свастика, оно лежало ничком – мне показалось, я даже разглядел вишнёвое пятно, выползшее на асфальт.

Выскочил из подъезда, обежал дом. Перед помойкой пыхтел мусоровоз. Два тощих ээка гремели баками. Одновременно они повернули ко мне коричневые, цвета копчёной камбалы, лица. Один держал пустую консервную банку из-под тушёнки и облизывал указательный палец. Я попятился, спрятался за угол дома. Прижался спиной к стене. Тарахтел мотор, гремело железо баков, ээки работали молча.

Наконец они уехали. Я подлетел к помойке, тела там не было. «Запорожец» стоял на месте, я задрал голову – дом мне показался высоченной башней, небоскрёбом. Зачем-то бросился к бакам. Срывал мятые крышки, лез в вонючее нутро. Потом ползал на коленях, пытаюсь разглядеть на асфальте кровь. Ничего, кроме зловонной жижи, вытекшей из баков.

Как оказался у её двери – не помню. Давил до боли в кнопку звонка. Звонки истерично гремел в пустой квартире. Потом я слышал шаги. Прижал ухо к липкой коричневой краске. Звякнул

замок. Дверь приоткрылась. В щель, перечёркнутую дверной цепочкой, я увидел кусок тёмного коридора и маленькую старуху, почти карлицу. Я её не знал, в жизни не встречал.

– Кого? – карлица боком наклонила голову, стараясь получше меня разглядеть.

Я повторил. Она нерешительно открыла,пустила меня.

– Где она?

Карлица кивнула на приоткрытую дверь в конце коридора. Комната оказалось пустой до боли – окно, стол, стул. В углу – железная кровать с панцирной сеткой. На решетчатой спинке кровати, крашенной серебрянкой и похожей на кладбищенскую ограду, висело солдатское одеяло. Всё – больше ничего.

Нет – вру. Ещё был запах. Тот самый, её запах. Я бережно втянул воздух, вдохнул, впусив в себя жалкие остатки Линды. Старуха толком ничего не знала. Плела что-то про город Сигулды, про какого-то Юрика. Ухмылялась. Мне даже показалось, что ей было известно про нас и про крышу.

– А что, может, и возьмут её, – карлица снизу заглядывала мне в глаза. – В привокзальный-то. Коли по протекции.

Я снова и снова перечитывал трафарет «Из санчасти не выносить». Надпись постепенно приобретала некий новый смысл – тайный, который мне вот-вот должен был открыться. Карлица коготками царапнула мою ладонь, я вздрогнул и отдернул руку.

– Поранился, гляди-ка...

Рукав рубахи пропитался кровью и засох. Я посмотрел на ладони, точно видел их впервые.

– Надо промыть, а то заражение крови будет. Перекисью промыть ранку.

Эту «ранку» она произнесла как-то сладенько и похабно. Так должно быть монашки сплетничают о прелюбодеяниях мирян. Карлица неожиданно цепко ухватила меня за запястье. Я вяло потянул руку, старушонка оказалась на удивление хваткой.

– Ну-ка, ну-ка, – потянула она меня из комнаты. – Ну-ка пошли!

И тут меня осенило. Господи – как всё просто и логично! От неожиданного озарения я застыл: Линда и есть карлица! Она превратилась в карлицу, чтобы проверить меня.

– Куда пошли? – пробормотал я. – На крышу?

– Зачем на крышу? – она захихикала, показав мелкие, какие-то рыбки, зубы.

Подошла вплотную, её макушка едва доставала мне до подбородка. Сальные волосы мышинового цвета были стянуты в тугую дулю на затылке. Карлица расстегнула ворот вязаной кофты, потом ещё две пуговицы. Я увидел застиранные кукольные кружева и белую кожу. Старуха сунула мою безвольную кисть себе за пазуху. Ладонь наполнилась тёплым тестом. Я хотел закрыть глаза и не смог.

Что-то происходило с окном, вернее, со светом. Свет стал ярко-жёлтым, как кожура лимона – как она называется – цедра? Вот тоже ещё идиотское слово – цедра! Тут только до меня дошло, что не свет, а воздух превратился в лимонную гадость. Цедра лезла в глаза, в рот, в ноздри. Я разевал рот, но вдохнуть не мог – цедра забила горло. Я задышался.

2

Из больницы я сбежал на четвёртый день, как только жар спал.

Температура доходила до сорока, санитарка говорила, что я бредил. Ещё говорила про какой-то горловой спазм. Что ещё бы чуть-чуть – и всё. Утром приходила мама, принесла мне кулёк барбарисовых ирисок. Да-да, именно барбарисовых! Понурая, как беженка, она молча сидела на конце кровати, там где на одеяле белела надпись «Из санчасти не выносить». Морщась, тёрла пальцами виски. От её взгляда хотелось удавиться. Напоследок, задержав дыхание, ткнулась сухими губами мне в лоб.

До Сигулды я добрался на молоковозе. Латыш пустил меня в кабину и всю дорогу молчал. В кузове гремели пустые бидоны. Я тоже молчал. Шофёр высадил меня на окраине, у маслокомбината. Я спросил, где железнодорожный вокзал, он махнул в сторону каких-то развалин. Только тогда я заметил, что у латыша нет большого пальца, а на его месте торчит розовая шишка.

Привокзальный ресторан открывался только в пять. Буфетчица сонно пожала плечами и снова уткнулась в книжку. Круглые часы над бутылками показывали четверть второго. В зале ожидания сидел сухой седой старик, похожий на какого-то великого русского писателя. У нас в школе они висели по стене, в рамах, под стеклом.

Но точно не Достоевский и не Толстой. Наверное, Салтыков-Щедрин. Старик, в белой сорочке и военных сапогах, сидел прямо и не отрываясь пялился в здоровенную картину напротив. То была копия суриковского «Стеньки Разина». В лепном бронзовом багете картина едва вмещалась в вокзальную стену и наверняка выглядела не хуже оригинала. Художник – не Суриков, копиист, добавил атаманову лицу страсти, разбойник у него стал похож на злого усатого кота. Скучные гребцы с физиономиями евнухов явно проигрывали рядом.

Я выскочил на пустую платформу. Август напоследок жарил на всю катушку. Кисло пахло тёплой сталью. Спрыгнул на путь. Надраенные рельсы сияли точно лезвия и уходили в мутное марево. Причём в обоих направлениях. Надрывно звенели кузнечики. Воняло шпалами. Где-то варили смолу. Долетел голос – кто-то пел, я прислушался. Из зала ожидания донёсся красивый тенор. Усиленный высоким потолком, тенор звучал всё громче и громче. Старик пел про острогрудые челны.

Ресторан открылся, но ни официантки – две одинаково стриженных тётки и неразличимых как близнецы, ни администраторша – толстуха, похожая на гуся, ничего про Линду не знали.

– Может, она в «Дзинтарсе»? – предположил гусь. – Или в «Охотнике»?

– Не, не «Охотник»! Нет-нет! – затрещали близнецы одинаковыми голосами, точно их самих приглашали туда работать. – «Охотник» – шалман!

В «Дзинтарсе», роскошном кабаке с белыми колоннами и хрустальной люстрой, никто новой поварихи не нанимал. «Охотник» оказался стекляшкой, он располагался у начала канатной дороги и действительно был настоящим шалманом. В табачном дыму, который пластами плыл над столами, с грацией снулой рыбы перемещалась тощая официантка в чёрной мини-юбке и с подносом, заставленным в три этажа блюдами и тарелками. Она, не дослушав меня, кивнула в сторону занавески. Я протиснулся меж столов, стараясь не потревожить публику – в основном мужчин преступного вида. За дверью с таинственной табличкой «Эпштейн» сидел лысый и очень загорелый еврей с невыносимо грустным взглядом. Он усадил меня напротив. Я сразу понял, что Линды нет и тут. Он начал рас-

спрашивать, но мне не хотелось ничего ему говорить. Какой смысл? Усталость навалилась как-то вдруг, усталость, похожая на безразличие. Как это называется – апатия? Я сидел и царапал край стола, там отклеилась фанеровка и виднелись прессованные опилки. Стол, на вид такой деревянный, был сделан из прессованного мусора. Эпштейн ушёл и вернулся с тарелкой. Внутри был суп красного цвета с жёлтыми глазками жира и торчащей куриной костью.

– Харчо, – трагично глядя в суп, сказал еврей.

Голода я не ощущал, но выхлебал харчо за пять минут. Еврей наблюдал за мной с таким лицом, точно я совершал харакири. Стало жарко, меня развезло – так бывает, если несколько раз глубоко затянуться сигаретой. Я тайком вытер руки о штаны и начал рассказывать. Рассказал про мать, про отца – точнее, про его абсолютное отсутствие, про пожар в замке. Потом про Линду. Оказывается, в моей памяти застряли мельчайшие подробности – все её слова и запахи, цвет неба и шершавая нежность солдатского одеяла. Вспомнил и про стаи птиц, что носились над нами почти касаясь крыльями наших голых тел. Мне совсем не было стыдно или неловко говорить о том, чему я научился. Как она, выставив острый язык, показывала, что им там нужно делать. Рассказал я и про сон, про её последние слова.

Еврей нахмурился ещё сильнее. Поглаживая полированную, как морской камень, голову, он мрачно глядел исподлобья. Смуглый, точно индус, он напоминал арабского колдуна или джина, которые вылетают из бутылки. Ему не хватало седой бороды, ну и персидского халата, разумеется. Я был уверен, что он уже вызвал милицию и за мной приедут с минуты на минуту. Но на это мне было тоже наплевать.

– На юге отдыхали? – зачем-то спросил я.

– В Гаграх. Санаторий, – он достал из металлического портсигара тонкую сигарету с золотым ободком на конце. – Питание трёхразовое и свой пляж. Увы, галька.

Он скорбно покачал головой и щёлкнул зажигалкой. Ко мне поплыл завиток дыма, в жизни не предполагал, что табак может пахнуть как карамельные конфеты. Еврей затянулся и медленно произнёс:

– А иногда к реке спускались дети,
пытаясь разглядеть сквозь толщу вод

сокровища – и волны выносили
диковинные камни и монеты.

– Гейне? – наугад спросил я.

Милиция приехала через четверть часа. За эти пятнадцать минут Эпштейн успел мне сказать, что Линду я не найду. Но буду искать. Иногда находить в других обличьях. Разочаровываться, отчаиваться и снова искать.

– Что это значит? – я не понял ничего. – Какой-то бред.

– Ну да, бред, – хмуро согласился еврей. – Жизнь называется.

И добавил:

– Но главное – беги из Йенспилса!

3

Проклятый Эпштейн, как он всё угадал! Именно оттуда, с той крыши, прошла трещина сквозь всю мою жизнь. Разумеется, из Йенспилса я удрал при первой возможности, в тот самый день как получил паспорт. Сел на автобус, через два часа был в Риге. Устроился на консервный завод – шпроты ели? – я их коптил. Начал писать юморески в заводскую малотиражку – еженедельную газетёнку (выходила по четвергам) с двусмысленным названием «Балтийский консерватор». Неожиданно стал местной знаменитостью – цехового масштаба.

Редакция занимала три стола в углу заводской библиотеки, я как-то мимоходом записался и за полтора года перечитал почти всё. От Аксакова до «Японской поэзии». Тогда я наткнулся на дневники Джакомо Казановы, толстый том в малиновом переплёте стал моей настольной книгой. Она и сейчас со мной, потёртая, с пожелтевшими страницами и фиолетовым штампом «Библиотека рыбокомбината №2» на титульном листе. Каюсь – украл. Не мог не украсть. «Моя жизнь» Казановы – одна из самых увлекательных книг на свете. Но не эротические похождения и не дуэльные поединки, и не путешествия – Казанова добрался аж до Петербурга, и даже не знаменитый венецианский побег из инквизиторской тюрьмы, – нет, меня поразила житейская мудрость итальянца. На нечто похожее, но в примитивном, фастфудном варианте, я наткнулся позднее у Дейла Карнеги. Впрочем, сравнивать Казанову с

Карнеги – это всё равно что вешать в одном зале Леонардо и Кукрытников.

В Риге поначалу я обитал в общежитии, делил каморку с двумя крепко пьющими битюгами из цеха готовой продукции. Потом перебрался к Юлии Борисовне, библиотекарше. От неё к главреду нашего «Консерватора» Машке Гамус. Она училась на вечернем отделении рижского журфака и была похожа на крепкую греческую рабыню-танцовщицу с жёсткими смоляными кудряшками.

Ни та, ни другая даже отдалённо не напоминали мою восхитительную рыжую Линду. Юлия Борисовна, близорукая и стеснительная, здорово разбиралась в литературе – особенно скандинавской, а с Машкой мы были просто друзьями. Ну не совсем просто, но дружба в наших отношениях определённо стояла на первом месте. И когда мне стали приходить повестки из военкомата, именно Машка спасла меня от трёх лет флотской службы.

Мы поженились (в значительной мере – фиктивно) и эмигрировали в Израиль. В Тель-Авиве оказалось жарко и влажно, как в Сочи. Так, по крайней мере, утверждала Машка, которая всё детство отдыхала с родителями в «Жемчужине». Мы переехали к Мёртвому морю, где работали на томатных плантациях. Потом всю зиму упаковывали апельсины. Жили в фанерном бараке и по ночам вместе учили английский. К концу смены перед глазами плыли рыжие пятна. Наши пальцы, кожа, волосы – всё насквозь провоняло едким апельсиновым духом, который мне мерещился даже год спустя в промозгом Бруклине.

В Америке мы расстались. Машку полюбил развесёлый негр-саксофонист, мускулистый гигант цвета зрелого баклажана, которого застрелили через пару лет во время гастролей где-то на юге, кажется, в Теннесси. К тому времени я жил с Мариной, русской художницей из Ист-Виллидж, бывшей москвичкой с зелёными волосами и кельтскими татуировками по всему телу. Живопись её напоминала картинки из учебника биологии – пёстрые бактерии под микроскопом. Вместе мы придумывали картинам названия, типа «Неприятный разговор», «Где ты была вчера?», «На редкость убедительная имитация оргазма». Денег не хватало, по ночам я подрабатывал сторожем в подземном гараже рядом с Мэдисон-сквер. Платили гроши, но зато меня никто не дёргал и я спокойно мог пи-

сать всю ночь напролёт. Да, я продолжал свои литературные упражнения. Амбиции таяли, писательство постепенно превратилось в психотерапию.

Как-то душной июльской ночью тройка коренастых латиноамериканцев, – кажется, это были пуэрториканцы, – пробралась в гараж. Угрожая кривым тесаком – мачете и бейсбольной битой, они вытащили меня из стеклянной будки и заперли в багажнике одной из легковушек. Я слышал как латиноамериканцы крушили машины, били стёкла и колотили в жёсть. Фары лопались с азартом новогодних петард.

В багажнике не хватало кислорода, под утро я потерял сознание. Меня нашли почти случайно, около полудня. В госпитале Святой Троицы, что на Ист-Ривер-драйв, в палату, которую я делил с покалеченным крановщиком, по иронии упавшим в шахту лифта, приходили полицейские. Показывали наброски – фотороботы разнообразных бандитов. Рожи выглядели одинаково страшно, точно иллюстрации к книжке Ламброзо. Я никого не смог узнать, но вспомнил, что на шее одного из мазуриков было выколото слово «Desperado» и маленькая ласточка.

Полицейские приободрились, младший детектив Пин (имя и должность я прочитал на пластиковой бирке, приколотой к груди) показала мне несколько фотографий. Бандита звали красиво, совсем как писателя Сервантеса, – Мигель. Фамилию, не менее звонкую, я не запомнил. Он оказался не просто шпаной, а погром в гараже не простым хулиганством. Мигель был правой рукой Хорхе Лоредо, банда которого безобразничала в районе от Юнион сквер до Сорок первой улицы. Занимались стандартным промыслом – рэкет, наркотики, контроль проституции. Подозревали Лоредо и в исполнении заказных убийств, в том числе и в резне на крыше ресторана «Хасельблат».

Терять мне особо было нечего, ну, разумеется, кроме жизни, и я дал себя уговорить выступить свидетелем обвинения. На программу по защите свидетелей рассчитывать не стоило, заманчивая идея стать неким Джоном Смитом где-нибудь в штате Висконсин умерла, не успев родиться. Полицейским – я видел – страстно хотелось взять за жабры этого Мигеля и его босса. Особенно жарко убеждала меня младший детектив Пин. Её круглое лицо, все три дня бесстрастное

как китайская маска, неожиданно разрумянилось и оживилось. Я равнодушен к очарованию восточных женщин, вернее, был равнодушен до этого момента.

Суд над бандитами стал сенсацией местного, нью-йоркского, калибра. Особенно после того как в камере зарезали Мигеля. История стала напоминать третьесортный полицейский сериал, если не считать занятного факта, что Марина за время моей госпитализации успела сойтись с одноногим скульптором из Албании.

– Чего ты ожидал от белой бабы? Да к тому же с волосами цвета зелёнки? – риторически поинтересовалась Пин и предложила мне перебраться на время к ней. За неполную неделю младшему детективу удалось кардинально изменить моё индифферентное отношение к восточным женщинам.

Суд подходил к финалу. Адвокаты бандитов, два высокомерных итальянца с напомаженными причёсками, сникли после того как бухгалтер Хорхе Лоредо начал давать показания. Свидетеля привозили в бронированном автобусе, его охраняли пять полицейских, а в зале суда он выступал в хромированной клетке.

Пару раз у меня брал интервью Первый канал для утренних новостей. В телевизоре я выглядел вполне убедительно, а лёгкий русский акцент, как сказал оператор Стив, придавал репортажу экзотический колорит. Именно славянский говор помог мне заработать самые лёгкие деньги в моей жизни – телевизионщики стали приглашать меня дублировать русскоязычные репортажи. Чаще всего это были отрывки из новостей русского телевидения, иногда интервью. Человек начинал говорить по-русски, его приглушали и тут вступал я со своим аутентичным акцентом. Тексты я читал по бумажке. Переводила их бывшая пианистка из Харькова, неряшливая толстая женщина со страшной фамилией Жмур. Даже в её английских фразах слышались мне местечковые обороты. Жмур непрерывно ела, она приносила из дома какую-то пищу в пластиковых судках. Торопливыми хомячьими лапками она ела прямо из них, из этих омерзительных посуды. Её жирный бюст был постоянно в крошках еды и пятнах жира. Да и переводила она примерно так же – торопливо и неряшливо, упуская смысл, добавляя отсебятину, зачастую игнорируя целые предложения. Слово «хамство» в её английском варианте превращалось в «сексуальную распущенность с элементами генетической деградации».

Тайком я взялся редактировать Жмурову писанину. Пианистка учинила скандал, но поскольку в редакции по-русски понимали только мы двое, нам устроили независимую экспертизу. Случайным экспертом стала редактор из России Елена Щукина. Мы брали у неё интервью – в Нью-Йорке как раз проходила книжная ярмарка и наш канал делал репортаж о русских литературных новинках. В результате пианистку уволили, а меня зачислили в штат на должность переводчика. К тому же мне удалось всучить Щукиной несколько рукописей – сборник рассказов и роман. Через год в Москве вышла моя первая книга «Все певчие птицы». На обложке радикально красного цвета художник изобразил...

4

– Художник изобразил! – передразнивая, перебила меня Ева. – Да какая разница?! Ворон стаю изобразил он! Ну и что?! Разве это важно? Разве это я просила тебя вспомнить?

– А откуда мне знать, что я должен и чего не должен вспоминать? – рывкнул было я, но тут же осёкся от чудовищной головной боли.

Не то слово – в череп словно забили полдюжины восьмидюймовых гвоздей, стальных, блестящих, в мизинец толщиной, – у меня таких коробка в гараже, нераспечатанная, совершенно непонятно для чего они – луну что ли к небу приколачивать?

В окно хлестал ливень. За окном угадывался лес – где это я? Ах да – Вермонт...

Я сидел на полу, вытянув ноги и сжав голову ладонями. Череп раскалывался на части. Сквозь боль в сознание вплыло какое-то блеклое ощущение, даже не воспоминание, а так – тень. Такое бывает с запахами – но причём тут огурцы? Укроп, чёрная смородина, листья, скошенная трава... Да, трава. Пчёлы, махаон на руке...

– Слушай, – спросил тихо. – А что там было?

– Ничего, – отрезала Ева. – Сон.

Прямо уж так и ничего. Вспомнился пейзаж, безрадостная пустошь, два чудика – как она их назвала? – Фокусник и Несчастный? А между ними – она, Царица. Ева. Сладострастная самка. Квинтэссенция похоти и порока. Но почему порока? Почему грех? Кто это решил? Жрец Картонной Луны?

Голову чуть отпустило. От ковра воняло малосолевыми огурцами. Осторожно, будто калека, я поднялся на карачки, кое-как встал. За окном плескалось море. Деревья – их нижние ветки и стволы утонули – торчали из воды, точно сказочные кусты небывалых размеров. Дальний лес казался зелёной стеной. По воде бродили настоящие волны, серые и рябые от ливня.

– Но согласись, придумано ловко, – Ева сказала весело, точно продолжая какой-то разговор. – Хитро придумано!

– Ты о чём?

– Ну про грех. Про порок.

Как всегда она подслушивала мои мысли. Я подошёл к столу. Бутылка запылелась, я аккуратно дунул и протёр стекло рукавом. Ева зажмурилась, рассмеялась. У неё был хороший смех.

– Спасибо! – подмигнула.

Если у тебя нет рук и ног, ассортимент жестов предельно беден – можно показать язык да подмигнуть. Вот, пожалуй, и всё. Можно ещё чихнуть, но я не припомню, чтоб Ева чихала.

– Ну посуди сам, – продолжила она. – Предположим, тебе нужно придумать религию. И чтоб без античной аморфности. Строгую! Действенный инструмент управления людьми. Чтоб была она как узда! Как стальные удила! Как строгий ошейник с шипами в шею! Таковую вот религию. Ведь, собственно, в этом суть религии – контроль над человеком. Тут мы согласны, надеюсь?

– Ну...

– Гениальность концепции в том, что в основу христианства положена вина. Как абсолют. Причём виноват каждый. И даже не в момент рождения, а раньше, гораздо раньше – сперматозоид твоего отца, проникающий в яйцеклетку твоей матери – уже тут все виноваты смертельно. И ты – ещё эмбрион, хоть и не больше головастика, но грешен, грешен, грешен!

Ева азартно фыркнула.

– Но главная прелесть даже не в этом! Да! – и оцени степень иезуитства! То, чем эллины или какие-нибудь римляне занимались с невинностью кроликов, получая от процесса такое же целомудренное наслаждение, как от еды, питья или спортивных упражнений, внезапно превратилось в одно из главных прегрешений. Постыдных, грязных – вроде воровства. Самая здоровая эмоция, ключ к

продолжению человеческого рода, стала гнусной мерзостью, о которой можно говорить лишь намёками и заниматься исключительно под покровом ночи. Тихо, и, желательно, под одеялом.

Довольная, Ева замолчала. Дождь звонко барабанил в жёсть крыши. Я поскрёб колючий подбородок, спросил:

– Но кто это всё придумал? Кто?

Ева выдержав паузу, просто ответила:

– Мы.

– Кто – мы? – я подался вперёд. – Кто?

Без ответа.

– Кто? – начал злиться я. – Кто вы такие в конце концов? Инопланетяне? Ты можешь объяснить в конце концов?

Ничего – ухмылка и насмешливый взгляд.

– Чёрт тебя побери – кто? Кто вы?! – орал я уже в голос. – Потомки погибшей цивилизации? Дети богов? Секта безумных шаманов?

Злость и унижение, плюс усталость и головная боль – я сорвался. Непростительно, но объяснимо. Она слушала, снисходительно ухмыляясь – с таким лицом родители переживают скандал пятилетнего засранца. Вот ведь сволочь, да ещё с таким превосходством!

– Ева! В конце концов это просто невежливо... – выкрикнул я истерично. – Унизительно, в конце концов!

– Унизительно! – она захохотала. – Господи... прямо до слёз... Унизительно...

– Кончай ржать! Дура!! – взревел я и от души саданул кулаком по столу.

Что-то треснуло – то ли стол, то ли рука. Бутылка подпрыгнула, стакан с карандашами покатился и упал на пол.

– Ух, какой нервный! – с притворным испугом воскликнула Ева. – Руку не порань!

– Ты... ты... – от ярости я начал заикаться. – Ты – д-дурацкая башка! В бутылке! Ты кончай тут... Выкобениваться!

Последнее слово я выкрикнул пополам с бабьим визгом. Откуда взялся этот истеричный голос, эти базарные выражения? Генетика – это не только мамаша-буфетчица, копнёшь глубже, а там и дикари, и людоеды.

– Вот именно! – Ева снова читала мои мысли. – Именно!

Варвары! Особенно вы – русские! Лоск ногтём сколупнуть, а под ним – орда, зверьё...

Уже не контролируя себя, я схватил бутылку, – тяжёлая, сволочь! – поднял над головой и со всего маху грохнул о пол. Зажмурился, ожидая взрыв осколков. Но ничего не случилось – бутылка тупо, как чугунное ядро, грохнулась в ковёр и снова встала вверх горлышком. Будто ванька-встанька.

Ева хохотала.

Я вернулся с молотком. Наклонясь, прицелился и с размаху долбанул в стекло. Молоток ударился и отскочил будто от стальной плиты. В воздухе повис тихий металлический звон – как от камертона. Бутылка крутанулась волчком и замерла, снова встав горлом вверх. На стекле не осталось даже отметины. Мои руки дрожали, молоток ходил ходуном. Я замахнулся, но раздумав, бессильно опустил руку. Молоток без звука упал на ковёр. Как во сне.

Ева задыхалась от хохота.

Держась за стенку, я поднялся. Как пьяного, меня качнуло вбок. Ухватился за край стола. Я сипло дышал ртом, точно конь после скачки. Внутри всё тряслось – вот так, должно быть, людей хватает кондрашка. Вот ведь сволочь – ну и духота! Вытер лицо локтём.

Поднял бутылку с пола, прижал к животу, как арбуз. Шатаюсь, вышел из кабинета. Ева перестала смеяться.

– Не будь идиотом! – крикнула. – Стой!

Крыльцо превратилось в причал. Верхняя ступенька уже была под водой. Волны перехлёстывали через край, гуляли по доскам террасы, как по палубе. В углу мокрой тряпкой лежала какая-то бурая гадость. Пригляделся – то был труп лисы.

– Ты что – чокнулся? Ведь любое желание... ну, почти... кроме там бессмертия и прочих глупостей. Деньги, слава – что ещё? Ну? Ведь так славно было, а?

Я подошёл к краю, порыв ветра хлестнул ливнем в лицо.

– Ну, погоди-погоди, – испуганно тараторила Ева. – Погоди! Давай поговорим! Я ведь хотела как лучше... Чтоб ты понял... Правда-правда! И если что... или обидела как... прости. Серьёзно! Прости – слышишь?

Я слышал. Но знал, что отвечать нельзя. Нельзя ни в коем случае.

– Ну ты и кретин! – злобно выкрикнула Ева. – Дурак! Своими руками, а?

Она, похоже, поняла, что меня не переубедить.

– Ведь ты ж урод! Калека убогий! Никакой психоаналитик тебе не поможет! Ты хоть сам-то это понимаешь, ущербный? Ведь я хотела правду тебе показать, правду! И помочь! Нельзя же всю жизнь, как страус, голову... Нужно честно и до конца... И дело не в Линде той, и не в бабье бесконечном... У тебя ж вместо души – дыра! Пробоина, размером с галактику! И никакой Линдой ты её не заткнёшь! Дыру эту!

Гром, мастерски разбитый на басовые октавы, шарахнул прямо сверху. Инстинктивно я присел. Гром ворчливо укатил за лес. Я выпрямился и, размахнувшись через голову, швырнул бутылку в воду.

Бросок вышел так себе. Бутылка вынырнула метрах в десяти. Мелькнуло белое пятно лица. Течение потянуло бутылку, сперва неспешно, как бы нехотя и лениво, после всё быстрее и быстрее. Покачиваясь, точно оторвавшийся буй, она уносилась вдаль. То исчезая, то выглядывая снова, Ева в последний раз играла со мной в прятки.

– Дыра... – выдохнул я, садясь на мокрые доски. – Сама ты...

Штаны тут же промокли, мне было плевать. Нужно честно – вот тут она права. Честно и до конца. Мёртвая лиса скалила зубы, будто ухмылялась. Я пальцем дотронулся до клыка, белого и острого, точно осколок фарфора. Честно и до конца. А если честно, то страшно. Вдруг вся жизнь окажется враньём и пустышкой. И все высокие устремления и поиски смысла не больше, чем пафосные фразы и театральные позы, цель которых незатейлива – ложь. Враньё. Себе и другим. Ну, конечно, себе в первую очередь.

Глухим раскатом бухнул гром. Гроза уползала на восток. Ливень наконец выдохся и превратился в унылый дождь. Небо, грязное и низкое, покрашенное серой краской, как борт эсминца, подёрнулось рябью, там появились прорехи, за которыми угадывался свет. Если ты, конечно, веришь, что там есть свет. Если веришь в солнце, в синее небо и прочую банальную чушь. В большинстве случаев – это вопрос веры. И не более того.

Что-то нужно было делать с мёртвой лисой. Я поднял труп, тело оказалось совсем лёгким. Похоже, это был лисёнок. У меня никогда не было собаки, я не мог даже примерно определить возраст. Вера

говорила, что местные индейцы приручали лис, даже охотились с ними.

Что-то нужно делать с лисой. И что-то нужно делать с зеркалами. Ведь тут такое дело – в зеркале лицо с твёрдым подбородком и жёсткой линией челюсти. Выражение решительности даже в горизонтальном положении. Женщинам такие лица нравятся, они говорят – вот, мужское лицо. Настоящее мужское лицо – говорят они. Что верно – все эти юные херувимчики и адонисы с их румянцем персиковых щёк и томностью голубых глаз к пятидесяти годам превращаются в евнухов с бабьими рожами, белокурые локоны сменяет лысина, розовеющая сквозь предательский зачёс. А у тебя – седоватый ёжик, загорелая помятость и твёрдость подбородка. С таким лицом хорошо ночью спасать женщин, стариков и детей. Крушение поезда и чтоб дождь. Треск вертолётов и прожектора. Или что-нибудь тревожное в горах – лавина или обвал. Тут хорошо днём и чтоб много снега. Канаты лимонного цвета и стальные крючки и карабины. А после – репортёры, камеры, микрофоны – и никакого пафоса, лишь усталый взгляд, улыбка и скромное обаяние. Или обаяние скромности. Приятно быть значительным, но ещё значительней быть приятным. Шучу, разумеется.

Что делать с лисой? Лису нужно похоронить. Когда спадёт вода. Точнее – если вода спадёт. Задняя нога лисы вдруг дёрнулась. Или показалось? Нет, вот ещё раз. Я плечом толкнул дверь, на кухне нашёл полотенце. Взлохмаченную, но относительно сухую, завернул лису в свитер, толстый, в таких ходят исландские рыбаки и поэты в Челси. Получился неуклюжий кулёк, из которого торчал острый нос с замшевой пуговкой на конце. Странно, почему у меня никогда не было собаки?

5

К рассвету вода начала уходить. Уходила тихо и незаметно. Я сидел на открытой террасе второго этажа, уткнув подбородок в мокрое дерево перил. Пейзаж, серый и мутный, как в фильмах Фрица Ланга про нибелунгов, нерешительно проступал из тьмы, невнятные объекты формировались из призрачных теней и предрассветного марева. Лисёнок, завернутый в свитер, спал у меня за пазухой.

Мне казалось, что я нащупал ответ.

Под утро заметно похолодало, с минуту я не мог вспомнить какой сейчас месяц. Было смутное чувство, что начало октября. Нет, наверное всё-таки ещё лето, ну в крайнем случае – сентябрь. Сентябрь, точно. Год назад, прошлым сентябрём, в самом конце, мы были в Калифорнии, хоронили Вериного отца.

Мы застали старика живым. Впрочем, слово «живым» будет некоторым преувеличением. Он приходил в сознание и снова проваливался то ли в сон, то ли в бред. Врачи продолжали колоть лекарства, хотя ни о каком выздоровлении речь уже не шла. Лейкемия, у нас её называли «белокровием», в детстве она представлялась мне таинственным и аристократичным недугом, на самом деле просто отключала внутренние органы, один за другим. Обыденно, как прижимистая хозяйка, что бродит перед сном по квартире и гасит лампы – на кухне, в сортире, в прихожей – ишь, скоко киловатт нажгли в прошлом месяце! Да, примерно так – почки, печень, лёгкие... Самый действенный способ – переливание крови, всей крови и раз в неделю. Ведро крови каждые семь дней.

Я оказался рядом, когда он пришёл в сознание. Разглядывал его жуткие руки, белые, с каким-то лимонным оттенком. Он учил меня играть в гольф лет десять назад. Иногда мы играли в теннис, у него была сказочная подача – хлёсткая и мощная. Не думаю, чтобы я ему особенно нравился. Впрочем, тут без претензий, – я сам себе не сильно нравлюсь.

– А, это ты... – сказал он с лёгким разочарованием, точно на моём месте ожидал увидеть архангела.

Мне удалось заставить себя взять в руку его кисть – холодную, а главное – лёгкую, как птичье крыло. Спросил какую-то глупость, вроде – ну как?

– Страшно... – ответил он просто. – Очень страшно.

Вся эта чушь про синие губы, запавшие глаза и прозрачную, как папиросная бумага, кожу оказалась правдой. Ещё был жуткий кадык, острый, точно застрявший в горле камень. Ещё – реденькая седая щетина. Я никогда не видел его небритым – он был настоящим джентльменом, Верин старикан, – крахмальные сорочки, туфли, ногти, часы на серебряном браслете. И ещё он верил в Бога. По-настоящему, без дураков, – не воскресные прогулки в церковь и

молитвы по праздникам, а серьёзно – он даже Библию читал с карандашом, что-то выписывал оттуда в блокнот. Так, должно быть, верил в Бога Эйнштейн или Ньютон. Мне он как-то сказал – человек верит в Бога вопреки доказательствам. Именно в этом суть веры.

И вдруг – страх. Мне-то казалось, дураку, он вприпрыжку побежит туда – к тем сияющим вратам.

После похорон мы вернулись домой, прилетели ночью. Битый час разыскивали машину на стоянке – ни я, ни Вера не помнили, где мы её бросили. Я сел за руль, хоть прилично выпил в самолёте. Шесть часов полёта, получилось как-то само собой. В Вашингтоне стояла духота. Над городом в мутной дымке висела размазанная луна, воняло тиной. Отлив обнажил широкую полосу чёрной жижи, казалось, берег залит застывающей смолой. Я никогда не любил этот город, хоть и прожил тут шестнадцать лет. Зачем-то повторил эту фразу вслух. Вера не ответила. Даже не повернулась. Скосив глаза, я разглядывал её профиль на фоне окна, за которым неслась ночная обочина. Да, дочь своего отца, раньше я не замечал сходства.

За всю неделю мы сказали друг другу от силы две дюжины слов. На мою последнюю фразу – я уезжаю в Вермонт – Вера просто кивнула. Точно я собирался выйти за газетой.

Прошло одиннадцать месяцев. Я в Вермонте. Простота решения оказалась обманчивой. Должно быть, старик был прав в главном – всё дело в вере. И не обязательно в Бога.

Лисёнок проснулся и начал скулить. Я распахнул холодильник – упаковка пива, жгучий мексиканский соус, полбутылки белого вина. Я нырнул глубже – засохший сыр, пара подозрительных банок неясного происхождения. Комок фольги, который я не рискнул разворачивать. Тут же лежала буханка каменного хлеба. На дне маслёнки желтел кусок оплывшего сливочного масла.

Масло лисёнку понравилось. Он азартно лизал его острым розовым языком, гоня маслёнку по кафелю кухни. За окном совсем рассвело, но утро не задалось – солнце едва проглядывало. Натянув резиновые сапоги, я громко протопал на крыльцо.

Вода ушла. Река, грязная и злая, шумно пенила мутные волны, унося вниз по течению мусор и обломанные ветки с яркой листвой. Ветра не было. Мокрые и тёмные деревья молча стояли в оцепенении, точно после обморока. Трава под сапогами жирно чавкала. С

удовольствием шлёпая по лужам, я прошёл к сараю. Сейф исчез. Не веря глазам, я наклонился и потрогал ладонью траву. На том месте, где он стоял, ясно отпечатался прямоугольник, трава там была бесцветной и вялой. Будто мёртвой. Осторожно, точно боясь кого-то испугнуть, я заглянул за угол сарая. Пусто было и там.

– Не, – возразил я неизвестно кому. – Чушь...

Невероятно, чтобы вода утащила такую тяжесть. Я рассеянно пожал плечами и пошёл дальше. Берег был покрыт мусором, который обычно оставляет морской прилив – щепки, камни, водоросли. Попадались пластиковые бутылки и смятые банки из-под пива. В сучьях яблони застрял изуродованный пляжный зонт – из комка белого и жёлтого брезента топорщились стальные спицы. Дальше валялась резиновая крышка от грузовика, ещё дальше – белела рябым стволом, вырванная с корнем, берёза. На опушке леса я набрёл на гинекологическое кресло, приплывшее неизвестно откуда прямо с куском пола. Стараясь не вдаваться в символизм находки, я повернул обратно к дому.

Если бы у меня оставалось последнее желание – чего бы я пожелал? Мысленно перебрав варианты, пришёл к выводу – ничего. Да, скорее всего, ничего. Желания сами собой разделились на две категории: карликовые и циклопические. Ещё была категория утопических, вроде бессмертия и мира во всём мире, но желания такого сорта выходили за рамки здравого смысла. О чём Ева в своё время предупреждала.

Я шёл по опушке соснового бора. Прежние хозяева обнесли этот кусок земли колючей проволокой. То ли тут когда-то паслись их коровы, а может быть, овцы, то ли заграждение адресовалось лесному зверью. Проволока проржавела, деревянные столбы сгнили и поросли мхом. Моя русская память, не отягощённая сельскохозяйственными образами, тут же выдала две ассоциации – тюрьма и война. Как же они нас выдрессировали! Ничего кроме окопа или вышки с пулемётом в голову даже и не пришло. Я тронул пальцем ржавую колючку. Интересно, а о чём думала Вера, глядя на эту проволоку? Все три года я обещал жене разобрать ограду. Три с половиной. Я подошёл к столбу, пнул сапогом в основание, под мхом оказалась труха. Столб, покачиваясь, повис на проволоке. Гниль! Да тут даже и инструменты не нужны, голыми руками можно. Ну и ногами, конечно.

Ржавая проволока легко ломалась, я без особых усилий выдирал её из трухлявых столбов. Удар сапогом – от пинка столб разлетелся фонтаном рыже-зелёной трухи, точно дряхлый пенёк, ещё удар, ещё. Я вошёл в раж, рвал и комкал проволоку, она топорщилась, норвила расцарапать лицо. Местами железо не сгнило и под оранжевой пылью ржавчины скрывалась крепкая сталь. В азарте я не заметил как порвал штанину, сквозь джинсовую тряпку на бедре проступило бурое пятно. Ах ты дрянь! Штаны совсем новые! Битва приобретала личный характер.

Ограда не сдавалась. Несколько раз я падал, но тут же вскакивал и снова бросался в бой. Рычал и плевался как янычар-берсерк. Вдобавок к джинсам разодрал рукав куртки, вся одежда теперь была в земле, траве и ржавчине, пот тёк по спине, по лицу, щекотно лез в глаза. Руки, чудовищные, будто чужие, были липкими от крови и грязи.

– Дурак, хоть перчатки бы надел, – ласково проговорил знакомый голос.

Это было так неожиданно, что я застыл. Будто меня застучали за чем-то неприличным. Голос прозвучал совсем рядом, я оглянулся.

– Не туда смотришь.

Теперь голос доносился из леса. Я раздвинул кусты орешника, начал вглядываться в темень чащи. Там хихикнули.

– Я на секунду забежала – проститься. Мы расстались как-то не так... Нехорошо расстались.

– Прости, – буркнул я. – Нервы...

– Да я сама тоже... Ты извини, ладно?

Я пожал плечами и сел в траву, поглядел на чумазые ладони. На правой красовалась глубокая царапина в форме полумесяца.

– К тому же за мной последнее желание.

Я не мог припомнить, чтобы она обещала, но возражать не стал. Хотя одно, тем более, последнее желание, – бессмысленно. Поэтому ничего умнее сигареты и не приходит в голову на эшафоте. Я поднял голову – надо мной плыли облака, незатейливые, будто нарисованные художником-примитивистом.

– А можно я на потом оставлю? – спросил.

– Конечно, – покладисто согласилась Ева. – Видишь, кое-что ты всё-таки понял.

Да, кое-что. Процесс важнее результата – раз. Некоторые истины невозможно объяснить, до них можно лишь своим умом дойти, иногда доползти на карачках, на кулаках. Это – два. И третье, самое важное: последнее желание – оно вроде атомной бомбы. Его нельзя использовать. Сила последнего желания не в исполнении, а лишь в возможности его исполнения. Эфемерное гораздо мощней материального. Инфантильная привязанность к предметной стороне мира отвлекает нас от понимания его сути.

– Молодец, – с материнской ноткой похвалила Ева. – Да, и ещё: всё гораздо проще. Как только тебе начинают вкручивать какие-то головоломки – будь то экономика, политика или отношения с бабой, так и знай – врут.

– А смысл жизни? А счастье? С этим как?

– Элементарно. Возьмём, к примеру тебя.

Я настороженно выпрямился. Меня задел её тон, легкомысленный и игривый – так болтают о чепухе, вроде скандала в малоизвестной семье, где муж оказался гомосексуалистом, жена спилась, а дочь приняла магометанство и убежала с горнолыжным инструктором в Афганистан.

– Вот ты – человек творческой профессии.

Я кивнул, ожидая какого-то обидного дополнения. Но Ева перешла к сути и отчеканила:

– Люби, что делаешь. Делай, что любишь.

Я ждал продолжения, но она молчала.

– И всё? – мне не удалось скрыть разочарования. Она фыркнула.

– Вот! Об этом я и толкую! Ты ожидал услышать наукообразную ахинею с малопонятными словами, которыми так любят козырять проходимцы, называющие себя философами и психологами.

– Нет... Но...

– Никаких таких но! Принцип устройства прост. Механика одна и та же. В основе всего – энергия. Энергия, переходящая из одного вида в другой. И всё. Любое творение – картина, симфония, книга – это результат приложения энергии. Энергии любви или ненависти. Можно писать любовью – как Моцарт, а можно страхом – как Шостакович. У энергии безумия свои оттенки: жемчужная – Врубеля или васильково-соломенная Ван-Гога. Злость и ненависть

похожи, но у злости больше красного, ненависть оперирует в чёрно-сером спектре – Отто Дикс, например. Или поздний Гойя.

– А Дали?

– Дали – пижон. Ты ещё Церетели вспомни. Мы же говорим о творцах, а не об имитаторах. Отсутствие страсти – вот что выдаёт имитатора. Страсть может быть буйной, вроде Рубенсовской. Или как у Делакруа – помнишь его мавританский цикл? «Охоту на львов» или «Резню в Алеппо»? А может тлеть тихо, неприметно. Как у Вермеера или Рембрандта.

Она замолчала, я слизнул кровь с ладони и сплюнул. Тень от облака неслась по лужайке, точно кто-то наверху спешно менял декорации – яркий свет сделал всё вокруг ярким и трехмерным. Вспыхнула мокрая трава, листья заблестели как глянцевые. Луч прорвался сквозь крону сосны и, угодив в пруд, рассыпался на сотню солнечных зайчиков. Вот уж точно – если тебе не нравится погода в Вермонте, просто подожди пятнадцать минут.

– Вот так, примерно, – её голос теперь доносился откуда-то сверху, я задрал голову, там плыло облако с голубой дырой в форме сердца. – Моментальная трансформация плоского и скучного в живое и радостное. Искусство в чистом виде.

Было слышно, что она улыбается. После добавила:

– И последнее...

– Что?

– Умойся. Смотреть стыдно.

Я кивнул. Поднялся с травы, отряхнул колени. Джинсы и куртка были безнадежно испорчены.

– Ну всё, – сказала она. – Иди.

– Всё?

– Всё.

Смена декораций – солнце скрылось за облаком. По листве пробежал ветер. Сквозь шумный шелест с реки донёсся крик утки. Всё.

– Ева? – позвал я.

Позвал так, на всякий случай. Прекрасно знал, что её уже нет. Постоял с минуту, рассеянно разглядывая траву под ногами. Не знаю почему пошёл не к дому, а в сторону пруда. Каменные ступени спускались в янтарную воду, на верхней ступеньке грелись на мелководье мальки форели. Услышав шаги, они брызнули враспышную.

Я стянул резиновые сапоги, правый носок был в крови. Должно быть, пропорол колючей проволокой. Раздеваться было лень, я осторожно шагнул на скользкий камень, постоял, осмелевшие мальки вернулись, начали тыкаться в носки. Вода оказалась теплей, чем я ожидал. Комнатной температуры, что называется. Я шагнул ниже. Любопытный тритон, похожий на крошечного динозавра, плавным брассом обогнул моё колено и сонно застыл в сантиметре от поверхности. Я зашёл по пояс, потом по грудь. Вода пробиралась внутрь одежды, куртка надулась пузырьём на спине. Ступени кончились, под ногами был песок. Я оттолкнулся, легко и бесшумно поплыл на середину пруда. Скользил плавно, как это делают коварные аллигаторы в болотах дельты Миссисипи. Или там живут крокодилы? Никогда не понимал разницы.

Я лежал на спине, раскинув руки крестом. Две старых сосны, что росли на самом берегу напротив друг друга, смыкали надо мной могучие лапы. На ветках правой висели зелёные шишки, левая сосна, похоже, болела – шишек не было, нижние ветви превратились в сухие коряги. Над соснами синело небо и текли равнодушные облака, подо мной было три метра озёрной воды. Ближайший сосед обитал в пяти километрах. До Нью-Йорка шесть часов на машине. Если без пробок. До Вашингтона – десять.

Я висел между небом и землёй. Одинокий, никому не нужный, вздорный и не очень умный эгоист. Он парит – скажет поэт, болтается – поправит прозаик. На самом деле я погружался – одежда намочка, становилась тяжелей и я постепенно начал уходить под воду. Тонуть.

Надо мной пронеслись две малиновки. Приземлились в орешнике и устроили там базар. Ни кустов, да и самих птиц я не видел, но знал, что орехи уже созрели. Или почти созрели – малиновки у нас соревнуются с белками и зелёные орехи всё-таки лучше, чем никаких орехов. Нет, всё-таки птицей я бы не хотел стать. Уж лучше аллигатором. Хотя, с другой стороны, полёт. Но ведь наверняка осточертеет на второй день, будешь сидеть на ветке и смотреть телевизор – или что у них там вместо этого.

Я погружался. Пузырьки воздуха щекотно ползли по спине, находили лазейки в одежде и бесшумно выскакивали на поверхность. Одинокая лягушка деликатно пела в зарослях ириса. Он топорщил-

ся вдоль берега и волшебным образом расцветал каждый июнь сине-фиолетовыми кляксами, а сейчас напоминал простую деревенскую осоку. Глупую траву, непригодную даже на корм коровам. Вроде твоей писанины – всплыла в мозг ядовито сладкая мысль. Тут же стало тяготно тоскливо, жалость к себе растекалась по телу, как приторная отравка. Да-да, кому она нужна, твоя писанина? Нетрезвые мысли циничного мизантропа. Выдумки, выдающие себя за истину. Ты хочешь человечеству открыть глаза, сразить каким-то откровением. Хочешь сказать страшную правду. Но при этом пользуешься фантазиями и ложью. Мы все лжецы, но ты сделал ложь своей профессией. Ага, из любви к истине! Я вру, ибо хочу правды! Хочу предупредить! Пророк и мессия! Дельфийский оракул! Да и кто сейчас читает книги? Ты сам уже почти перестал читать – когда ты последний раз был в книжном? Книги! Да что там книги – ты сам-то кому-нибудь нужен? Понимаю – жестокий вопрос. Но если не теперь, то когда? Вот сейчас, буквально через минуту, ты уйдёшь на дно и ведь ничего – слышишь, ни-че-го! – ровным счётом ничего в этом проклятом мире не изменится!

Лягушка выдала трель и замолкла, точно решила подслушать. Нет, это просто вода залилась в уши, и теперь кваканье доносилось как от соседей за стеной. Ватная тишина – она напоминала прихожую, тебя впустили, захлопнули дверь и из-за твоей спины ещё доносится слабый уличный гомон, но сейчас откроется другая дверь – главная. Ты сделаешь шаг... И как же прав был Гамлет, что только страх, лишь страх один удерживает нас... Да, кстати! А ведь я забыл спросить у Евы, как обозначить то желание – последнее, главное, – в голове же постоянно толпится армия глупостей – то пить хочется, то есть, то жарко тебе, то душно. Ведь так можно случайно захотеть какой-нибудь ерунды – ну лимонада со льдом, например, в знойный полдень, и ненароком, на какую-нибудь чушь это самое заветное желание и...

Плавным слетел кленовый лист. Слишком плавно для обычного кленового листа и явно нарушая законы тяготения, он медленно проплыл прямо надо мной. Ярко-красный, этот лист словно отклеился с канадского флага. Какой безнадежный, какой осенний цвет. Если бы высший суд приговор выносил цветом, то смертный приговор непременно был бы красным. В форме кленового листа.

6

Утонуть оказалось не так просто. В последний момент что-то сработало, какой-то инстинкт скорее всего. Икая, кашляя и сморкаясь одновременно, я выполз на карачках на мелководе и упал лицом в ирисы. Меня вырвало озёрной водой и горькой слизью. Гортань саднило, точно я разжевал и проглотил стеклянный стакан. Прямо над ухом радостно застрекотал кузнечик, у нас они крупные и голосистые, что цикады.

Онемевшее тело постепенно приходило в себя, и меня начал колотить озноб. Я попытался встать. Сделал несколько попыток, берег пруда дыбился и качался как палуба. Наконец удалось. Мокрая одежда, тяжёлая и ледяная, липла к телу, на негнущихся ногах я заковылял к дому. Оттуда доносился тихий скрип, он повторялся снова и снова, будто кто-то без конца открывал и закрывал старую дверь. Нет, должно быть, птица. Зубы мелко клацали, звук этот отдавался в мозгу и мешал думать. Перед сараем стояла машина, новенький трёхдверный «форд» с вашингтонскими номерами. Скрип оборвался. Я остановился.

– Вера... – прошептал, улыбаясь, и пошёл к крыльцу.

Она сидела на веранде в кресле-качалке и разглядывала меня с любопытством, точно не до конца узнавая. Я выпрямился и попытался придать походке неспешную грацию непринуждённости.

– Ты... – она привстала, по лицу пробежала гамма эмоций от удивления до испуга. – Ты...

– Да. Пруд, – подсказал я, неопределённо махнув в сторону водоёма. – Вода. Промок немного.

Вера медленно подошла, подкралась, точно боясь вспугнуть – меня? Себя? Что-то незримое между нами? Взяла мою руку в свою, тёплую, почти горячую. Приблизила лицо, вглядываясь в глаза. Она – высокая, Вера, почти одного роста со мной. От неё пахло кофе и ещё чем-то вкусным, кажется, корицей.

– Ты одичал.

Я кивнул.

– У тебя лисы по кухне гуляют.

– Это знакомая лиса.

– Я её отпустила в лес.

– Ничего. Потом вернётся.

– Одичал... – Вера покачала головой. – Тебя нельзя оставлять одного.

Она обняла меня и крепко прижалась. Мокрый насквозь, с клацающими зубами, я стоял и улыбался как дурак.

– Промокнешь... – пробормотал я. – Ты в ту пекарню заезжала, у заправки? Где булочки эти... с корицей...

– Да, горячие, – тихо, будто выдавая секрет, проговорила она мне в ухо. – Из печки прямо. Пойдём.

А после я лежал в ванне, в горячей воде, почти кипятке, и ел булку. Булка не успела остыть и была ещё тёплой, корица сыпалась в воду и плавала островками коричневой пылицы. Я не помню, чтоб получал такое наслаждение от незатейливой комбинации тепла и пищи. В приоткрытую дверь мне был виден потолок кухни, по сосновым балкам бродили огненные пятна. Вера вставала, гремела кочергой, и тогда на потолке вспыхивали рыжие зарницы. Иногда она что-то говорила – негромко, наверное, беседовала с огнём. Саму Веру я не видел, лишь величавую тень, что выростала вроде тени отца Датского принца в первом акте трагедии. Я жевал булку и снова улыбался как дурак. Всё было хорошо, всё было просто здорово.

Я не стал её спрашивать, почему она решила вернуться. Наверное, боялся услышать правду. Мои отношения с правдой весьма запутаны, тут нужно соблюдать предельную осторожность. Я не защищаю ложь, даже ложь во спасение, по мне любое враньё порочно в своей сути. Просто иногда неведение представляется мне благом.

Мы лежали в темноте, лежали молча, но я знал, что Вера не спит.

– Жарко... – её горячие губы щекотно коснулись моего уха.

Я встал, распахнул окно. Обомлел, хоть и видел эту бездну звёзд не в первый раз. Холодная ночь степенно втекла в спальню, я поднялся на цыпочки и вдохнул из всех сил. Пахло дождём, мокрой травой, сосновыми иголками. И чем-то ещё – такой свежий, такой знакомый запах. Невидимая река что-то сонно бормотала, изредка доносился крепкий стук упавшего яблока. Ковш Медведицы удобно расположился в треугольном вырезе чёрного леса. Если набраться терпения и пристально смотреть вверх, то можно заметить, как

звёздное небо плывёт над землёй. Движение это едва заметно, и тут нужно завидное терпение. Я поёжился и, тихо ступая, вернулся в тепло.

– Осенью пахнет, – Вера повернулась на бок и прижалась щекой к моему плечу. – Яблоками.

Я лежал не шевелясь. Вера уже спала. Она уютным теплом дышала мне в ключицу. Мыслей не было, кажется, я улыбался. Было на удивление спокойно и хорошо. Я просто лежал и слушал, как в холодной темноте падают яблоки.

Кровать чуть качнулась и отчалила. Отчалила и легко заскользила в сторону восхода. На горизонте проступило перламутровое сияние, там просыпалось солнце. Перламутр растёкся и превратился в ртуть. Я дотянулся до весла и, встав на колени, начал грести. Рукоять весла, отполированная до тёплого блеска, ладно сидела в ладони. Грёб мерно – справа, слева. Справа, слева. Уверенные движения, без плеска, без брызг – ещё бы! – ведь я был мускулистым гавайцем с шоколадным загаром и гирляндой цветов на шее. Из-за горизонта кто-то выдохнул розовым – нежно, так дышат на зеркало, – и тут же персиковая благодать растеклась ввысь, на полнеба. Солнце выставило золотистую дольку. Та засияла самоварным блеском, бескорыстно и радостно. Начала пыжиться, расти. Море, безупречно гладкое, стало лазоревым. Вдруг кто-то качнул лодку – что за чёрт! Кто там – акула? Кит? Или сам сдуру налетел на риф? Ещё раз! Ещё!

Гавайский рай померк, я проснулся. Вера трясла меня за плечо. На полпути к реальности я уже понял, что случилась какая-то беда. Растерянной Вера бывает редко, бывает сердитой или серьёзной, саркастичной или хмурой. Бывает злой, чертовски злой.

– Олень... – она неуверенно показала в сторону окна. – Что-то надо делать...

Я не сразу понял, что там происходит. На опушке, у самого леса, я увидел оленя. Мне показалось, что у него перебиты передние ноги: зверь мучительно пытался встать, но снова и снова падал. Движения напоминали конвульсии.

– Что... – пробормотал я. – Что с ним?

Олень дёрнулся и опять уткнулся головой в траву. Верины ногти впились мне в запястье.

– Проволока. Там проволока.

Олень запутался в колючей проволоке. Нашей колючей проволоке, которую я собирался убрать все три года. Олень попытался встать и упал снова.

Босиком, на ходу натягивая джинсы, я побежал в кладовку. На верхней полке, за пыльной коробкой с ёлочными игрушками нашёл холщёвую сумку с инструментами. Вывалил всё на пол. Среди отвёрток, гаечных ключей, беспризорных шурупов, гвоздей россыпью и прочего слесарного хлама, нашёл кусачки.

Процесс представлялся просто: поглаживая зверя по шелковистой шее и успокаивая ласковыми словами, нужно перекусить ржавую проволоку в нескольких местах – и всё. И всё?

Увидев меня, олень испуганно рванулся. Проволока впиалась в горло, потекла кровь. Истоптанная трава уже была вся в красных кляксах. Я поднял руки, точно сдаваясь.

– Тихо-тихо... – шёпотом проговорил я, зачем-то показывая оленю кусачки. – Вот – смотри. И не надо нервничать... Мы сейчас эту...

Зверь скосил на меня безумный глаз. Шарахнулся в сторону и снова упал. Осторожно ступая, я подошёл ближе. Проволока стягивала грудь и передние ноги, из рваных царапин на животе и шее текла кровь.

– Ну как же ты так... – выставив кусачки, я почти дотянулся до проволоки. – Вот мы сейчас...

Олень захрипел и попытался лягнуть меня. Я отскочил, олень снова упал.

– Так дело не пойдёт, – пробормотал я. – Лягаться не надо. Лягаться нехорошо...

Олень вытянул шею, снова захрипел.

– Он по-русски не понимает, – Вера неслышно подошла, она стояла за моей спиной. – Его надо усыпить.

– Точно! – я повернулся. – Как же я не догадался! Принеси мне пожалуйста мой арбалет и стрелы с наконечниками, смазанными снотворным зельем.

– Я серьёзно.

– Вера!

– Не ори.

– Я не ору. Просто громко выражаю свои эмоции. Мы в глу-

ши, в Вермонте! Лес! Дикий лес! Это ж тебе не канал «Дискавери»! Программа «В мире животных»! Глушь и дичь! Тут даже мобильной связи нет! Компьютер еле пашет. Телефон на проводе – девятнадцатый век!

– Должна быть какая-то служба. Не может не быть. Как в Вашингтоне или Нью-Йорке – «Контроль за животными».

– Вера! – взмолился я. – Какой контроль?! Тут из власти – один шериф на всю округу!

– Вот ему и позвоним!

Я смолчал, шумно выдохнул и отвернулся. Может, она и права. Все мои старания только напугали зверя и он запутался ещё туже. Я сжал бесполезные кусачки, пару раз клацнул в воздухе. Олень снова дёрнулся.

– Прости-прости... – я сунул кусачки в задний кармана. – Видишь – нету.

Выставил пустые ладони. Олень лежал на боку, вывернув голову, смотрел на меня одним глазом. От этого взгляда хотелось удвиться. Я и представить не мог, что во взгляде зверя может быть такая концентрация ужаса. Вот он – животный ужас в чистом виде. Смесь беспомощности, безумия и страха. Такие глаза, должно быть, у них на бойне. Стараясь не делать резких движений, я опустил на короточки. Карий глаз следил за мной неотрывно.

– Прости, видишь, какая беда приключилась, – я говорил ласково, тихо, как говорят с насмерть перепуганным ребёнком. – Мы что-нибудь придумаем, как-нибудь тебя выручим... Ты, главное, не дёргайся, видишь, как эти чёртовы колючки тебя исполосовали... В кровь исполосовали.

Ярко-алые струйки стекали аккуратными полосками по боку. Как ленточки – так наивные художники средневековья изображали кровь в сюжетах распятия и страстей. Малиновые капли идеальной формы блестели на мокрой траве, как рассыпанные бусы. Зелёный цвет является дополнительным к красному, находясь рядом, они создают максимальный контраст. А если их смешать на палитре, то получится серый. Цвет исчезнет – одна краска убьёт другую. Но, может, те средневековые художники не были так наивны, как нам это представляется? Может, это мы движемся не в ту сторону? Ведь суть искусства не в копировании мира, а в создании своей – новой все-

ленной. Пусть это всего лишь раскрашенная доска с тремя ангелами и одной чашей посередине.

Донёлся шум мотора. Потом хлопнула дверь, я услышал голоса. Верин и мужской, хозяйский баритон, уверенный и обстоятельный. Я обернулся – через залитую солнцем поляну в мою сторону шагал шериф – шляпа, звезда, сапоги, – я видел его мельком пару раз раньше, – на дороге и в продуктивном. Он стоял за мной в кассу и держал в руках гигантский арбуз. Я ещё пошутил насчёт торговых отношений с Чернобылем. Он не понял, но засмеялся. У него был золотой зуб – передний. Единственный золотой зуб, который я видел во рту белого человека за всю мою жизнь в Америке.

Олень испуганно всхрапнул, совсем как лошадь, – он тоже заметил шерифа. Вера шла следом, прямая, крепко скрестив руки на груди, точно она продрогла. Только сейчас я обратил внимание, как она похудела. Вернее, заметил ещё вчера, но то было в темноте и на ощупь. Шериф молча приложил два пальца к шляпе, я кивнул в ответ. Мне всегда хотелось иметь именно такую шляпу – белый «стетсон», с широкими, чуть загнутыми полями; я даже как-то примерял такую в магазине – там торговали ковбойскими аксессуарами – сапогами с хищными носами из крокодила, кожаными жилетами, ремнями с литыми бронзовыми пряжками и, разумеется, шляпами. Продавщица ахала – вылитый Пол Ньюмен, Вера уклончиво молчала, но я мельком заметил в зеркале её лицо. Короче, шляпы у меня нет, что, пожалуй, к лучшему: вряд ли у меня хватило бы духу показаться в таком виде на людях.

Шериф присел на корточки рядом. Крякнув, скрипнув кожей португепи и хрустнув коленными суставами. Ему было сильно за пятьдесят, – крепкий мужик, загорелый, с большими, точно клешни, руками, наверняка охотник и рыболов, как пить дать суровый отец и строгий муж (но, несомненно, добрый дед), – его уже лет двенадцать местные выбирают шерифом. Тут, в Вермонте, шерифа выбирают прямым голосованием сроком на четыре года. Меня поначалу забавляла подростковая наивность американцев в выборах руководствоваться главным образом внешними данными кандидата. Со временем, однако, пришлось признать правоту такого подхода: ну посудите сами, ведь не может быть какой-нибудь очкастый ханурик дельным шерифом. Равно как нельзя ожидать

мудрого правления от плешивого коротышки-президента. Безусловно, бывают исключения, но они как раз-то и подтверждают правило.

Вера продолжала стискивать себя руками, она стояла чуть поодаль и, болезненно морщась, смотрела на оленя. Шериф тоже его разглядывал, но без особых эмоций.

– Пятилеток, – поднимаясь, сказал. – Хороший зверь.

– Мы думали, усыпить... – я тоже встал. – И...

Шериф оглянулся на Веру, что-то буркнув, отстранил меня рукой, как-бы отодвигая в сторону. Расстегнул кобуру и достал пистолет – я как замороженный глядел на его воронёный армейский кольт седьмого калибра. Шериф щёлкнул предохранителем, поднял руку и выстрелил. Я машинально повернулся к оленю. Пуля попала в лоб. В самом центре белого ромба чернела круглая дырка. Крови не было. Просто чёрная дырка. Звон от выстрела вернулся эхом, пахло порохов. Так пахнут новогодние хлопушки, кисло и горько. От этого дыма жуткий кашель.

– Разделаете сможете? – шериф застегнул кобуру. – Или прислать кого?

Потом приехали какие-то люди, громкие и бородатые, на грузовике с мятым бампером. Мы ушли в дом. Вера сидела как каменная и неотрывно смотрела в огонь. Иногда вставала, подкладывала полено и снова опускалась в кресло. Снова стискивала себя до белых костяшек. Я блуждал по комнатам, изредка заглядывал в окно – мельком и против своей воли, будто за стеклом открывался вид в преисподнюю.

Мужики ловко разделались с проволокой, они курили и смеялись, после закинули оленя в кузов. Вера вздрогнула, этот звук мёртвого тела о жёсть мне вряд ли удастся так просто выкинуть из памяти. Я подошёл к креслу, положил руки Вере на плечи. Огонь полыхал вовсю, внутри расцветали пламенные пейзажи; рождались, наливаясь жаром, замки и башни, подвесные мосты, сияющие анфилады и пунцовые сады, а через минуту, с такой же лёгкостью всё это рушилось и исчезало. Мимолётное чудо. Бескорыстная и никому не нужная красота.

– Чудо...

Вера произнесла невнятно, точно во сне. Не оборачиваясь, буд-

то говорила сама с собой. Я молча смотрел в огонь. Она продолжила тем же ровным голосом:

– Даже простую белку увидеть – такая радость. А если оленя, то у меня на целый день настроение особенное...

Я застыл. Мурашки поползли по спине. А Вера тихо закончила:

– Словно маленькое счастье снизошло.

7

Мои отношения с правдой весьма запутаны – вроде отношений между супругами, которые несколько лет жили вместе, потом развелись, а после сошлись снова. И не просто сошлись, а поженились ещё раз. Наверняка, у тебя тоже есть в знакомых такие.

С правдой нужно обращаться осторожно. Как с опасной бритвой – сравнение банально, к тому же такими бритвами никто уже давно не пользуется, но от этого бритвенная сталь не становится менее острой. Может, именно острота стали и пугает нынешних мужчин; они ведь такие нежные, такие ласковые – ну просто лапочки.

Ради правды я готов пожертвовать многим – даже правдой. Она, моя правда, похожа на разбитое зеркало, где отражение мира истинно, но расчленено на фрагменты, вроде осыпавшейся на пол мозаики – вот ультрамариновый кусок неизвестного моря, вот чей-то глаз – карий и, скорее всего, девичий. Ага, а вот чёрный, как сажа, осколок безлунной ночи, а, может, это – тайный грех и, вполне возможно, что именно твой. Или мой.

Хочу сделать тебе подарок, предупрежу сразу – я его украл. Существуют вещи, без которых человеку живётся худо – знаю по себе; и мой подарок – одна из таких жизненно важных вещей. Это – осколок давнишнего лета, фрагмент из девяноста дней, закрученных лентой Мёбиуса, и потому бесконечных. Там нет начала и нет конца, смотреть это кино можно с любого эпизода. От этого удовольствие не становится меньше.

Это лето – особенное, это последнее лето твоего детства. Тут краски яркие, сочные и живые, это тебе не художочная акварель – это живопись. Кадмий, стронций и лазурь. Никаких охр и умбр, выбрось свой коричневый марс к чертям собачьим. Цвет открытый,

цвет дышит. Палитра – как у чокнутого Ван Гога, а не у какого-нибудь прусского меланхолика вроде Фридриха.

Это лето громогласное, никаких шепотков, оно орёт во всё глотку. Горланит вроде четвёрки деревенских девок, румяных, подвыпивших, которым сам чёрт не брат. Шагают, взявшись за руки по полевой траве, по василькам. Отчаянно поют, красиво, но слов не разобрать. Похоже, про любовь.

А как оно пахнет, то лето! Никогда больше не будет такого духа у печёной на костре картошки, натырренной с соседских огородов. А уха на берегу закатного озера – вот это аромат! Как бы ты ни стал богат и знаменит, ни один ресторан мира не сможет предложить такого божественного яства из уклеек и пескарей. Не забудь и про кислую оскомину от яблок из колхозного сада, яблоки – чуть крупнее гороха, зелёные – вырви глаз, но добытые с риском для жизни и потому вкусней всех «джонатанов» на свете.

Оно, это лето, набито под завязку тёплым ветром, что пахнет скошенной травой, гоном утренних дроздов и звоном полуденных стрекоз, узорами бабочек, щекотным бегом божьей коровки по загорелой руке, брызгами до небес от прыжка с ивы – ведь она так склонилась над рекой специально для тебя. Раз-два-три! – и ты летишь вниз с невероятной выси, летишь почти вечно. И футбол до белых кругов в глазах, до потери сознания, когда после игры ты просто падаешь в траву, падаешь навзничь и раскинув руки, точно солдат, сражённый пулей снайпера. И гонки на великах сквозь лес – тропа виляет, сосновые корни питонами переползают твой путь, но ты мчишь со скоростью света. Ты – болид, метеор, кеды развязались и шнурки летят за тобой, как след от неистовой кометы. Вот только жаль, что нет представителей из Книги Гиннесса, чтоб зарегистрировать новый мировой рекорд.

У тебя два друга, в их жилах течёт кровь гордых индейцев, они храбрее королевских мушкетёров и благородней рыцарей Круглого Стола. Втроём вы каждый день спасаете человечество от страшных бед – вы останавливаете небывалое цунами и поток кипящей лавы из проснувшегося вулкана, разоружаете злодеев мирового масштаба, сражаетесь с пришельцами из других галактик и спасаете города от нашествия мертвецов. Фантазии ваши в миллион раз живей того, что взрослые именуют реальностью. Ваши крепости и замки, фре-

гаты и космические станции сотканы из тумана, но туман тем летом прочней кирпича, из которого построены школы, тюрьмы и казармы. Ваш союз, разумеется, тайный, туда не принимают не только плаксивых девчонок, но и вообще никого. Ну, может, за исключением Виннету или Робин Гуда. Тайные знаки союза выжжены солнцем на груди – это молния, звезда и стрела. На твоей груди – молния. Тот зигзаг ты аккуратно вырезал из пластыря, а после терпеливо лежал под солнцем – весь день и почти не шевелясь. До сгоревшего живота и облупившегося носа.

Сосновый бор и берёзовая роща, и река, и заброшенное кладбище на окраине за огородами – всё принадлежит только вам. Суть вещей и смысл жизни постигается опытным путём. Лес оказывает не суммой деревьев, а ловкой иллюзией, сплетённой из изумрудных теней и солнечных пятен. И лесная тишина – сплошной обман, составленный из тысячи шорохов, шелестов и шёпотов. На коре старой сосны можно разобрать магические символы, поняв их, ты станешь невидимкой или сможешь летать как птица.

И когда костёр превращается в груды рубинов, а фиолетовый лес неслышно подкрадывается вплотную и дышит холодом в спину, наступает время страшных историй. Упоительных до мурашек. Жутких, как заклинания колдуна, зловещих, как заговор шамана.

– Чёрная Рука идёт по твоей улице, – могильный голос звучит тихо. – Чёрная Рука заходит в твой подъезд. Чёрная Рука поднимается по лестнице. Чёрная Рука перед твоей дверью...

И ты понимаешь, что нет сил закрыть замок, нет воли даже пошевелиться. Ты – жертвенный агнец и спасенья нет.

Это лето – особенное, это последнее лето детства. Ты даже не подозреваешь, что ждёт тебя после. Там, дальше, в неотвратимо надвигающейся взрослой жизни. Ты просто об этом не думаешь, тебе невдомёк, что у слов «смелость», «дружба», «честность» может быть очень горький привкус. И что мудрость – ею так гордятся взрослые – больше похожа на мешок с острыми камнями, который тебе придётся тащить на своём горбу до самого конца. Ты ещё не знаешь, каким тусклым может стать синий цвет, и что зелёный с жёлтым – это не цвет июньского луга в одуванчиках, а окрас бортовой брони. Ты не понимаешь смысла слова «тоска» и тебе наплевать, почему уны-

ние включено в список смертных грехов между прелюбодеянием и обжорством.

Это твоё последнее лето, и поэтому запомни его как следует. В мелочах и деталях, со звуками и запахами. Впоследствии эта память тебе очень пригодится. Возможно, она даже спасёт твою жизнь. Вернее, то, что ты, вопреки здравому смыслу, упрямо продолжаешь называть жизнью.

Валерий Бочков родился в Латвии в семье военного лётчика. Вырос в Москве, на Таганке. Профессиональный художник, более десяти персональных выставок в Европе и США. С 1995 по 2000 год работал креативным директором рекламного агентства Grey Worldwide в Москве и Нью-Йорке.

С 2000 года живёт и работает в США (недавно из Вашингтона переехал в Вермонт).

Он – автор одиннадцати книг. Лауреат «Русской Премии» за роман «К югу от Вирджинии» (2014). Роман «Харон» стал победителем премии имени Эрнеста Хемингуэя (2016). Сборник рассказов «Брайтон Блюз» получил звание «Книга года» немецкого издательства «Za-Za Verlag» (2013).

Ведущее издательство России «ЭКСМО» с 2015 года выпускает персональную серию Валерия Бочкова «Опасные игры». Его произведения постоянно в списке бестселлеров, авторитетные критики включают их в список наиболее интересных книг.

Он – постоянный автор нашего журнала.

Михаил КОВСАН

В УГЛУ ВРЕМЕН, НА КРАЕШКЕ ПРОСТРАНСТВА

СТАВ ПРИЗРАКОМ

Став призраком, зависимость презрев,
пыль отряхнув, от вечности отвыкнув,
скользя, ползет не человек, не зверь,
не гомон птиц, не буква – закавыка.

По улицам, пластаясь, шелестит,
в тиши опавшей желтизной дрейфуя,
тысячелетия назад пропавший шрифт,
ничто ни с чем живое не рифмуя.

Ползущий по асфальту полый гриб
в прах обращает миг и постоянство,
наскальный неразгаданный верлибр,
беззвучно истязаящий пространство.

На части, на столетья, на куски
скоромно плоть живую расчлняя,
вползает в город, улицы узки,
змеей ползет, сжимаясь и петляя.

И обращается в безбровый глаз разрез,
загадочный, халдейский, безобразный,
скукожился, исчез и вдруг воскрес
бесплотный, бездыханный и безгласный.

Первоначально мир не замечал,
затем привык и вовсе примирился,
и, объявив началом всех начал,
воздвиг алтарь, чтоб фимиам курился.

О ЧЕМ В ДОМЕ ВИСЕЛЬНИКА ГОВОРИТЬ?

О чем в доме висельника говорить?
Лучше всё время молчать о веревке,
из угла в угол летит во всю прыть
молчание громкое гулко, неловко.

Утопленник? Значит, молчат о воде,
не угощают ни кофе, ни чаем,
не ведая, что же творится на дне,
кого там не любят, кого привечают.

В доме пророка о чудесах
не говорят, сбудутся, нет ли,
взвешено всё на небесах,
пущены стрелы, заброшены сети.

В доме жреца о жертвах молчат,
голодный был день или удачный,
только сверкают глазища волчат,
жреческий путь которых не начат.

Любимец судьбы? Об удаче молчат,
не пьют, не судачат, веселия нет здесь,
звенит тишина, как шаги палача,
латают ее недобрые вести.

В доме поэта сует суета,
пусто, не убрано, зубы на полку,
зато до отвала сыты слова,
хозяина луца весь день без умолку.

ФАТА-МОРГАНА

В бездну вмерзаю?
Бездна в меня?
Иду, не дерзаю
кликнуть: «Огня!»
Крикнуть не смея,
молчать не могу,
шепчу и, немея,
молю немоту.
Жизнь ледяная,
скользкая блажь,
бело, синева и
сосульчатый кряж.

Смеясь или плача,
одолеть, обогнуть,
им обозначен
тупик, а не путь.
Метелью, наветом
сквозь дни и года
стелется следом:
когда и куда?
Ведет бесконечно
в явь или сон
молчащее нечто,
смерч, горизонт?
Фата-моргана?
Снегов круговерть?
Больного органа
одышка и смерть?
Свет отворивший
электрик плохой?
Дух воспаривший
над стужей лихой?
Линией рваной
путь завершен.

Милость пространства?
Немилость времен?

К смерти влечение?
Или сквозь мрак
голубого свеченья,
сапфировый знак.

В ПРОСТРАНСТВО СМЕРТИ И В ПРОСТОР ЛЮБВИ

В пространство смерти и в простор любви
Впадает время, тщась в водоворотах,
И вечность вырастает на крови
Чертополохом, черным стоном свода.

Смеркается, смерзается, течет
Подробно, одичало, онемело,
Память зовет, забвение влечет,
Угля чернее и белее мела,
Смелее храбрых и трусливей крыс,
Легче, чем дух, и тяжелее плоти,
Одолевая искушение ввысь
Дымом взойти, став копотью на своде.

Но стелется поземкой по земле,
Как искуситель, проклято навеки,
Восьмеркою свернувшейся змее
Завидуя, и, замыкая веки,
Из кожи выползти, исчезнуть и залечь,
В себе от быстротечности сокрыться,
Яд бытия из вечности извлечь,
Не воскресив исчезнувшие лица.

ШАГРЕНЕВАЯ ЛИНИЯ СУДЬБЫ

Шагреновая линия судьбы
Скукожится негаданно, нежданно,

Велению Всевышнего судьи
Покорствуя, не сетуя, что рано.

Ей, днями не насытившись вполне,
У края замерев, не покориться,
Но, уподобившись в отчаянье волне,
Восстав, пунктиром в пене раствориться.

Не в океан, в исток забытый впасть,
Быльем заросший больно, одичало,
Последнюю власть проявляя власть
Не над концом огромным – над началом,

Над маленькой иллюзией смешной,
Безвольной и нелепо неумелой,
Над линией шагреновой слепой,
Изнемогающей в бессмысленности белой.

В ТОМ НЕПРИМЕТНОМ УГОЛКЕ ЗЕМЛИ

В том неприметном уголке земли
Я пребывал в тот малый миг безвестный
И видел: жало мудрыя змеи
Дрожа скользит на место лжи и лести.

Тень долго длилась, уходя в пески,
Мгновенье выросло, удлиняясь,
Как будто бы молило: отпусти,
Пред вечностью безмерною склоняясь.

Я слышал шелестение времен,
Младенцев лепет, стариков стенанье,

Белесый плёс и черный грай ворон,
Благословение, проклятье и признание.

Я видел праотцев, потомков прозревал,
Я есть, я буду, был – в едином миге,
Я их на пир великий призывал,
Я созывал их всех на пир великий.

Из края в край звенел оживший дол,
Из края в край столы, звеня, ломились,
И жег сердца единственный глагол,
Мгновения тысячелетья длились.

Всё меньше со мною родных мне друзей,
Всё больше со мною ненужных затей,
Все меньше со мною оставшихся слов,
Охота всё дольше, всё меньше улов.

Всё засуха суше, а дождь всё мокрей,
Всё меньше не видимых стран и морей,
Всё меньше посадок, длиннее полет,
Скучней, надоедливей всяческий счет.

ЗДЕСЬ, ПЕРЕУЛКОМ К СЕБЕ Я ПРОЙДУ?

Здесь, переулком к себе я пройду?
Брод отыщу в еще бодром бреду?
Эпоху найду, где жить пожелаю,
Оставив свою, где беду пожинаю?

Кто сеет, тот жнет, что жнет, то и ест,
Посеял добро – пожнет блавест,
Сеющий боль зло пожинает,
Ведает сеятель, что поджидает.

Поэту неведомо, что рифма скажет,
Укус ли выпить, раны ли смажет?
В круг поместит или ранит углом,
Лавр поднесет, разрушит ли дом?

Щебет и лепет наполнит ли сад,
Ночь – мрак и тень, свет – веси и град?
Правда – страну, истина – мир,
Душу – покой, вино – долгий пир?

Куда и зачем, бредя, бредешь?!
Стой! Возвращайся! Тупик! Не пройдешь!

В УГЛУ ВРЕМЕН, НА КРАЕШКЕ ПРОСТРАНСТВА

Не красоты – гармонии ищущу
В углу времен, на краешке пространства,
Где в синь свирельную, светясь, восходят стансы,
Растут навстречу солнцу и дождю.

Где волк с овцой, где вол со львом живут,
Пророк пророчит мир навечно миру,
Дарит смирение народному кумиру,
Весною сеют, а созреет, жнут.

Где осени – не избавленья ждут,
Вино творить для свадебного пира,
Созвучья сжав, вернет их миру лира,
Врачуя боль, накладывая жгут.

Где глухоту и слепоту сожгут,
Взойдут косноязычно и космато,
За ними следом певчие крылато
Взлетят и над землею круг сомкнут.

Рать многозвучная, многоголосый грай,
Всё озаряя солнечно и звонко,
Разбудит, по сырой земле ребенок,
Босой пойдет к норе змеи играть.

Михаил Ковсан – прозаик, поэт. Автор комментированного перевода ТАНАХа на русский язык, ряда книг по иудаизму и литературоведческих статей. Автор многочисленных публикаций в интернете, двух книг прозы и трех поэтических сборников. Живет в Иерусалиме.

Леон МИХЛИН

ИНДИЙСКИЙ ГАМБИТ

Роман

Продолжение. Начало в №1(5) 2018

Глава 4

Ужин в ресторане был назначен на вечер понедельника следующей недели. Судя по всему, Марку и Вэлу был чужд предрассудок: понедельник – день тяжелый, серьезные дела не делаются. Но до ужина Вэл посетил агентство Марка по его настойчивой просьбе.

Пройдя по длинному коридору, он нашел табличку с нужным названием, без предварительного стука открыл дверь, вошел и оглядел помещение и работавших в нем. Трое из пяти сотрудников уставились в компьютерные мониторы и не обратили внимания на вошедшего. Бросила взгляд лишь женщина не первой молодости, впрочем, не утратившая миловидность. Пятым был странный тип в инвалидной коляске, вплотную придвинутой к рабочему столу, он спал – во всяком случае, так показалось Вэлу.

Навстречу, неслышно вминая подошвы штиблет в серый, не первой молодости, ковер, шел высокий человек с ромбовидной фигурой. Вэл представился, тот подал руку: – Добрый день, Вэл. Рад познакомиться.

Они встретились глазами. Знакомство всегда таит некоторую интригу, особенно в первые пять-десять секунд, когда не произнесено ни слова и люди молча высвечивают друг друга, словно рентгеновскими лучами. На сей раз происходило то же самое, однако Вэл почувствовал в немигающем, оценивающем взгляде владельца агентства нечто большее – возникло ощущение, что Марк готовится к схватке с сильным, умелым противником и непременно хочет по-

бедить. Это было странно – Вэл внутренне готовился к сотрудничеству, а вовсе не к соперничеству. Марк, очевидно, это почувствовал и выключил рентгеновскую установку, установив на лице всегдашнюю американскую улыбку, означающую что угодно, включая заинтересованность и благожелательность.

Марк оказался выше Вэла на полголовы. Он подводил гостя к каждому сотруднику, представлял его и давал исчерпывающе короткие характеристики, перечисляя достоинства. Вэл пожимал руки, произносил приличествующие моменту слова-клише, везде и всюду сопровождающие такую процедуру. Главное – запомнить имена и не путать, если доведется работать вместе, а он верил в эту возможность.

Голубоглазый блондинистый Алан, Норман с голым черепом и почему-то страхом в лице, лучезарно улыбающийся Стюарт... кажется, он запомнил их имена. Хелен во время представления предстала во всей привлекательности форм, глаза-бусинки блестели, каштановые волосы ласкали открытые плечи. Вэл дольше положенного держал ее ладонь, похоже, это не укрылось от Марка.

Единственная заминка вышла с Джо. Небритый, со щеками цвета буряка, он буркнул в ответ на приветствие и спросил:

– Ты что, новенький, нанятый боссом? Если так, почему он тебя не представил в этом качестве?

О Марке говорить в третьем лице выглядело не вполне учтиво. Очевидно, этому типу в коляске здесь позволено многое, решил Вэл.

– Да, Вэл будет работать с нами, – вынужденно признал босс.

– Это другое дело. А то знакомишься и не знаешь, что за птица тебе руку пожимает, – выдохнул Джо.

Часы показывали половину шестого, когда Марк и Вэл вышли из здания на 32-й улице. Дневная июльская жара немного ослабла, но солнце еще всю палило и от асфальта шел тугий жар, как от неостывшей конфорки. Жара и влажность – сочетание порой убийственное, после душа непонятно, ты еще не высох или уже опять вспотел. Дан сравнивал климат Нью-Йорка и Москвы не в пользу первого.

Июльскую жару в Америке называют «дог дэйз» – собачьи дни.

Почему собачьи – Вэл не знал, его просветила клиентка – разбитная латиноамериканка с русским именем Тамара, выпускница колледжа, которой он нашел работу, пару раз с ней переспав и не взяв денег за трудоустройство. Оказывается, по имени июльской звезды Сириус из созвездия Большого Пса. Эти собачьи дни продолжаются обычно от двух до трех недель. Сейчас они, похоже, кончались.

Для Вэла времена года в Нью-Йорке выглядели так: зима раз на раз не приходится, но менее суровая, нежели в Москве, где он родился и прожил до эмиграции тридцать лет. Весна скоротечная, можно и не заметить, лето... ну, о нем лучше не вспоминать, и потрясающая осень – долгая, сухая, теплая, иногда длится до декабря.

Прошлогодняя зима, бесснежная, с сильными ветрами, казалась, выдувавшими душу, и без морозов, поразила тем, что на Рождество зацвели подснежники. Обычно это происходит двумя месяцами позже – в марте. На воспетых Ленноном «Земляничных полянах» Центрального парка забелел ковер. А весна выдалась такой, какой ей и надлежит быть в этом ни на что не похожем городе, где становятся реальностью самые дикие и безумные идеи, – короткой, невнятной, словно и не весной даже, имеющей единственный признак смены времен года – обилие распускающихся, в отличие от подснежников в положенное им время, цветов. Город опушился нежно-розовой, малиново-пурпурной, золотисто-оранжевой благоухающей магнолией с бутонами, похожими на изящные бокалы с шишковидными пестиками внутри; цвела белая и розовая сакура, в разных уголках – не только в парках и ботанических садах, но и за оградами частных домов и близ многоэтажных жилых строений – появлялись орхидеи, тюльпаны, нарциссы, гиацинты. Каменные джунгли расцветались яркими красками оранжевой.

Минули всего-навсего три недели апреля, и грянула жара за семьдесят фаренгейтных градусов, пролились дожди, установилась летняя влажная погода.

Если бы Вэла спросили, что ему запомнилось более всего за несколько лет эмигрантской жизни, он в числе наиболее крутых впечатлений назвал бы нынешнюю зиму девяносто шестого, особенно февраль. По Манхэттену предпочитали передвигаться на лыжах. Невиданные снегопады парализовали жизнь, машины и автобусы стали обузой, и люди, тугими волнами выбрасываемые из пере-

груженного, задыхающегося метро, шли пешком, оскальзывались, вязли в сугробах, неуклюже, как антарктические пингвины, переваливались на ходу. Лишь к началу марта природный катаклизм исчерпал себя и остался в памяти обескураженных горожан как нечто фантастическое и необоримое.

Вэл полюбил Нью-Йорк, находя в нем энергию и мощь сродни московской, но еще сильнее. В редко выпадавшие свободные часы он с удовольствием гулял по улицам и дышал, впивался глазами, останавливался и слушал. Он отдавался городу подобно тому, как пловец отдается потоку воды, сливаясь с ним воедино. Но вот что было странно: город не снился. Не входил в усталый мозг, когда невидимый дирижер в нем отключается, переставая посылать команды дотоле слаженному оркестру, и музыканты начинают играть кто во что горазд, рождая из какофонии гротескные, исполненные непонятных символов мелодии. Ночью, во сне, город не захлестывал с головой, как девятый вал, не радовал, не тревожил и не печалил, как в течение дня. Сумасшедший, невероятный, бурлескный, припадочный, гомерически смешной, постно-унылый, утонченный, примитивный, загаженный, сверкающий и еще всякий – он существовал отъединенно, вне видимой связи с Вэлом, и происходило это только ночью, во сне. При свете же дня Вэл оставался пленником города, безропотно принадлежал ему как вассал господину.

Марк шел чуть впереди, вышагивая по-журавлиному, выбрасывая вперед длинные ноги и размахивая руками. Вэлу он напоминал Жака Паганеля в исполнении актера Черкасова из фильма «Дети капитана Гранта». Вэл ускорял движение, чтобы не отставать.

Выйдя на Бродвей, Марк начал ловить такси. В час окончания работы клерков желтые кэбы шли с пассажирами – у Вэла давно уже возникло ощущение, что в Манхэттене передвигаются исключительно на такси, не утруждая себя ходьбой. Понятно, в летнюю жару люди предпочитают ощущать присутствие кондиционеров, а не горячее влажное июльское дыхание – кэбы в той или иной степени гарантировали прохладу.

Марк чертыхался, когда на его поднятую, как шлагбаум, руку водители не реагировали, и «сигналил» снова и снова.

– Куда мы все-таки направляемся? – осведомился Вэл. Это вы-

глядело не слишком учтиво, однако Марк воспринял вопрос нормально, хотя и подпустил туману.

– Сюрприз. Мне кажется, вы останетесь довольны.

– И все-таки, может, обойдемся без машины? Пешком иногда быстрее получается.

– Сейчас не тот случай. Отсюда двадцать блоков, Вест 52-я.

Да, далековато, пешком идти – упаришься, согласился про себя Вэл. Интересно, куда же долгоногий Марк пригласит поужинать...

Наконец, удача улыбнулась, они плюхнулись на заднее сидение кэба, и водитель-пакистанец повез их на нужную улицу, выстаивая в «пробках» и пробуя объезжать.

Точный адрес, названный Марком: 52-я стрит между Бродвеем и 8-й авеню о чем-то говорил Вэлу, но поначалу он не врубился, посчитав, что речь идет об итальянском ресторане, коих в этом районе немало. Лишь на подъезде понял смысл сюрприза – ужинать они будут в «Русском самоваре». Марк окинул его горделивым взглядом, словно ждал громкой похвалы: здорово я придумал, а! Вэл поднял большой палец в знак одобрения.

Две ступеньки вниз – и они оказались в продолговатом слабо освещенном прохладном зале. Справа шла барная стойка с высокими табуретами, на одном восседал пожилой седобородый человек в тельняшке и пил пиво. Посетителей почти не было, лишь в левом углу гуляла кампания, шестеро мужчин и две женщины, разговаривали довольно громко, официантка несла им на подносе несколько узких длинных рюмок с водкой. Эту картину Вэл разом ухватил цепким взглядом.

Их усадили подальше от веселой кампании, сбоку от белого рояля. Марк с неподдельным интересом – было видно по нему – разглядывал картины и рисунки с подписями на незнакомом ему языке, которыми были увешаны стены. Пару раз вставал, выходил из-за стола и брел вдоль стен.

– Это все купил хозяин? – поинтересовался у официантки.

– Нет, что вы, это все подарки гостей.

– Хм, сюда что, ходят исключительно художники?

– Отнюдь. Но в основном творческие люди, большей частью русские, но бывают и знаменитые американцы, актеры, музыканты...

– Вам доводилось здесь бывать? – Марк обратился к Вэлу.

– Один раз. Года два с половиной назад. Для меня это было дорогое заведение, тогда не по карману.

При упоминании «дорогостоящего заведения» его собеседник моргнул и, как показалось, слегка помрачнел, всего на секунду-другую.

Они углубились в меню. Марк повторял вслух на английском названия закусок, русские названия произносились со смешным акцентом – Вэл еле удерживал улыбку.

– Винегрет, Оливьер сэлад, Рашн херинг, Сатсиви, Холодетз, Кавьер, Бастурма...

Марк, похоже, хотел воспроизвести всю меню, Вэл остановил его прыть на борще, пожарских котлетах и шашлыке (он произнес – *шашлик*).

– Цены не такие уж страшные, – резюмировал Марк. – А что будем пить?

– Водку, конечно. Мы же в русском ресторане. Смотрите, – Вэл ткнул пальцем в меню, – водка особо приготовленная, вон сколько рецептов: хреновая, чесночная, кориандровая, перцовая, клюквенная...

В итоге заказали четыре вида водки, селедку с картошкой, студень, сациви и пельмени. Марк добавил *шашлик по-карски*.

– К черту диету, к дьяволу осточертевшие яблоки, – заявил Марк после первой рюмки. Он, похоже, заводился.

Глядя на почти пустой ресторан (жаркий июль больше тянул к воде и пляжам Кони Айленда, нежели в кабак с неременной выпивкой), Вэл вспоминал ту зиму, когда впервые побывал здесь. Народу была уйма, не продохнуть, все столы заняты. Он еле-еле отыскал местечко, притулившись к паре бабенок в возрасте, но еще *играющих*, пивших водку. Он спросил одну из них, как давно существует ресторан, и в ответ услышал завлекательную историю от *завсегдайки*, как она аттестовала себя. Марина, так звали бабенку, поведала: «Самовар» куплен неким русским лет восемь назад, тут находился захудалый итальянский ресторан, его в 70-х приобрел для приятеля Фрэнк Синатра, тот самый, знаменитый, останавливался в этом доме у этого приятеля, в квартире на втором этаже, наезжая в Нью-Йорк из Калифорнии. «Я откуда знаю? «Из Нового Русского Слова», там большая статья напечатана. Потом совладельцами стали Бродский и Барышников... Давай выпьем, ты мне нравишься, ты стран-

ный, маленько пришибленный. Наверное, в эмиграции недавно, угадала?»

Вскоре Марина указала на симпатичного мужчину с изящной, стильной седеющей бородкой, он сидел недалеко от них, курил сигару, к нему подходили здороваться, обнимались, целовались, он пил со всеми, никому не отказывая, точнее, пригубливал рюмку. «Это и есть хозяин, Роман Каплан, классный мужик, умница, интеллигент»...

И был белый рояль, играл пианист, потом скрипач, потом гитарист, потом играли втроем, а потом микрофон взял среднего роста плотный человек в круглых очках-блюдечках, с венчиком рыжеватопепельных волос вокруг лысого черепа. Публика зааплодировала и, вскочив с мест, взяла рояль в кольцо. «Бродский!», – Марина едва не взвизгнула от восторга и вместе с подругой тоже бросилась к роялю. Вэл не последовал их примеру и остался сидеть. Имя Бродского было на слуху, Вэл знал, что это знаменитый поэт, нобелевский лауреат, но стихов его не читал и вообще, от литературы был достаточно далек. Московская мода на поэтов его миновала.

Поющий не был виден, лишь торчала голая макушка с растительностью по бокам, зато слышался его голос, довольно приятный, с легкой картавинкой, исполнявший под аккомпанемент «Что стоишь, качаясь», «Очи черные», «Мой костер». С музыкой Вэл был знаком много лучше, нежели с литературой, ему нравилось исполнение Бродского. Одну известную песню он прежде слышал на пластинках и по западному, прорывавшемуся сквозь глушилки, радио на немецком, а здесь она звучала по-русски:

*Возле казармы, в свете фонаря
кружатся попарно листья сентября,
Ах как давно у этих стен
я сам стоял,
стоял и ждал
тебя, Лили Марлен,
тебя, Лили Марлен.*

*Лупят ураганным, Боже помоги,
я отдам Иванам шлем и сапоги,*

*лишь бы разрешили мне взамен
под фонарем
стоять вдвоем
с тобой, Лили Марлен,
с тобой, Лили Марлен.*

Все это вихрем пронеслось в памяти. Рассказать Марку про Бродского? Не стоит, он наверняка не слышал о таком. К тому же поэта уже нет в живых – умер в январе, и стоит сиротливо в правом углу «Самовара» его столик. Пустой. Вэл слышал, за него никого не сажают...

Марку не терпелось начать разговор, собственно, ради которого он пригласил Вэла в ресторан. Но начал издали, поинтересовался биографией сидящего напротив: брови уважительно поползли, когда услышал, что его новый знакомый закончил московский университет, а сообщение о том, что Вэл все еще не женат, вызвало особую гамму чувств – от удивления до некоторой доли зависти, безобманчиво мелькнувшей на физиономии Марка, из чего Вэл сделал соответствующий вывод.

Подробно рассказывать о московской жизни не было желания: была ли просьба босса пятерых рекрутеров вызвана неподдельным интересом или попыткой побыстрее установить душевный контакт – ничто, наверное, так этому не способствует, как стремление разговаривать нового знакомого, дать ему возможность повспоминать. Да и поймет ли сытый благополучный американец перипетии тамошнего советского существования, ни на что не похожего... Как перевести термин «фарцовщик», как объяснить нехватку всего и вся, когда необходимое добывалось из-под полы, с переплатой... Импортные женские высокие сапоги стоили под двести рублей, а средняя зарплата была куда меньше. Но покупали у фарцы, одалживали деньги, залезали в долги. Иностранцы диву давались: в магазинах пусто или торгуют по западным меркам кошмарными изделиями, а одет народ, особенно женщины, помоднее, чем в Париже или в том же Нью-Йорке.

В памяти выплыло: однажды в канун 7 ноября возле станции «Краснопресненская» увидел, как несколько человек входили в ме-

тро, увешанные гирляндами рулонов туалетной бумаги. Это был дефицит. Туалетная бумага входила в праздничные продовольственные заказы. Очевидно, перед революционным праздником работников какого-то предприятия *отоварили*, и теперь, гордые и счастливые, они возвращались домой. И никто над ними не смеялся, не шутил – напротив, одолевали вопросом: где достали?

Вэл, тогда еще Валентин, мечтал о настоящих американских джинсах, о дубленке, о том, чтобы повести девушку в дорогой ресторан и не трястись, что может не хватить для расплаты какой-нибудь пятерки, да мало ли о чем может мечтать парень в двадцать лет... А денег не было, у родителей, тоже не бог весть каких богачей, просить унижительно, вот и занялся бедный студент рискованным занятием по добыче «бабок». Это был первый опыт, открывший в нем жилку бизнесмена.

В конце 70-х начал с торговли пластинками с западной эстрадой, купленными у фарцы и перепроданными обожателям Битлов, Деер Purple, Abba, Nazareth. Потом пошли в ход импортные видеомэгнофоны. Набравшись опыта и наглости, решив сыграть по-крупному, организовал пошив и продажу разноцветных пуховых курток. Заработок пошел в гору, но увеличился риск. К счастью, не поймали и не посадили, а могли вполне. К тому времени Валентин твердо решил эмигрировать.

Перед его отъездом, в расцвет кооперативов, прежняя нелегальная деятельность превратилась в легальную. Инженер-геофизик с университетским дипломом, Валентин ковал железо, пока было горячо, копил валюту. В горбачевский период происходили чудеса: люди желали делать бизнес с партнерами на Западе, пытались продавать все, что плохо лежало и готово было уплыть за кордон. Удавалось единицам, остальные имели дырку от бублика, но энтузиазм не распродаже советского не угасал. Знакомый Валентина, постарше и порисковее, занялся вертолетами. Готовилась грандиозная, по его словам, операция. В итоге ни одного винтокрыла продано не было – взамен сплошной геморрой. Знакомый эмигрировал в Штаты, через пару лет Валентин встретил его, тот поведал, что сидит на велфэре и пытается продавать самолеты...

Посвящать Марка во всю эту *тряхомудию* было бессмысленно.

Отделавшись несколькими ни о чем не говорящими фразами, Вэл решил взять быка за рога и прекратить хождение вокруг да около. Тем самым окажет услугу собеседнику, не знающему, как подступить к главной теме.

– Марк, почему вы сразу поверили в меня? Боюсь разочаровать. На вас работают пятеро профессионалов. У вас связи с большими финансовыми компаниями. Я ничего этого не имею и ничего подобного не привнесу в ваш бизнес. Марк неожиданно занервничал. Его длинные гибкие пальцы забегали по столу. Со стороны могло показаться, что имитирует игру на пианино. Ответ откровенно удивил.

– Мои сотрудники не имеют особого таланта к избранному ими роду деятельности. Читают резюме соискателя работы и, как правило, не видят стоящего за банальными строчками человека. Не могут понять, в чем он силен и кому можно его предложить. Вы не поверите: я до сих пор пишу для них вопросы. Я объясняю им в сотый раз, что можно ждать от того или иного программиста. Они кивают и продолжают делать те же самые ошибки. Вэл, если я оставлю их на неделю и дам свободу рассылать резюме по их усмотрению, через месяц в агентство никто не позвонит. Все мои усилия пойдут псу под хвост. Со мной больше никто не станет разговаривать. Да, парочка моих людей кое-что умеет, иногда связи успешно срабатывают, но нет движения вперед, роста, стабильных заработков, наконец. Я увидел *в тебе* (дружески, отнюдь не фамильярно, похлопал Вэла по плечу) необходимого, правильного человека. Интуиция до сих пор не подводила меня! Твое объявление в «Нью-Йорк таймс» поразило. Плюс ты заинтриговал на счет консалтинга, чем я не занимаюсь, и золотой жилы... Приоткрой завесу, я стораю от нетерпения...

За рояль сел молодежавый человек в очках и лукавой улыбкой красиво вылепленных губ. Его белый пиджак гармонировал с цветом рояля. Его появление начавший заполняться зал приветствовал аплодисментами и выкриками: «Саша, сыграй для души!». Его тут хорошо знали. Вэл видел его при первом посещении «Самовара» два с лишним года назад. Саша играл тогда часа два, стоявший на крышке рояля стакан наполнялся долларами – ему хорошо платили за искусство. Вэла просветила словоохотливая соседка по столу, почувствовавшая интерес к одиноко выпивающему, озирающемуся по сторонам человеку, явно чужому в этом заведении. «Знаешь,

кто это? – указала на пианиста. – Известный музыкант, композитор, автор первой советской рок-оперы. Ты где жил до эмиграции? А, в столице? А я в Питере, у нас оперу эту впервые исполнили «Поющие гитары». А еще Саша симфонии сочиняет, песни... У него в Нью-Йорке свой театр «Блуждающие звёзды», только денег на него никто не дает...»

Вэл после ее слов загрустил. Известный музыкант сшибает десятки и двадцатки в кабаке... А куда деваться, здесь русские рок-оперы без надобности, у американцев своих достаточно. А жить-то надо... Спроецировал на себя и настроение его совсем упало.

К роялю вышла, точнее, выпорхнула девица с обмотанной вокруг головы русой косой, взяла микрофон и запела «Отцвели уж давно хризантемы в саду...» «Лёля зажигает», – прошелестело ее имя.

Марк глазел на девицу и пианиста, он раскраснелся от выпитого, вид его демонстрировал полный кайф.

В паузе между пением и аккомпанементом Вэл рассказал о Саше, что знал. Неожиданно для себя добавил и о Бродском, указал рукой на его столик. Марк проникся сообщением и предложил тост за талантливых русских людей.

Пианист играл еще полчаса, Лёля пела романсы, потом Саша ушел отдыхать, а Вэл продолжил разговор, перейдя к конкретике.

– Мое первое предложение связано с развитием вашего бизнеса в направлении консалтинга. Стоит обратить внимание на временное трудоустройство программистов параллельно с постоянным. Это тоже может приносить деньги, хотя и небольшие, но, как у нас в России говорят, курочка по зернышку клюет, да сыта бывает.

Он коряво перевел смысл поговорки, Марк понял, закивал и тут же дал американский вариант: *Grain by grain and the hen fills her belly.*

– Постоянное трудоустройство должно остаться, но ему нужно уделять десять процентов времени. Остальное время можно свести к следующему: выйти на программистов, с которыми агентство имело дело в прошлом или работает сейчас, и предложить им больше денег за счёт перехода на временную, консалтинговую работу.

– Вэл, объясни еще раз. Я понимаю подсознательно, но недостаточно, чтобы изложить это своим работникам.

– Временный консультант, назовем его Джон, открывает свою

собственную маленькую фирму, лучше сказать, фирмочку. Нанявшая его с помощью твоего агентства большая компания перечисляет за это тебе, Марк, деньги, а ты, в свою очередь, платишь Джону за каждый отработанный им день. 15-20 процентов оседают у тебя в кармане в виде прибыли. К тому же Джон не платит налогов, или самую малость, так как многое списывает. И большой компании выгодно, ибо в итоге тоже платит значительно меньше налогов: временный сотрудник, ясное дело, обходится ей гораздо дешевле постоянного.

Марк закивал головой – теперь до него дошло. Вэл продолжил:

– Мы должны иметь данные всех программистов, которые устроились через твое агентство, и всех обзвонить. Это большая работа, но таким образом мы создадим базу данных желающих работать по временному контракту. Компании порой берут людей на несколько месяцев, чтобы проверить некоторые программы. Все давно создано умными, знающими профи. На шесть месяцев нужны посредственности. Но за них хорошо платят. И в тот момент, когда большая компания закажет средних специалистов, мы должны быть полностью подготовлены. Ибо на средних специалистах легче всего заработать.

Вэл с наслаждением поедая пельмени, макая их в горшочек со сметаной. Водка под такую закуску не брала, голова была ясной, как и не пил. Зато Марка, меланхолично жующего кусок баранины, *novelo* – глаза осоловели, щеки словно натерли наждаком. Он дышал натужно, лоб покрылся испариной то ли от обилия пищи, то ли от количества выпитого, то ли от того и другого вместе.

– Во время бесед твои ребята и милая Хелен должны расспрашивать программистов об их коллегах, – продолжал Вэл. – Они плотно общаются между собой. И работающие в данный момент могут назвать имена только что освободившихся от контракта. Марк, пойми, во временном устройстве значительно больше динамики. Контракты заключаются обычно на полгода, максимум на год, и программист по истечении срока ищет новую работу. Это обеспечивает поток наших потенциальных клиентов. Плюс создает еще одну возможность для бизнеса. Общаясь с человеком, который ищет работу, мы должны немедленно узнать, где он до этого проходил интервью. Это информация будет немедленно передаваться

тебе, Марк, и ты должен мгновенно находить нуждающихся в людях менеджеров, предлагать им наших кандидатов на имеющиеся вакансии. Это настоящий бой за деньги. Каждый устроенный программист приносит от ста до двухсот долларов в день. За полгода мы вполне можем устроить сто человек. И зарабатывать в день больше десяти тысяч! Неустанный поиск сделает нас богатыми! Менеджеры – вот наш капитал. Каждый менеджер ищет в среднем до пяти программистов в год. Так построен бюджет компаний на развитие программного обеспечения. Подружившись с двадцатью менеджерами, мы можем приблизиться к упомянутой цифре. По моим оценкам, таких менеджеров в городе больше двадцати тысяч. Ты понимаешь сумасшедший потенциал этого бизнеса?!

Марк понимал, глаза вдруг засветились, словно включенные в ненастную погоду фары, он шевелил губами, очевидно, что-то подсчитывая.

...Под мелодии белого рояля и пение Лёли они еще долго обсуждали перспективы дела, которое могло связать их. С каждой минутой Марк убеждался, что его собеседника послал сам господь бог. Вот она, польза чтения объявлений... И в таком радужном настроении Марк, быть может, впервые за последние годы с удовольствием заплатил по кредитке 174 доллара, с учетом щедрых чаевых официантке.

Глава 5

На следующий день ровно в девять утра Вэл вошел в агентство. Марк понуро сидел за столом и жадно пил из банки клаб-соуду. В помещении еще никого не было.

– Вчера я перебрал. Жена скандал устроила, она к моим загулам не привыкла, – произнес он слегка осипшим голосом. – У вас, русских, водка как религия, а мы, американцы, другие.

– Между прочим, ты пил с удовольствием, так что не кори себя. Есть отличный способ борьбы с похмельем: лечить подобное подобным. Пойди по-тихому в ликерку, купи маленький пузырек «Столичной» или «Абсолюта» и прими как лекарство. Сразу полегчает.

– Нет-нет, – Марк скривил физиономию, словно ему предлагали касторовое масло для очищения кишечника, допил содержимое банки, выбросил в мусорную корзину и открыл новую.

В комнате начали появляться сотрудники.

Вэл за руку поздоровался с каждым. Приветствуя Хелен, он сделал ей комплимент, от чего та зарделась. На него смотрели с любопытством, следили за каждым его словом, жестом. Он прекрасно чувствовал обстановку: сел за стол, услужливо предоставленный Марком, поставил телефон в режиме громкой связи и набрал номер. Послышались гудки, приятный женский голос с легким акцентом произнес сообщение на автоответчике. Вэл пригнулся к микрофону, тихо сказал что-то по-русски и нажал кнопку отключения звонка. Он улыбнулся, поднял многообещающе и непонятно для присутствующих главный палец правой руки, сжав остальные.

Затем набрал другой номер. Молодой уверенный мужской голос весело без какого-либо акцента произнес на английском:– Вэл, рад слышать тебя. Ты давно не звонил. Как поживаешь?

– Прекрасно. Майкл. Я по делу. Ты свободен сейчас?– В смысле?

– Ну, по работе?

– Нет, сижу на контракте. Но очень скучно, да и платят не очень.– И где это происходит?

– В «Золотом Банке». Ты почему спрашиваешь? Есть что-нибудь поинтереснее? Просто так ты бы не позвонил.– Я перешел в новое агентство. Очень большое. У нас куча предложений и скоро будет больше ста консультантов. Если я найду тебе контракт на четыреста пятьдесят баксов в день, ты пойдешь? – Спрашиваешь... Не пойду – побегу.

– По рукам. Жди звонка.

Вэл опять сделал знак главным пальцем и улыбаясь, обвел взглядом присутствующих. В ответ получил загоревшийся интерес и понимание.

Несколько часов он обзванивал бывших клиентов и просто знакомых компьютерщиков. Результаты превзошли ожидания. Марк и остальные не работали, а только вслушивались в короткие переговоры новичка и всякий раз тихо радовались, когда удавалось поймать на крючок очередную «рыбку».

Близилось время ланча.

– Итак, ребята, я нашел к этому моменту шесть программистов, которые хотят стать консультантами, прекратить ездить на службу

ежедневно, мучиться в «пробках», париться в сабвэе. Они не ищут работу, они ждут ее от меня. В течение двух недель я должен представить им по два интервью. Это будет достаточно, чтобы они получили новые контракты и деньги поплыли в нашем направлении. А сейчас пора перекусить. Я принесу всем кофе из «Старбакса». Кроме того, разрешите мне организовать ланч на всех и таким образом отпраздновать появление русского в вашей среде. Плачу я, а вы делайте заказы – надеюсь, поблизости найдется достойное заведение с приличной пищей...

Все улыбнулись и одобрительно закивали.

Через минут сорок двое молодых парней доставили еду из японского ресторана. Вэл появился с большим подносом, уставленным кофе в бумажных стаканчиках. Он извлек из своего портфеля бутылку дорогого французского белого вина. Марк не возражал и поощрительно похлопал Вэла по плечу.

После трапезы новый сотрудник сел за стол и набрал очередной номер. Отозвался мужчина с зычным голосом Шаляпина, прокричал на русском: – Вэл, дружище, я только что о тебе подумал!

Голос был настолько мощный, что Вэл уменьшил громкость микрофона. – Как ты, Алекс? – перешел на английский. – Извини, что не на нашем родном – таковы правила агентства. Я перешел в новую фирму по рекрутингу. Очень перспективную. Насколько я помню, ты работаешь в финансовой компании, в этой... «Милман и братья». Если не секрет, сколько зарабатываешь?

– Сведения твои уже устарели. От «Милмана» я ушел в швейцарский банк, буквально три недели назад. Да, консультантом. Контракт на полгода. Дали пятьсот пятьдесят в день. Поверь, выдрал у них из горла.

– Молодец, можно позавидовать. Поделись опытом: долго искал на этот раз?

– Маркет нынче хороший, наш брат нарасхват. У меня было больше десяти интервью. Брали везде, предлагали и четыреста, и пятьсот в день, но я искал самые лучшие условия.

– Алекс, можешь вспомнить фамилии менеджеров? – Для тебя, Вэл, все что захочешь, хоть адреса моих бывших жен. Так, дай вспомнить. Сначала был Стюарт Гершевиц, потом женщина...м... с

русским именем, но американка... как ее... Анна Мел. И еще был русский, Питер Озерский. Но если ты ему позвонишь, предлагай американца. Он мне сам сказал на интервью: «Русских больше брать не буду. На тебе счет заканчивается. А то разговоры начнутся – своих тянет. Зачем мне это нужно? Я хочу до пенсии в Золотом банке досидеть». В «Коммерсбанке» было два интервью. С Тимом Шумером и шведом, его имя Карл Лим. Очень приятный мужик, жалко, что у него не нашлось денег по моему аппетиту. Ладно, расскажи про свою жизнь, что на личном фронте?

По громкой связи делиться интимным Вэл не захотел, взамен сообщил последние новости об общих знакомых и незаметно вернулся к интервью Алекса. – Побывал в трех страховых компаниях. В АРС была женщина, Мэри Росс. В другой конторе – старый зубр немецкого происхождения Адольф Шульц. А в третьей... кто же меня мучил, изводил вопросами... извини, запоматывал.

Алексу надоело пересказывать весь свой путь последних месяцев – Вэл это почувствовал. Договорились встретиться и попить пива в ирландском пабе в даунтауне Бруклина.

– А теперь, многоуважаемый босс и коллеги, ищите телефоны менеджеров, имена которых Алекс любезно предоставил нам, притом исключительно из-за симпатий ко мне, притом бесплатно. Вот список...

Марк начал поиск сам. Он полностью оклемался после вчерашнего, каждый звонок нового сотрудника и энергичная, без лишних слов, беседа с потенциальными консультантами и одновременно осведомителями по части возможных вакансий вселяла в него уверенность. Богатое воображение рисовало привлекательную картину своеобразного конвейера, по ленте которого сплошным потоком двигались пачки купюр.

В «Золотом Банке» обнаружился Гершевиц. Марк набрал нужный номер. После долгих гудков пошел месседж. Марк оставил свое сообщение, кто он и с какой целью звонит – разумеется, без каких-либо деталей.

– Я абсолютно уверен, что ты с ним договоришься, и к концу недели один наш человек начнет работать у него консультантом. Пожалуйста, будь настойчивее, – поощрил Вэл босса. – А главное,

ищи кандидатов на вакансии. Гении не нужны, требуются самые обыкновенные программисты – рынок все сожрет. И закипела работа. Новые коллеги Вэла сидели на телефонах, печатали резюме и предоставляли для просмотра Вэлу и Марку, бегали друг к другу и советовались. Уже вечером, перед уходом, Марк произнес краткую прочувственную речь:– Сегодня мы убедились, сколь много в нашем бизнесе не прочитанных страниц. Что мы можем получать настоящее удовлетворение от потраченных усилий. Не сомневаюсь: мы все, вы и я, заработаем большие деньги. Но должны работать, как сегодня, по-сумасшедшему! И спасибо Вэлу! Давайте ему поаплодируем... Тронутый до глубины души, новый сотрудник церемонно раскланился.

...Они покинули офис в половине девятого вечера. Марк посетовал, что опять получит взбучку от жены за поздний приход. «Но мне есть чем ее порадовать... Расскажу о самом ценном приобретении – о тебе, Вэл»...

Теплый воздух, скопивший дневные испарения, не давал свежести и желанной прохлады. Манхэттен источал свой особый запах-коктейль азиатского фаст-фуда, хот-догов и жареного мяса, приготовленного в припаркованных у тротуаров тележках, стойкого парфюма, бензиновых выхлопов, сигаретного дыма. Дождался вывоза мусор в черных полиэтиленовых мешках. Мимо текла разноплеменная толпа, никто никого не толкал, никто никуда не спешил, желтые кэбы развозили жителей по домам, увеселительным заведениям, тетрам и концертным залам – жизнь здесь не замирала ни на час.

Марк и Вэл тепло попрощались, один направился на Пэнстэйшн, другой нырнул в метро, ведущее в Бруклин.

Утром выяснилось, что «Золотой Банк» пока заморозил все позиции. На лице Марка отпечаталось разочарование. Вэл не терял оптимизма и старался вселить его в босса.

На резюме, присланное Норманом, откликнулась Мэри Росс. После разговора она попросила еще два резюме.– Это означает, что менеджер возьмет одного из наших людей. Она не захочет работать с другими агентствами, ибо чувствует, что мы дадим ей тех, кого она

ищет. АРС – махина, тридцать процентов всего страхового бизнеса в Америке. Им нужны будут программисты для решения проблемы Миллениума, которого они боятся как огня. А двухтысячный год не за горами. Обычно страховые компании идут вслед за финансовыми. Как зеваки копируют клоунов. Так что надо собирать резюме работающих над проблемой Миллениума уже сейчас и готовых уйти в качестве консультантов через полгода или раньше. В этом наш главный шанс...

Раскрылась дверь, и в агентство уверенной походкой вошла женщина лет под сорок. Она приковала взоры. Облегающая стройную фигуру одежда была произведена в компаниях дорогих дизайнеров, даже не специалист в этом вопросе мог сразу определить. Над ее лицом творец искусно поработал, не забыв изучить все изящное, что прежде создал. Это была истинно красавица: белокурая, с голубыми глазами, чувственными губами, впечатляющей грудью и соразмерными бедрами, женская стать присутствовала в ней полной мерой.

Вошедшая в офис осмотрелась и, увидев Вэла, радостно улыбнулась. Вэл вскочил и быстрым шагом направился к ней. Он представил женщину Марку и усадил напротив, сам устроился рядом.

– Я знаком с Ланой несколько лет. Она брала у меня людей, когда я только начинал. А сейчас стала солидным менеджером и хочет помочь развить наш консалтинг.

Марк пожирал незнакомку глазами; трудно было определить, красота ли привлекла его повышенное внимание или сообщенное Вэлом. Похоже, он потерял дар речи.

Мило, без грана кокетства улыбаясь боссу, Лана перешла к сути.

– В данный момент мне нужны четыре специалиста. Желательно люди из России. Русские работают в нашей компании, проявили себя как хорошие, толковые работники. Но они должны иметь не меньше десяти лет американского опыта и прежде работать в компаниях, обслуживающих Нью-Йоркскую биржу. Более того, они должны были хотя бы пару последних лет писать программы для продажи бондов.

– Да, непросто найти таких, – отреагировал Марк, выйдя из ступора.

– Надо постараться. Вэл поможет, не так ли? – и многозначительно посмотрела на него.

– Разумеется, сделаю все что в моих силах, – заверил.

– Резюме должны быть готовы до конца следующей недели. Интервьюировать сначала буду сама.

Еще несколько минут уже ни к чему не обязывающего трепа – и она попрощалась и пошла к выходу, опять сфокусировав заинтересованные мужские взгляды и слегка нервную реакцию Хелен. Вэл сопровождал Лану.

Как только закрылась дверь лифта, они обнялись. Она прошептала:– Господи, как я соскучилась...

Они вышли на улицу.– Когда ты посетишь мою берлогу?

– Не знаю. Может быть, вырвусь в пятницу после трех, если не будет совещания. Заработай много денег и перебирайся в Манхэттен – тогда будет проще.

– Легко сказать – заработай...

– Я постараюсь *споспешествовать* (забытое русское слово ди-ковинно прозвучало в ее устах). Это и в моих интересах...

Вэл усадил Лану в такси и вернулся в помещение агенства. Марк смотрел на него восхищенно.

– Почему ты не женишься на ней? Фантастическая женщина... Вэл пожал плечами и слегка развел руки: не все так просто, дорогой босс...

Мимолетное появление Ланы подействовало на него, как легкий наркотик, так происходило всегда за годы их знакомства и близости. Думая о ней, он часто задавал себе вопрос: почему в Нью-Йорке так мало красивых женщин? В саввэе ли, в автобусе, на улицах, в театрах и концертных залах – смуглолицые, шоколадные, узкоглазые, блинообразные, бледно-белые, безразлично-никакие, не будящие эмоций лица, и если мелькнет вдруг манящий облик, безобманчиво определяешь – русская. А ведь какой чертовский намест, кого только и откуда не приманивает и не привечает этот сумасшедший город... Кажется, в таком конгломерате рас и народностей только и произрастать красавицам. Ан нет, все блекло, стерто, невпечатлительно.

Однажды в компании приятелей зашел об этом разговор. И Вэл услышал, наверное, завиральную, но довольно необычную теорию-объяснение. Во всем виноваты костры инквизиции. В средние века сжигали в Европе еретиков и ведьм, ведьмы были самыми красивыми, их не стало – генофонд красавиц истощился. Попадаю-

щие в Америку женщины из Старого света несут в себе отблеск тех зловещих костров... А с прочими, не англосаксами, как же? А вот так: эмигрируют со всего остального мира не сливки общества, не аристократы – трудовой люд в поисках куска хлеба, скажем, женщины-латиносы, их в Нью-Йорке уйма, низкорослые, с откляченными задницами, напоминающие лошадей Пржевальского. Моют посуду в ресторанах, убирают помещения, ухаживают за чужими детьми, вкалывают продавщицами за семь долларов в час, словом, делают то, от чего отказываются американки – в массе невзрачные, неприметные, молодые и не очень, чаще всего неприбранные, неухоженные, словно специально одетые так, чтобы скрывать женственность...

И лишь русские, чьи глаза сулят и не отталкивают, как равнодушно-безучастные взгляды американок, обученных не смотреть на мужчин, лишь русские, приехавшие оттуда, где грязный, начиненный парами бензина и заводскими дымами воздух, где каждая пятая недоедает и где женщина – существо подневольное, целиком зависящее от мужских прихотей, где для того, чтобы следить за собой по общепринятым стандартам, не хватает средней зарплаты, – именно русские поражают в Нью-Йорке статью, здоровой, гладкой, без веснушек, рябинок и угрей кожей, модной стрижкой, со вкусом подобранной косметикой, одеждой...

Как такое возможно? Вэл не знал...

Лана являла собой образец славянского типа красоты. Замужем за адвокатом – партнером в крупной фирме, зарабатывающем миллион, а то и больше, есть сын-подросток. Муж старше ее на восемь лет, отрастил брюшко, занят исключительно карьерой и деньгами, по признанию Ланы, не спит с ней довольно давно. Она сделала Вэла любовником, именно *сделала*, проявив инициативу. Встречаются украдкой, в основном у него дома, рестораны выбирают далекие, в Нью-Джерси или на Лонг-Айленде, боясь засветиться, пару раз отрывались в Атлантик-сити в казино с ночевкой – Лана врала мужу, что едет с подругой.

Вэла такая связь пока устраивает, хотя порой он взбрыкивает – перспектив их отношения не имеют. Однажды закинул удочку относительно возможного изменения статуса Ланы и был остановлен в довольно резкой форме: «Из семьи я не уйду, запомни это и не

поднимай больше болезненную тему». Конечно, кто же откажется от мужа-миллионера и от любовника... Прекрасный треугольник...

Спустя пару недель Лана позвонила и обрадованно сообщила: после нескольких интервью все четыре кандидата были приняты в компанию. Вэл радовался вместе со всеми.

За полтора месяца агентство устроило консультантами двенадцать программистов и пятерых – на полный рабочий день по двухгодичным контрактам. На столе Вэла стояло уже три телефона. Он теперь не общался по громкой связи. Больше в агентстве никого не нужно было учить. Необходимые знания приходили в процессе работы.

Марк не верил происходящему. Дневной заработок рекрутеров суммарно достиг трех тысяч долларов. При этом намеченная Вэлом цель была выполнена лишь частично.

Головокружительно пролетел еще один месяц. Каждый новый контракт Марк клал в отдельную коленкоровую папку. Теперь папок было более тридцати. Рано утром, по обыкновению приходя в офис первым, Марк гладил эту стопку, ласкал, словно женщину. И впрямь, его прикосновения рождали иллюзию сексуального удовольствия сродни оргазму. После сеанса *интимной близости* он в означенное утро начинал пылесосить ковер. Сам не понимал, зачем это делает. Агентство в час зарабатывало столько денег, чтоб хватило бы не просто удалить пыль, а вылизать все корейские этажи здания. Все шло великолепно, однако в ушах попрежнему пульсировало брошенное Вэлом мимоходом в самом начале знакомства про *золотую жилу*. Боясь быть назойливым, босс все-таки не выдержал и однажды спросил напрямую:

– Вэл, каков будет наш следующий шаг?

– Дорогой Марк, не торопись. Не прищипывай коня, он и так скачет резво. Скажу лишь одно: наш следующий шаг будет называться *аутсорсинг*

Об этой сфере мало кто в середине 90-х имел точное представление, а больше пользовался обрывочной информацией и слухами. По натуре неутомимый, сжигаемый желанием опередить конкурентов, успеть раньше других, Вэл буквально заболел желанием разуз-

нать, разведать, иметь полное представление о новом, только входящим в обиход его коллег понятии.

Он выискивал сведения где только можно, включая газеты и журналы, изучал интернет, жадно читал, записывал в специальную тетрадь, встречался с имеющими мало-мальский опыт в этой сфере людьми, накапливал материалы, которые, мнилось, помогут в бизнесе. Он как бесстрашный капитан бороздил штормовые просторы, ощущал себя первопроходцем, осваивающим незнакомые территории.

Что же это за штука такая – аутсорсинг, чем привлекает и чем может оттолкнуть, не оправдав надежд? Говоря по-простому, это передача определенных работ в другие руки, за пределы компаний: главным образом, за рубеж, в те страны и в те фирмы, чьи услуги во много раз дешевле американских, а качество исполнения – не хуже. На аутсорсинг все более смело передаются службы ИТ, а также людские ресурсы, бухгалтерский учет, финансовые и юридические услуги, научно-исследовательские разработки.

Звучит привлекательно, а что на самом деле? В реальности аутсорсинг зачастую не достигает заявленных целей, анализировал Вэл. Прилив сменяется отливом. «Анализ выборки из 50 соглашений последнего времени, относящихся к аутсорсингу, показывает: 38 соглашений общим объемом более 25 млрд долларов привели к разбирательству в судах или их прекращению, – фиксировал Вэл данные одного из опросов. – 74% потерпели неудачу из-за слабой активности провайдера и/или перерасхода средств. Для одной трети соглашений неудовлетворительные результаты стали очевидны уже в течение первого года действия контракта, а для половины – в первые пять лет». Другой опрос показал: ожидаемые преимущества были реализованы лишь частично или не реализованы вообще, в связи с чем 15% опрошенных уже размышляли о возврате к самостоятельному обслуживанию.

Плод бывает не только сладким, но и горьким...

Вэл продолжал делать записи, анализировать добытые сведения. Аутсорсинг приобретал популярность как стратегия экономии расходов в условиях спада деловой активности: дешевле отдать работу на сторону. Стремление сэкономить было главным критерием при выборе компании-провайдера. И одновременно

рождались сомнения. Вэл размышлял сам с собой: поскольку неизвестны расходы компании-провайдера, выявить пути дальнейшего сокращения затрат очень трудно. К тому же контракты на аутсорсинг зачастую объединяются в пакеты с другими услугами, поэтому практически не удается подсчитать затраты в подразделениях или в сложных деловых ситуациях. Кроме того, пакеты чреваты обманом, скрывающим подлинную экономическую сторону соглашений.

В общем, и хочется, и колется – аутсорсинг многое сулит и одновременно порождает серьезные риски. Скажем, во многих случаях провайдеры получают доступ практически ко всем данным банка или финансовой организации. Уменьшить этот риск трудно, если вообще возможно.

Чем глубже влезал он в проблему, тем сильнее было желание *попробовать, испытать на себе*. Если не зарываться, действовать осторожно, с умом, можно хорошо заработать. Хорошо, я хочу заняться аутсорсингом, но куда обратить взор? С кем бы Вэл осторожно не советовался по этому поводу, все указывали на одну страну, расписывали преимущества такого сотрудничества, рисовали золотые горы. Чего в рассказах было больше, огромных реальных выгод или мифов о лежащем под ногами богатстве, было неясно.

Страна эта звалась Индия.

Что Вэл знал о ней? То же что и другие, питаясь не знаниями, а мифами; интернет дополнял отрывочные сведения: «Махабхарата» и «Рамаяна» – величайшие литературные памятники древней цивилизаций, мавзолеев Тадж-Махал и другие шедевры эпохи Великих Моголов, традиции индуизма, законы кармы... А еще наличие каст, брахманов, непонятных сикхов – и жуткая нищета, которую изредка демонстрирует телевидение. При чем здесь аутсорсинг, что эти индусы вообще могут делать, производить? Оказалось, очень многое. Незаметно произошло «индийское чудо» – технологическое. Страну все чаще называют чуть ли не мировым лидером по объему экспорта продукции ИТ-отрасли, она доминирует на глобальном рынке аутсорсинга высоких технологий.

Почему вчерашняя колония, чье беднейшее население помирило от лихорадки, холеры и опиума, сегодня так привлекает развитые страны? Почему валом повалили сюда американские компании

в сфере финансов, хай-тек и телеком-индустрии, – размышлял Вэл и давал себе ответ, изучая новые и новые материалы.

В 1986 г. в Индии была принята новая государственная программа развития и экспорта программного обеспечения, данный сектор ИТ-индустрии стал ключевым направлением. Правительство пошло на либерализацию внешней торговли: импортные пошлины на программное обеспечение были снижены до 60%, а пошлина на ввоз компьютеров и запчастей полностью отменена, индийским компаниям была разрешена торговля импортным программным продуктом. Плюс другие льготы и гарантии.

Индия манит, прежде всего, из-за стоимости рабочей силы. Вэл узнал: веб-разработчик с опытом работы от года до четырех лет получает примерно 11% зарплаты американского специалиста. В среднем годовая зарплата молодого индуса – от пяти до девяти тысяч долларов. Правда, более опытные специалисты и менеджеры ИТ-проектов в дефиците, если удастся найти таковых, их зарплата не столь разительно отличается от нашей. Ну и миллионы работников, неплохо образованных, говорящих по-английски. По соотношению цена-качество рабочей силы Индия – просто идеальный аутсорсер...

Так, с этим понятно. А что на счет других издержек? – спрашивал себя Вэл и находил ответ в добытой информации, в том числе от тех, кто бывал в Индии или работал там. Скажем, расходы на аренду офисов ниже, чем в Штатах, например, в Бангалоре, аналоге Силиконовой долины, квадратный метр офисной площади стоит от 110 долларов в год в центре, и от 60 долларов – на окраинах. Налоги? Да, высокие, и компании-аутсорсеры обычно перекладывают их на зарубежных клиентов. Налог с доходов корпораций – 34%.

И все равно с индусами выгодно иметь дело, делал вывод Вэл. Промедление непозволительно для активного, не боящегося разумного риска бизнесмена... Марк, когда все это узнает, изойдет слюной.

Впрочем, требуется осторожность – не зарываться, не пытаться сразу снять все сливки. Можно подавиться. Телевидение и газеты подробно расписали арест Шредингера из «Золотого Банка». Жадность фраера сгубила. Наверняка кто-то из завистников заложил. Роскошная вилла, подаренная ему индусами, фигурирует в числе

главных обвинений. ФБР рассматривает как огромную взятку – так в «Нью-Йорк таймс» написано. Погорел парень. А сколько еще погорит, польстившись на лакомый индийский кусок...

Продолжение – в следующем номере

Леон Михлин – москвич. Закончил МГУ, по специальности геофизик. Не успел защитить кандидатскую диссертацию в связи с эмиграцией в США. В Нью-Йорке сменил род занятий, включая компьютерный бизнес, занялся строительством, став девелопером.

Леон Михлин в юности писал стихи. В последнее время вновь взялся за перо, перейдя на прозу. Рассказ «Дом на канале» («Времена» №2/2017) – его литературный дебют.

Напомним, что Леон Михлин – издатель журнала «Времена».

Евгений КИСИН

ВОЛШЕБНЫЙ КРУГ



Перед вами – новелла, принадлежащая перу Евгения Кисина, первое его произведение, публикуемое на русском языке в переводе с идиша. Пианист, которого по праву считают гениальным исполнителем, выносит на суд читателей свою прозу. Новелла – необычна, неожиданна по сюжету, открывает музыканта с иной, незнакомой стороны.

Редакция весьма признательна Евгению за предоставленное нам право первыми опубликовать его текст.

Давид Гай, редактор

Явление пианиста Евгения Кисина в еврейской литературе не каприз гения. В той стране, где он родился и рос, не каждый еврей, будучи равным братом в семье народов, гордился своими еврейством.

Возможно, что свою национальную “иначность” Кисин почувствовал раньше, чем свою музыкальную избранность. Летом на даче у бабушки с бабушкой он слышит их разговоры на странном, непонятном языке. В домашней библиотеке юноша находит книги некоего Шолом-Алейхема. Он их читает на русском, но интонация текста звучит совсем другая, похожая на то, что он слышал на даче.

Скорее всего, музыка идиша привела Кисина к познанию этого языка. Камертоном в изучении идиша стало, прежде всего, поэтическое слово. Задолго до того, как Кисин стал писать стихи на идише, он уже знал и декламировал в оригинале десятки стихов еврейских поэтов.

В 2010 году я предложил Жене записать в студии газеты “Форвертс” подборку стихов, по его выбору. Диск вышел под названием “На клавишах еврейской поэзии” (36 стих.). Он действительно “выигрывал” голосом то, что на сцене творил за роялем пальцами. Через год мы записали “На клавишах еврейской поэзии – 2” (17 стих.). К 100 летию со дня смерти И.-Л. Переца Женья издал свой третий диск – с поэтическими произведениями еврейского классика.

Национальное восприятие себя самого у Кисина началось рано. Об этом его первые публикации в “Форвертсе” в 2014 году “Бобэлошн” (Язык бабушки); “Шолем-Алейхем аф русии” (Шолом-Алейхем на русском); “Идише вертэр” (Слова на идише); “Идиш”.

Его проникновение в глубины языка и писательского мастерства потрясают.

Проза Кисина иронична. Его герои молоды и по-весеннему влюблены. В еврейской литературе много печали. Кисин принес ей свою светящуюся улыбку. Свою миссию в нашем мире Кисин лаконично и четко сформулировал в стихотворении “Ани маймен” (Я верую): “Если я буду таким как другой, кто же будет таким как я?”

Борис Сандлер

А ЗА ОКНОМ ШЕЛ СНЕГ

1

Сигаретный дым смешивался с ароматом индийских палочек. Пепельницы в доме не было, и от каждого легкого движения ее пальца пепел сигареты падал прямо на пол. Раз за разом она медленно и глубоко затягивалась, наполняя умиротворяющей отравой все тело. Чего там – то, что произошло, уже произошло... нужно расслабиться и успокоиться. В голове крутились три мысли: «Саша, любимый мой...», «Скорее достать деньги!» и «Вот я и стала, стала шлюхой... Дожили...»

«А менч трахт, ун гот лахт» – «Человек предполагает, а Бог смеется». Так говаривала когда-то ее мудрая бабушка Хана. Бабушкины слова уже тогда звучали для нее убедительно, хотя ребенком она, разумеется, не могла осознать, что они, эти слова, означают. За последние несколько дней она ощутила смысл бабушкиной поговорки всем своим существом, от кончиков пальцев до самых потаенных уголков души. Когда-то, еще совсем юной и только начинавшей открывать для себя мир чувственных наслаждений, она порой фантазировала о том, чтобы брать деньги за любовь. Вот приходит к ней, скажем, симпатичный мужчина, который ей нравится, и предлагает провести время вместе, а она ему отвечает игриво: «Если заплатишь!» Сейчас, однако, выбирать симпатичных клиентов не приходится.

Она еще раз взглянула на часы: через семь минут он должен прийти. В последний раз затянувшись дымом, она прижала сигарету к правому колену, уже покрытому темно-красными пятнами, такими же, как и на руках, – следами от потушенных окурков. Надеялась хотя бы приглушить внутреннюю боль; они, эти пятна, все равно не оттолкнут клиентов. Она поднялась с кресла, подошла к кровати и бросила окурков в мусорную корзину. Затем выдвинула ящик прикроватной тумбочки, достала тюбик геля, выдавила немного на ладонь и, раздвинув ноги, принялась натираться. «Стала, стала проституткой... Ах, Сашенька, бедный, что там с тобой делают?!»

Отговаривать Сашу от участия в митинге протеста она, честно говоря, даже не хотела: за это она его и любила – за честность и смелость, за неспособность сидеть сложа руки, когда вокруг творит-

ся несправедливость. После его ареста она не находила себе места. Побывала у всех начальников, и самый старший из них, толстяк в милицейской форме, кратко и прямо, даже не цинично, а буднично и просто сказал: «Пять тысяч баксов – и он свободен...» О такой сумме она, преподавательница иностранных языков, и мечтать не могла, нуворишей среди ее друзей тоже не было... Оставался лишь один способ собрать деньги, на нем и пришлось остановиться...

Она закурила еще одну сигарету, вновь уселась в кресло и нащупала газовый баллончик в правом кармане халатика. Баллончик придавал ей уверенности – какое ни есть, а все-таки средство самозащиты... Ну, еще одна глубокая затяжка... Клиент вот-вот должен прийти...

После Сашиного ареста и особенно в последние дни шестое чувство у нее обострилось. Теперь оно подсказывало: этот клиент – не такой, как предыдущие. Что-то необычное было в том, как он говорил с ней по телефону. Она сразу почувствовала это, хотя общались они всего минуту. Почему – она сама не знала. Учтивость? Нет, немецкий бизнесмен, который провел у нее прошлую ночь, тоже был весьма учтив. Даже самый первый клиент не разговаривал грубо, когда позвонил, чтобы договориться о встрече. Может быть, интеллигентность? Нет, не только это, еще что-то особенное...

Звонок в дверь разорвал тишину полутемной комнаты, наполненной терпкой смесью табачного дыма и индийских благовоний. Она резко вскочила с кресла, выбросила окурков в мусорное ведро и, уже очутившись возле входной двери, на всякий случай заглянула в глазок...

2

Расставание с Изабеллой было для него болезненным, хотя особой радости их отношения ему уже не приносили. Ее патологическая ревность ко всем и всему и постоянные скандалы стали невыносимы. Он позвонил Маше, своей первой любви, они прогулялись по парку теплым августовским вечером, и он рассказал ей обо всем. Несколько раз они поцеловались... однако на большее Маша пойти не захотела. Не имел он успеха и с Линой – она любила своего бойфренда, и к тому же на самом деле ему больше нравилась ее мать, из-

вестная актриса, с которой он работал и дружил уже несколько лет. И вот пришла зима, а никакой другой женщины так и не встретилось. Тело его томилось. Хорошо еще, что работы было с избытком и денег хватало. В конце концов он уступил зову плоти и решился попробовать то, что раньше считал чем-то низким, по крайней мере ниже своего достоинства. Нет, не из-за презрения к проституткам, а просто рассуждая: неужели я такой урод, что не могу иметь красивых женщин бесплатно? И вот...

На соответствующем сайте он в первую очередь начал сравнивать возраст девушек, руководствуясь соображением: если уж идти к проститутке, так к опытной (мысль, что старшая по возрасту может быть новичком в профессии, ему в голову не приходила). Старшая из всех оказалась его ровесницей – тридцать девять лет, что несколько разочаровывало. Ее лицо на фотографиях было размыто, но сопроводительный текст (да к тому же на трех языках – русском, английском и немецком!) совершенно покорило его беспроигрышным набором: «Богиня любви ждет тебя! О, как я люблю постельные игры! Могу быть милой кошечкой и страстной тигрицей, рафинированной гетерой и грязной, развратной, похотливой путаной — всё, что ты пожелаешь! Приходи скорее, мой сладкий, – и мы окунемся в океан телесных наслаждений, распутства и порока... Ах, как это здорово!»

После такого шедеврального текста сомнений не оставалось: он пойдет именно к ней, к «богине любви». Один час, два часа, ночь... Ну, возьмем для начала один час. Он набрал ее номер. Выяснилось, что как раз сегодня вечером она свободна... Ровно в восемь он уже стоял у ее двери в полутемном коридоре, стараясь сдержать дыхание. Заранее стянул с себя перчатки и засунул их в карманы дубленки, снял меховую шапку, уже слегка запорошенную снегом, затем расстегнул две верхние пуговицы дубленки, нащупал во внутреннем кармане конверт с деньгами и только после этого нажал кнопку звонка.

3

Увидев в глазок его лицо, она подумала: «Артист, человек искусства...» – кудрявые волосы, задумчивый взгляд. Она отодвинула металлическую задвижку, распахнула дверь и, выдавив из себя

улыбку, произнесла: «Ну, заходите». Он вытер ноги о лежавшую на полу тряпку и переступил порог ее квартиры...

– Подарочек не забыли принести? – деланно подмигнула она.

– Нет-нет, конечно... – он засмутился еще больше, вытащил из-за пазухи конверт и протянул ей.

– Ну и прекрасно! – ответила она, улыбаясь, и опустила конверт в левый карман халатика. – Раздевайтесь, давайте я вам помогу.

Он ощутил терпкий запах, словно донесшийся из далекого детства (его мама любила зажигать индийские пахучие палочки), и разглядел лицо женщины: большие карие глаза, крупный нос... «Еврейка? – подумал он. – Или, может быть, с Кавказа?» Забрав у него шапку и дубленку, она повесила их на вешалку возле входа. В этот момент он заметил, что на ногах у нее черные туфли на высоких каблуках.

– Ну, проходите! – она вдруг как будто заторопилась, взяла его за руку и повела в комнату. Не дойдя до кровати, он остановился и сказал:

– Послушайте! – она тоже остановилась и посмотрела ему в глаза. – Послушайте... Понимаете... Так получилось, что... Мне сейчас очень нужна женская ласка... Но я не хочу делать ничего, что было бы вам неприятно!.. И...

«Действительно не такой, как другие!» – подумала она и сказала:

– Какой вы хороший! Конечно, я вас приласкаю! Пойдемте!

Она сильнее сжала его руку, обняла, подвела к постели. На душе у него стало легче.

Возле кровати она кивком головы предложила ему сесть, сама села рядом и, все еще улыбаясь, сказала:

– Раздевайтесь, так будет легче. Я тоже разденусь...

Она встала, сняла халатик и движением стриптизерши бросила его на кровать. Он увидел ее маленькие упругие груди, темный треугольник...

Она помогла ему стянуть свитер и брюки, снять рубашку, и все время шептала, словно повторяя заученное:

– Я вас приласкаю, приласкаю... Вам будет хорошо... И мне тоже будет хорошо... Хорошего человека приласкать всегда приятно...

– Спасибо, – он снова засмутился.

Повесив всю их одежду на стул, она снова села рядом.

– Говорят, что англичане занимаются сексом в носках, – улыбнулась она, – но вы ведь не англичанин, правда?

Бросив носки на его кожаные полуботинки, она тихо, низким голосом произнесла:

– Ну, идите ко мне...

Улегшись возле него, она погладила ему спину. Он обнял ее и, закрыв глаза, услышал собственное дыхание...

– Хотите, я сделаю вам массаж?

– Да... спасибо... – ответил он.

Он перевернулся на живот, а она, стоя на коленях, сжала ими его ноги и принялась массировать ему спину...

Возвращаясь домой, он быстро шагал по холодным, заснеженным минским улицам. Позже, уже лежа в постели, вспоминал весь ее облик, манеру говорить, и думал: она совсем не та, кем пытается себя представить; вероятно, из интеллигентных кругов... Посреди ночи она тоже внезапно ощутила симпатию к незнакомому человеку, своему клиенту. Даже подумала: продавая свое тело, можно немало узнать о людях...

4

Прошло несколько дней, к ней приходили новые клиенты, но до необходимой суммы было по-прежнему далеко. Ему же после первого опыта захотелось «попробовать» разных девушек с того сайта, но уже вторая его полностью разочаровала, и пару дней спустя, в канун Нового года, он решил снова отправиться к «богине» и провести с ней целую ночь.

Посреди ночи, когда она вышла в туалет, он стал рассматривать корешки на книжных полках, как делал в каждом доме, куда приходил. Булгаков, Пастернак, Набоков, Маркес... И латинскими буквами: Shakespeare, Dickens, Hemingway, Goethe, Remarque... Тома Шолом-Алейхема подтвердили его мысль, что она, наверное, еврейка. После он, по своему обыкновению, принялся напевать шуточные строчки – и увидел, что ей это нравится. А когда пропел, медленно и мечтательно: «Я одинокий, несчастный еврей... О, приласкайте меня поскорей!» – она засмеялась в голос, и оба почувствовали себя ближе друг другу...

Прощаясь, он тихо сказал:

– С наступающим вас... – и снова засунул руку во внутренний карман дубленки. – Не знаю, дают ли у вас чаевые, но... – он достал и протянул ей еще сто долларов.

– Какой вы милый! – сказала она, принимая деньги. – Приходите еще!

Он ушел, а она подумала: «Еще шестьсот – уже больше половины всей суммы! Ах, Сашенька мой, только бы ты продержался...»

5

Прошло еще несколько недель, пока не набралось необходимых пяти тысяч долларов, и все это время она не раз вспоминала его, ощущая нечто большее, чем простая человеческая симпатия. После каждого своего клиента она думала не только о Саше и о том, сколько денег еще недостает, но и о нем, необычном посетителе с красивой копной волос и нездешним выражением лица. Он всегда был тактичен, предупредителен, обходился с ней не как с проституткой, а как с королевой... В такие мгновения она испытывала угрызения совести, чувствуя, что словно бы изменяет Саше, который сейчас на тюремных нарах.

Между тем начальник свое слово сдержал, Сашу выпустили. Жизнь пошла своим чередом, и она надеялась как можно быстрее и навсегда забыть обо всем, что случилось. Со временем она перестала вспоминать о нем. Он тоже, получив в начале года несколько новых заказов, сосредоточился на работе. Иногда все-таки вспоминал о ней, но уже совсем по-другому, и даже думал: «Почему бы не встретиться с ней просто так? Кто знает, может, из этого что-то выйдет? А если даже и нет, она ведь интеллигентный человек... Да и еврейка к тому же...»

Ее телефонный номер остался в его мобильнике.

– Алло.

– Здравствуйте. Вы меня помните? Я у вас был два раза в конце декабря...

Голос его она, конечно же, сразу узнала. Подумала: «Ну вот...» Кажется, совсем забыла о нем, но ничего подобного: никуда он из ее жизни не уходил.

– Да, я хорошо вас помню, но я больше не работаю. Если заглянете на тот сайт, то увидите, что меня там уже нет...

– Правда?! – обрадовался он. – Так это же еще лучше! Я, собственно, хотел предложить вам просто встретиться, поговорить...

«О Боже!» – подумала она и вспомнила, как бабушка Хана говорила: «*А найе майсэ: ди кац из гекумен*» — «Новое дело: кошка заявилась».

– Послушайте, – она старалась говорить как можно спокойнее и вежливее, – вы очень симпатичный человек, но я не свободна, поэтому давайте забудем обо всем. От всей души желаю вам всего самого лучшего...

– Подождите! – почти закричал он. – Умоляю вас, не вешайте трубку! Я совершенно не собираюсь ухаживать за вами, клянусь! Мне просто кажется, что нам с вами есть о чем поговорить – как друзьям, не более! Или... я вам неприятен?

«Нет, нельзя обижать хорошего человека», – подумала она,

– Дорогой мой, вы очень хороший, вы мне совсем не неприятны. Но я действительно не свободна и у меня правда нет времени. Хотя... – она на секунду прервалась и вздохнула, – если обещаете, что это будет просто дружеская встреча, я согласна. На час, не больше.

– Спасибо огромное! – радостно откликнулся он. – Конечно, обещаю, не сомневайтесь! Когда вы свободны?

Она задумалась.

– Ну, завтра после четырех я свободна.

– Прекрасно! Давайте в «Гранд кафе» в полпятого!

В «Гранд кафе» она была лишь раз в жизни – на какой-то вечеринке в большой компании.

– Хорошо, спасибо.

– Договорились! Жду с нетерпением! До завтра!

– До свидания.

«Если не сдержит слова, пошлю его ко всем чертям!» – подумала она.

А ему не хотелось потерять ее, даже как друга. На душе у него было так одиноко...

В половине пятого в кафе было еще почти пусто, и поэтому тихо. Она заказала кофе, он – чай, и оба они – по чизкейку.

– Ну, так как же вас зовут? – спросила она с полуулыбкой. Он вздохнул и ответил:

– Веня.

– Веня... – повторила она, – хороший еврейский мальчик...

И, чтобы все стало ясно, прибавила:

– Я – наполовину еврейка, наполовину армянка, а зовут меня Марина. Приятно познакомиться! – весело сказала она и протянула ему руку. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза, держась за руки, а затем вместе рассмеялись.

– И чем вы занимаетесь, Веня? Если не секрет, конечно.

– Я композитор. Пишу музыку.

Да, что-то такое она и представляла себе с самого начала.

– И какую музыку вы пишете?

– Для кино, для театра, для разных ансамблей... Еще аранжировки делаю.

Веня приготовился было объяснить, что такое аранжировки, но вопросов об этом не последовало.

– А я филолог. Преподаю английский и немецкий, – сказала Марина, вздохнув и улыбнувшись.

«Теперь все ясно», – Веня вспомнил книги в ее комнате.

Возникла неловкая пауза.

– Я тогда... работала, – Марина подчеркнула последнее слово, не находя другого, – всего пару недель. Случилось несчастье, и мне нужно было очень быстро достать деньги. Банки грабить я не умею... – усмехнулась она.

– Кто-то из близких заболел? – спросил Веня.

– Да, – кивнула Марина.

– А теперь все в порядке?

– Да-да, спасибо.

Веня взглянул ей в глаза и тихо сказал:

– Простите меня... Я не знал, что вы в таком положении...

– Бог с вами, Веня! – Марина притронулась к его руке. – Конечно же, вы не знали. И вы были очень милы. Всё в порядке. Всё хорошо...

– Спасибо...

Она почувствовала, что нужно сменить тему, и перевела разговор на него, принялась расспрашивать, над чем он сейчас работает и где можно услышать его музыку.

Час, который она пообещала ему, превратился в два с лишним. Они говорили обо всем: родителях, детстве, о том, почему не уехали... После Вениного рассказа о своей жизни Марина спросила:

– Скажите, Веня... Вы такой симпатичный человек – и до сих пор не встретили женщину, которая пришлась бы вам по душе?

– Ну почему... У меня были женщины... И немало...

– Но ни одной, с которой вам хотелось бы прожить вместе всю жизнь? Или вам это вообще не нужно?

– Да нет, я как раз очень хотел бы этого, но пока не получилось...

– Знаете что? Я вас познакомлю с одной своей хорошей подругой...

Кафе постепенно заполнялось людьми, а за его окнами шел тихий, чистый снег, как обычно в Минске в эту пору.

ВЕСЕННИЕ БУРИ

1

Внезапный звонок Маринино мобильного пронзил сладостную, счастливую тишину. Все еще лежа на Сашиной груди, Марина протянула правую руку к прикроватной тумбочке. Высветившийся на экране номер она не узнала.

– Алло.

– Привет! – послышался веселый нетрезвый голос. – Можно к тебе сейчас на часик завалиться?

Ужас охватил ее душу, а дрожь – все тело.

– Вы не туда попали, – она быстро нажала на кнопку отбоя и положила телефон обратно на тумбочку.

«Только этого мне и не хватало! – подумала она, охваченная паникой. – И кто знает, что будет дальше? Что же делать? Может, номер сменить?»

Саша заметил, что Маринино тело покрылось «гусиной кожей», и спросил:

– Что случилось?

– Ничего, Сашенька, – отозвалась Марина, стараясь не выдать себя. «Слава Богу, он ничего не слышал», – подумала она.

– Ты замерзла?

Снова раздался звонок. Марина заколебалась, стоит ли отвечать, но Саша спросил:

— Кто это?

Марина взяла мобильник: тот же номер.

– Я же вам сказала: вы не туда попали. Прекратите звонить так поздно! Что за безобразие! – произнесла Марина в трубку строгим голосом.

– Похоже, какой-то пьяный, – сказала она Саше, положив телефон на тумбочку.

Они вновь прижались друг к другу и пролежали так несколько мгновений, пока снова не послышался упрямый звонок.

– О боже... – тихо простонала Марина. Саша взял мобильник и протянул Марине.

– Тот же номер...

— Наверное, действительно какой-то пьяный... Ну и черт с ним! – он возвратил телефон на прежнее место.

2

Саша уже тихо похрапывал, но Марина не могла заснуть, мучаясь от беспокойных мыслей. Прошло пару месяцев, как Сашу освободили, и вот – на тебе...

Если сменить номер, то как объяснить это Саше? А если нет – кто знает, у скольких еще бывших клиентов он сохранился и кто еще может позвонить, когда Саша рядом? А сейчас ведь весна, у мужчин кровь играет... В тяжелых раздумьях она лежала в темноте с открытыми глазами...

Вдруг позвонили в дверь.

У нее ёкнуло сердце. Саша сразу проснулся. Увидев Марино перепуганное лицо, спросил:

– Кто это?!

Марина не знала, что ответить, и продолжала с ужасом смотреть на Сашу. Молнией в его сознании сверкнула мысль: «Кто-то сначала по телефону позвонил, а теперь пришел...» Раздались еще

два длинных звонка в дверь. Саша вскочил с кровати и, голым выскочив в коридор, услышал пьяный мужской голос:

– Открой, киска! Открой, я заплачу!

Саша заглянул в глазок и увидел жирного, совершенно пьяного человека.

– Вы кто? Что вам нужно? – закричал Саша.

– А, там уже кто-то есть! – донеслось из-за двери. – Ну, так давай вместе ее отдерем! Откройте, ребята!

«Все пропало...» – вынесла себе приговор Марина, – «уж лучше подойти к двери самой». Они с Сашей уставились друг на друга, не зная, что сказать.

– Откро-о-ойте! – ревел и стучал человек за дверью.

– Сумасшедший... – безнадежно произнесла Марина. В этот момент они услышали, что из квартиры напротив на лестницу высунулся их сосед, здоровый мужик средних лет:

– Ты чего, б...., орешь, спать людям не даешь?! А ну, у...вай отсюда!

Раздался шум, потом удаляющиеся шаги. Дверь соседской квартиры захлопнулась, и стало тихо.

– Марина, что это было? – спросил Саша, глядя в глаза своей возлюбленной.

«Нужно рассказать всю правду... Выхода нет...» – подумала Марина и сказала:

– Ну, Сашенька... – она вздохнула, – ну, ты как думаешь – почему тебя выпустили?

3

Выслушав Маринину историю, Саша прижал ее к себе: «Бедная моя девочка... Кошмар какой... Ты лучше всех на свете...» – шептал он и в то же время чувствовал, что ему больше не хочется целовать ее в губы.

Он думал, что это пройдет, но время шло и ничего не менялось: влечение к Марине у него исчезло. Умом он понимал, что это неправильно, несправедливо, даже неблагоприятно с его стороны. Но чувства были неподвластны. Порой он проклинал сам себя: «Что ты за свинья?! Ведь она это ради тебя сделала, чтобы ты спал вместе с

ней в собственной постели, а не рядом с урками! А ей легко было ложиться со всяким сбродом?!» И все же всякий раз в минуты близости с Мариной перед глазами вставала отвратительная физиономия того детины за дверью... Саша представлял себе Марину с ним, и в горле застревал противный комок — не проглотить...

Разумеется, Марина почувствовала это и спросила:

– Я стала тебе неприятна?

– Нет, Мариночка... – ответил он, глядя куда-то в сторону, – просто мне сейчас тяжело... Это пройдет, нужно всё переварить.

Однако не переваривалось. Марина всё понимала, но не могла преодолеть обиду. Оба впали в отчаяние...

Однажды придя домой из института, Марина обнаружила на столике в спальне записку: «Мариночка, ты лучше всех на свете, но я недостоин тебя. Прости, если сможешь. С.».

Несколько секунд Марина стояла, уставившись в пустоту... Внезапно ей пришла в голову мысль: «А может, выйти сейчас на улицу и отдаться кому попало, ко всем чертям?!» Снова захотелось закурить, как тогда, в те зимние дни, но сигарет в доме не было... В конце концов она бросилась на кровать и, вцепившись зубами в подушку, разрыдалась.

Так она прорыдала целый день: «Свинья неблагодарная... Все они неблагодарные свиньи...» Внезапно ее словно кольнуло, и, вскочив, она выкрикнула вслух: «А вот Веня не такой!»

Несколько недель Марина пребывала словно в прострации, заставляя себя делать все, что нужно, но в мыслях повторяя одни и те же слова: «Все они... А Веня не такой!» – и перед ее внутренним взором всё стоял тот тихий, кудрявый композитор...

НА ВОЛЬНОМ ВОЗДУХЕ

Наташа, Маринина подруга, Вене понравилась. Блондинка с ямочками на щеках и хорошей фигурой, интеллигентная и образованная, с чувством юмора. К тому же – историк, а история Веню интересовала, так что им было о чем поговорить. Кроме того, у нее имелись еврейские корни – еврейская бабушка со стороны отца.

Веня ей тоже понравился – совсем не такой, как другие мужчи-

ны. Немного рассеянный, очень обходительный и явно порядочный человек. Она (как и Марина) знала некоторые из написанных им песен, видела фильмы с его музыкой, но до знакомства не знала, как он выглядит: Веня, будучи по природе застенчивым, всегда старался держаться в тени, поэтому его фотографий нигде не публиковали.

Марина придумала «легенду», чтобы представить Веню Наташе: он, Веня, желая встретить интеллигентную женщину, прогуливался возле института. Увидев Марину, подошел к ней и спросил, можно ли с ней познакомиться. Взглянув на него, Марина сразу вспомнила о своей подруге Наташе с её нынешними проблемами в личной жизни. Когда Марина попросила Веню держаться такой «легенды», он почувствовал себя дураком: это действительно был бы неплохой, а может даже и очень хороший способ повстречать близкую по духу женщину...

Довольно быстро Веня и Наташа стали близки. Несколькими месяцами ранее Наташа ушла от мужа и вместе с девятилетним ребенком переехала к маме; из-за этого ей приходилось много работать: кроме преподавания в институте, она стала водить экскурсии для туристов. Встречаться с Веней каждый день у нее не получалось, но все-таки их свидания проходили более или менее регулярно, и физически для него это было важно.

Поначалу все шло хорошо. Наташа умела быть и «милой кошечкой», и «страстной тигрицей», Вене это нравилось. Иногда он удивлял Наташу своим поведением — напоминал ей избалованного ребенка, для которого части ее тела были как любимые игрушки. Вообще в его характере было что-то ребяческое, но симпатичное. Она объясняла это тем, что он все-таки человек искусства. С другой стороны, Веня постоянно старался доставить ей удовольствие и оказался хорошим любовником — нежным, внимательным и куда более «творческим», чем все ее прежние мужчины. Она даже немного влюбилась в него.

На второй неделе мая, как только потеплело, Веня уговорил Наташу заняться любовью на свежем воздухе: сначала на крыше девятиэтажки, в которой он жил, потом в парке. Для Вени телесные наслаждения были разрядкой; в них, как и в работе, он проявлял немало фантазии.

Во время второго свидания в парке он настолько возбудился,

что по своему обыкновению принялся весело напевать, импровизируя на ходу: «О, как сладко с Наташенькой в парке...» Внезапно перед ними вырос неизвестно откуда взявшийся милиционер и со словами: «А ну-ка, ребятки, в отделение!» — схватил Веню за воротник. Веня сразу нащупал в кармане полуспущенных штанов несколько банкнот и сунул их стражу порядка. Спрятав деньги, тот лениво произнес: «Вон отсюда, и больше чтоб я вас тут не видел!»

После этого случая Наташа категорически отказалась продолжать подобные эксперименты, хотя Веня готов был испробовать каждый парк города, если не каждый куст в каждом парке. Она даже не обижалась на него, относясь к подобным сексуальным капризам как к детским играм.

Однажды в субботу Веня позвал Наташу за город, чтобы предаться любви на лоне природы. Прогноз погоды дождя не обещал. Наташа сказала сыну, что должна водить экскурсии до позднего вечера, и отправилась на вокзал, где ее уже ждал Веня с огромным рюкзаком.

В поле все прошло хорошо, хотя слишком уж удобно там не было. Но в лесу в самый разгар страстных объятий неподалеку раздались голоса — мимо проходила пожилая пара с двумя детьми; видимо, собирали грибы. К счастью, Наташа в платье была сверху. Она прижалась к Вене, пытаясь прикрыть, хотя бы частично, его голые бедра. Приблизившись к ним, женщина закричала: «Безобразие! Расстреливать таких бесстыдников надо!» Наташа с Веней не двигались, и, когда грибники удалились, разочарованный Веня изрёк: «Ну, ладно, лучше уйдем отсюда». Натягивая на себя брюки, он пробормотал: «Что со страной стало? Даже в лесу покоя не дают...» Наташа улыбнулась и, придвинув рюкзак, спросила: «Может, лучше поедим?»

Перекусив, Веня предложил Наташе попытать счастья на берегу реки. Они направились к реке, нашли тихое место под большим кустом и расстелили плед. После длительных ласк под мягким солнцем страсти разыгрались. На Веню вновь напало вдохновение, и он запел: «И хлынула сперма, как Неман ...» В это время с другой стороны куста раздалось: «Чего разорался?! Всю рыбу распугаешь!» Остолбнев, Веня промолвил: «Простите, мы вас не заметили...» — «Пошёл вон!» — не унимался тот же голос. В подтверждение слов из-

за куста вылетел камень и едва не попал Наташе в голову. Быстро собрав вещи, они пустились прочь.

По дороге на железнодорожную станцию Веня молчал. Он плёлся, опустив голову, и выглядел как ребенок, у которого отобрали конфетку. В какой-то момент он остановился, и в его глазах вспыхнул огонек гениальной идеи. «Ната-а-аша... – его мысль оформилась в слова, – может быть, пустой вагон найдём и там – всем врагам назло! А?» Наташа смотрела на своего друга и не знала, смеяться ей или плакать. Такого любовника, как Веня, встречать ей еще не приходилось...

Проблема, однако, состояла в том, что Наташа хотела как можно быстрее устроить свою личную жизнь. Она полюбила Веню и готова была связать с ним свою судьбу, даже невзирая на его странности. Но вот Веня влюбиться в нее по-настоящему не мог. Всех её достоинств ему было недостаточно. Творческая натура, он нуждался в музе. На эту роль Наташа не годилась. Когда он задумывался об этом, то сразу вспоминал Марину: вот она именно такая... какая ему нужна. Все эти мысли и чувства не могли не привести Веню с Наташей к болезненному разрыву в конце лета...

И КРУГ ЗАМКНУЛСЯ...

1

Наташа сразу позвонила Марине и рассказала ей всё. Они встретились и долго говорили. А несколько дней спустя Марина получила эсэмэску:

Дорогая Марина!

К сожалению, у нас с Наташей ничего не получилось, но большое вам спасибо за желание помочь. Надеюсь, что вы и ваши родные здоровы и у вас все хорошо.

*Всего вам доброго,
ваш Веня*

В течение семи месяцев, предшествовавших этому письму, Марина с Веней не встречались. Он лишь присылал ей короткие поздравления – с 8 марта, еврейской Пасхой и Днем Победы. После

Сашиного ухода она не раз вспоминала Веню... Со временем боль и обида в ней немного утихли, и постепенно она стала понимать Сашу, осознавать, что даже в любви к ней он сохранял чувство гордости, а потому, вероятно, ему было бы легче маяться в тюрьме, чем принять ту цену, которую она заплатила за его освобождение. И все-таки она не переставала думать о том, что Веня в подобной ситуации отреагировал бы иначе, что у него нашлось бы больше понимания, сострадания и даже благодарности за то, что она ради него сделала.

То, что она почувствовала после их зимних встреч, снова ожило в ее душе, усилилось, обрело какую-то определенность...

Перечитав Венино письмо, Марина поначалу растерялась. Если у нее с Веней что-то произойдет, Наташа будет уверена, что это она, Марина, увела у нее Веню, и она навсегда потеряет лучшую подругу. И всё же после недолгих сомнений Марина решила, что такой шанс выпадает лишь раз в жизни, а потому – будь что будет!

Она вновь перечитала Венино послание и нажала кнопку на своем телефоне. Увидев ее номер, высветившийся на экране, Веня почувствовал, что его сердце вот-вот выпрыгнет из груди.

– Алло...

– Здравствуйте, Веня, это Марина.

– Да-да, я вас узнал...

– Спасибо за ваше письмо. Ну, бывает, конечно... Что подделаешь..

На душе у Вени стало немного спокойнее.

– Скажите, Веня, – продолжала Марина, – может быть, мы могли бы как-нибудь встретиться...

Венино сердце вновь застучало быстро и гулко, как несколько секунд назад.

– Да, конечно... Конечно, Марина, с радостью...

– Завтра вечером вы свободны?

«Может быть, тут какой-то подвох?» – Веня не мог поверить собственному счастью.

– Да, свободен.

– Отлично! Приходите ко мне.

– Спасибо большое. В котором часу?

– Ну, скажем, в полвосьмого...

– Спасибо, Марина. Обязательно приду.

«Если это не злая шутка, – подумал Веня, – то... Только бы дожить до завтра...»

2

Маринину квартиру Веня не узнал. Хотя на улице еще было достаточно светло, все комнаты заливал желтый электрический свет.

– Ну, заходите, – сказала Марина.

После этих слов оба они смутились, вспомнив, что точно так же она приветствовала его, когда он пришел сюда впервые. Но сейчас интонация ее была другой, да и выглядела она совсем по-иному.

– Значит, – начала Марина, когда они сели к столу, – Наташа не тот тип женщины, который вы могли бы полюбить?

– К сожалению... – кивнул Веня и прибавил: – То есть, не знаю, к сожалению это или к счастью, но нет, не тот... – и он взглянул в глаза Марине, словно пытаясь угадать, как она отнесется к его словам.

А Марина явно обрадовалась, и он почувствовал это по тому, что она сказала дальше:

– Да, так случается... Но нужно быть осторожным – ведь женщина всегда надеется, и вдруг выясняется, что...

– Конечно! – воскликнул Веня. – Конечно, вы правы, Марина! Я очень старался не обидеть ее... И я всегда был с ней честен, клянусь...

– Не сомневаюсь, Веня, – ответила Марина. – Я знаю, что вы честный человек. Ну, попробуйте этот салат.

Они заговорили на другие темы, и оба ощущали, что сближают их не столько слова, сколько чувства за ними. В конце концов Веня поднял бокал и, глядя прямо в глаза Марине, произнес:

– Марина... А за любовь мы можем выпить?

– За любовь... Да, конечно... Что может быть прекраснее любви? – и, подождав несколько секунд, она предложила: – Веня? А не хотите выпить на брудершафт?

У Вени перехватило дыхание. Они поднялись, переплели над столом руки с наполненными бокалами, отпили по глотку и потянулись друг к другу губами...

Несколько мгновений оба молчали.

– Значит, – начал Веня, – на самом деле у тебя никого не было?

– Был! – ответила Марина. – Я не врала тебе, Веня. Никогда. Был, был тогда другой. Но... – она вздохнула. – Сейчас его уже нет... И никого нет, кроме тебя...

– И у меня никого нет, кроме тебя... – отозвался Веня. – Нет – и не будет...

Он встал из-за стола и обнял ее.

– Прости меня, Марина... – тихо сказал Веня.

– За что? – удивилась Марина.

– За то... тогда, зимой...

– Веня, забудь, прошу тебя! Забудь об этом навсегда, слышишь?!

– Марина почти кричала, и голос ее дрожал.

– Хорошо, хорошо, Мариночка...

Утром Веня проснулся рано. Он огляделся и увидел на тумбочке возле кровати раскрытую книгу с нотными строчками посреди печатного текста. Тихо, чтобы не разбудить Марину, он выбрался из постели, взял книгу в руки и сразу же ее узнал – «Проблемы преподавания фортепианной техники» известного минского педагога Якова Либмана.

– Ты знаешь эту книгу? – послышался Маринин голос.

Она обняла его и положила голову ему на плечо.

– А откуда эта книга у тебя? – спросил Веня.

– Яков Либман был моим отцом...

– Либман был твоим отцом?! — едва не закричал Веня.

Что ее папа преподавал фортепиано, Марина рассказала ему еще во время их встречи в «Гранд кафе», но имени отца тогда не назвала. Теперь Веня был поражён...

Сам он не помнил, но мама рассказывала: когда в шестилетнем возрасте у него начали проявляться музыкальные способности, кто-то посоветовал ей показать Веню знаменитому профессору Либману. Тот сказал, что детям не преподает, но ребенка прослушал. А затем посоветовал Вениной маме отвести сына к учительнице фортепиано, у которой Веня впоследствии действительно проучился в музыкальной школе десять лет. Более того, профессор Либман лично позвонил и замолвил слово о талантливом мальчике.

Закончив свой рассказ, Веня мечтательно прибавил:

– Представь, Марина, согласишься тогда твой папа заниматься со мной, мы с тобой наверняка встретились бы намного раньше...

Потрясённая Марина отозвалась:

– Может быть... А ты ведь в ССМШ учился?

– Да, – подтвердил Веня.

– Действительно намного раньше бы встретились... если бы не папа...

Пришел Маринин черёд рассказать историю из своего детства. Когда она окончила музыкальную семилетку, родители задумались о том, чтобы перевести ее в ССМШ при консерватории, но в конце концов отец рассудил иначе. «Быть концертирующим пианистом – тяжёлый труд, особенно для женщин, – настаивал он. – Мне ли это не знать. Подумай хорошенько, действительно ли ты хочешь посвятить этому всю свою жизнь...»

– Да, как нарочно... – вздохнул Веня. – Словно кто-то делал всё, чтобы мы не встретились раньше...

– И все-таки это случилось... – Марина вдруг что-то вспомнила и прибавила: – Как говорила моя бабушка, «*башерт*» – «суждено»...

– И моя бабушка – тоже! – откликнулся Веня. – Да, Мариночка... мы суждены друг другу...

На Маринино лицо лёг нежный утренний луч...

Перевод с идиша А. С.

Геннадий КАЦОВ

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

КУЛЬТ КНИГ

Я открыл эту книгу и не мог оторваться,
Никогда ничего не читал я прекрасней:
Жёлто-красный пейзаж украшал в ней Палаццо,
В нём кипели всю италийские страсти.

Там играли на лютне, по утрам громко пели,
Исполняли, похоже, любые капризы.
Пальма лезла в окно, распутив свои перья,
И под ветром солёным росли кипарисы.

Уходила к прозрачному морю аллея,
По волнам плыл осенний кораблик бумажный
И на парусе буквы размокли, алея,
Что жильцам из Палаццо было, вроде, не важно.

В этой записи – текст заключительной части,
И к двери подбегает в слезах героиня,
Но финал всё не может без текста начаться –
Он уплыл. Он на дне. Нет его и в помине.

И закрыть ты не вправе эту книгу – и словно
Ты в ответе за то, что с тобой не случилось,
Ибо видел тот парус, но не можешь ни слова,
Даже крошечной буквы припомнить не в силах.

Ты уже не читатель, и навязан сюжетом,
Как дурной бесконечностью, верою в Бога,

Неизбежный мотив: что найдется на этом
Или том белом свете их часть эпилога.

ПУТЕШЕСТВИЕ

Вдоль железной дороги игрушечный поезд летит,
Подаёт беспокойный сигнал, чтоб усилить забаву –
Впереди переезд, опускается срочно шлагбаум.
На вокзальных часах подбирается стрелка к шести.

Монотонно колёса о тонкие рельсы стучат
И качаются влево и вправо три спальных вагона –
С полминуты пути весь отрезок ж/д перегона,
От всего игрового маршрута четвёртая часть.

На окне нарисован сегодня осенний пленэр:
В отдалении лес, на ближайшем пригорке – селенье,
Облака, погружённые в студень лазуревой лени,
Как и тот, кто за ними следит из окна, например.

Этот, в спальном купе средних лет рядовой пассажир,
Свою книгу сейчас раскрывает на той же странице, –
Мимо станции поезд проходит, вовсю веселится
Детвора, и крутые составу грозят виражи.

И звуки, слетевшись, сомкнутся в слова,
И будет озвучен словарь.

И речью, как влагой пустыня, напиться
Захочет пустая страница.

От первой строки, где таится исток,
Пойдёт электрический ток.

И букв фонари загораются чёрным
Вдоль фраз, так и не освещённых.

Всего два-три слова до точки, и вот –
Закончен вчерне перевод

С подстрочника, так как не помню ни слова
Того языка неземного.

Лишь личный, записанный свыше мотив,
Эпохи Петрарки – курсив.

СУДНЫЙ ДЕНЬ. КНИГА ЖИЗНИ

Пламя всерьёз изучает предмет до тла,
Так же как жизнь зачитает до дыр карман:
Бог Милосердия, то бишь добра и зла,
Как для рыбацкой фелюги – гигант-кальмар,
Видится мне возглавляющим в день Суда,
В зале, похожем на бальный, немой процесс,
Сроки там, большею частью от «навсегда»,
Можно на божьем бескрайнем лице прочесть.

Ветер Атлантики трогает небосвод,
Гладит гудящего купола плексиглас:
Словно ты годы куда-то спешил – и вот
Остановился, не веря тому, что глаз
Застит слеза (это ветер, а что ещё?)
И, как вороний протяжный над ухом звук, –
Весть на закате о том, что сейчас прощён,
Ибо на выбор пока есть одно из двух.

ПОКОЛЕНИЕ КНИГИ

Как вздрогну – вспомню место жительства
(В те времена не выбирали), –
Поскольку Черноземье, житницу
Коммунистического рая.

Проспекты упирались в площади,
Как взгляд под вечер – в дно бутылки,
И чем паскудней было, проще тем
Попасться в местные бутылки.

Татары к югу от Геническа,
Сосед со сталинской наколкой,
А по углам с гигиенической,
В клозетах, целью – вонь карболки.

Повсюду дух дурной провинции,
Он въелся в планы новостроек,
И Моргунов, Никулин, Вицин –
Национальные герои.

От труб несёт тоской и серою,
Да потом в транспорте посконным:
Сто пятьдесят оттенков серого
В белье, покрывшем ряд балконов.

Не выходить бы век на улицу,
В места общественных лишений,
Где, словно одинокой курице,
Тебе свернут однажды шею.

Опасность никогда не кончится
В стране, где всё – периферия,
Где открываешь рот – и корчишься,
Поскольку всюду хор эриний.

И только ночью на свидании
С отксеренной, безликой книжкой,
Ты пастернаковские далии
И флоксы Бродского – в той нише,

В том из углов советской комнаты,
Что слова доброго не стоит,
Читаешь, и они запомнятся
Как миф. Среди руин Истории.

Оставить отражение в случайном
Стекле окна, оставленном в пути,
Став тайной и минутною печалью
Той, что затем смогла его найти,
В её воскреснуть удивлённом взгляде,
Спустя столетья обращённом на
Изгиб плюща поверх кирпичной кладки,
Поверх следов от бывшего окна.

Я отключу себя ночью, а утром включу.
Если случаются сбои – иду к врачу.
– Здравствуйтесь, – врач говорит и даёт задания,
Делает выводы. Так о размере здания
Судят, взглянув на зубцы, по дверному ключу.

Я, если нет собеседника, чаще молчу,
Но промолчав больше суток, общаться хочу
И выхожу в коридор, становлюсь близко к зеркалу.
– Здравствуй, – встречает меня собеседник, и зенками
Круглыми радостно смотрит, и бьёт по плечу.

В юности думал: когда свой построю чум,
Выращу сына и дочь – их всему научу,

Парк посажу, не одно там какое-то дерево.
– Здравствуй, – меня встретят в будущем шурин с деверем.
Стол будет классно накрыт, я за всё заплачу.

Жизнь то ли жертве сродни, то ль сродни палачу,
И намекая: дай руку – озолочу,
Дар не в награду даёт, а скорей – в наказание.
– Здравствуй, – странице пустой говорю. В ней всё замерло,
Ищет беседы и ждёт, где строку настрочу.

1 СЕНТЯБРЯ В НОВОМ ДЖЕРСИ

Повторяя принцип построения аккорда,
опадают листья, превращая сад в сонату,
а затем дождь с громом возникают анакондой,
то есть, здесь простая оговорка – канонадой.

Сильный ветер, в мёртвые затянувшись петли,
лёт живую воду в дыры чёрных окон,
и карниз прозрачнее школьной чашки Петри,
что стоит, забытая всегда после урока.

На вербальном уровне туча просит вербу
не цепляться кроной, дать умчаться в дали,
и стоишь, прислушавшись: все слова из Вебстера,
то есть, здесь простая оговорка – все из Даля.

ЛЮБОВЬ В ВАВИЛОНЕ

Суть страсти – неделимость; правда, с тем
Предчувствием рождаешься потери,
Что всякий раз в слияние двух тел –
В единственное – до конца не веришь.

Как будто человек один проник
В другого – и пытается разведать,

Кто там, во тьме, его судьбу хранит?
И есть ли он за гранью слов и света.

Затем на части распадётся речь,
Сводя словарь до торопливых жестов –
Не там ли, где им вместе умереть,
Вновь одиноким на верху блаженства.

***Геннадий Кацов** – поэт, прозаик, эссеист. В середине 1980-х был одним из организаторов легендарного московского клуба «Поэзия» (с 1987 по 1989 гг. – его директором) и участником московской литературной андерграундной группы «Эпсилон-салон» (отцы-основатели – Николай Байтов и Александр Бараин).*

В мае 1989 года переехал жить в США, где последние 29 лет работает журналистом. Журналистскую деятельность начал с программы Петра Вайля «Поверх барьеров» на радио «Свобода» и критических публикаций по культуре в ежедневной газете «Новое Русское Слово» (США).

Вернулся к поэтической деятельности после 18-летнего перерыва в 2011 году. Стихи вошли в антологию современной русской поэзии «Самиздат Века», с 2013 года стихи на русском и английском языках публикуются в ведущих литературных журналах. Автор восьми прозаических и поэтических книг. Совладелец нью-йоркского издательства KRiK Publishing House и владелец информационного новостного портала RUNYweb.com. Публикации в «Журнальном зале» – <http://magazines.russ.ru/authors/k/katsov>

Полина ЖЕРЕБЦОВА

45-Я ПАРАЛЛЕЛЬ

Мы публикуем фрагменты нового документального романа Полины Жеребцовой «45-я параллель». Автор родилась в Грозном. На ее детство и юность пришлись две чеченские войны. Пережитое в то время и позже, в Ставрополе, куда Полина бежала к материю, нашло отражение в новой книге, которая недавно увидела свет в харьковском издательстве “Фолио”. В России выпустить ее смельчаков не нашлось...

«Дождь. Небо затянули серые тучи. Их кровавым лучом прожигает оранжево-красное солнце. За холмом стреляли из тяжелых орудий, и земля слегка сотрясалась, напоминая о том, что каждый день, прожитый на моей родине, мог стать последним.

Я видела сны о том, как на землю хлынули волны, как земля уступила стихии воды и мы стали ее частицами, преодолев человеческий облик.

Когда-то в моем городе Грозном я маленькой девочкой сидела на санках, будто на скамеечке, в коридоре квартиры, обнимая маму. А по нашему дому на улице Заветы Ильича стреляли тяжелые российские орудия. Кирпичный четырехэтажный дом кренился, словно большой тонущий корабль, и скрипел.

Мама обняла меня и сказала:

– Мы сегодня умрем, но ты не бойся.

А я спросила:

– Как умрем? Мне всего девять лет!

Мама сквозь слезы улыбнулась. Не было ни капельки света, и я не могла это увидеть, но знала – она улыбнулась.

– Для смерти возраст не важен. Такой обстрел нам не пережить. Боже, как страшно!

Хотела почувствовать мамин страх, но не могла – я еще не чувствовала страха, только сильно стучало сердце.

– Что самое страшное в смерти? – спросила я маму.

– То, что мы больше никогда не увидим солнца.

Но мама ошиблась – мы выжили.

В моей жизни с осени 1994 года солнце восходило множество раз, и я научилась классифицировать страх как древний объект осознания.

Сумасшедший Юрочка, мальчик-сосед, тоже ошибался, утверждая, что в комнату влетел снаряд и на самом деле мы очень давно мертвы. Мы не погибли – мы перешли на другой уровень бытия. Я знаю это наверняка, прощаясь с городом своего детства и своей юности.

Прощай, серое дождливое небо! Прощай, кровавое рыжее солнце! Прощайте, пыльные улицы в копоти пожарниц! Я люблю вас и однажды почувствую снова.

Когда земное тело превращается в пепел, мы просматриваем жизнь, захватывая моменты истины: так пусть сегодняшний дождь и канонада за холмом повторятся!

Пусть прогремит гром. Пусть тоннель из кровавого солнца заберет в лучший мир все заблудшие души. Пусть маховые колеса сделают свой оборот».

Дневник 23.11.2004 г.

Снег, всю ночь падавший из небесной пропасти, к утру растаял, деревья повеселели, обрадовались, что Всевышний услышал их мольбы, увидел тонкие дрожащие ветви и отправил ангелов позолотить горизонт.

Наш временный приют, где я и мама снимали квартиру, потускнел и осунулся от невзгод. Пятиэтажный кирпичный дом, прозванный в народе «хрущевкой», не могли утешить ни ласковые солнечные лучи, ни хрустящая синева неба. Горемыка сник под тяжестью утрат, переживая войну и пожары. Он чувствовал провалами рухнувших этажей смерть младших братьев и сестер, видел разбитыми окнами их черные остовы – напоминание людям о содеянном зле. Наполненный голосами жильцов, дом держался из последних сил и горестно вздыхал.

Все этажи некогда могучего строения накренились в сторону холмов, и дом стал похож на больное животное, лежащее на боку и смирившееся со своей скорбной участью.

Дело было даже не в пробоинах от снарядов, а в том, как сильно он тосковал о мирном времени.

Встав на утреннюю молитву, я заметила, как побеленные холмные стены наполнились влагой. Тонкими струйками водица бежала от потолка к полу, а пар изо рта приобрел очертания неприкаянных душ.

В холоде, без отопления прошли годы, показавшиеся мне столетиями. Ревматические боли дыханием зимы соткали ожерелья внутри тела и, взяв со стола кружку с водой, я ощутила такие мучения, словно мои руки и лопатки пробили остро заточенные стрелы. Невольно мне вспомнилась картина Тициана «Святой Себастьян», и я сочувственно улыбнулась. Декабрьский день чуть слышно просачивался сквозь разбухшие от сырости деревянные рамы и клеенку, заменяющую нам стекла.

Буржуйка напрасно ржавела в углу, мечтая поглотить резной книжный шкаф из орехового дерева. Соседи давно сожгли все, что попало под руку: мебель, паркет, книги.

Война длилась десять лет.

Воспоминания, словно тени, выглянули из-за дверец шкафа, украшенных тяжелыми виноградными кистями.

Возле шкафа тоскливо мяукали кошки. Моя мать Елена заперла домашних питомцев в клетке, чтобы они не разбежались. Я старалась не обращать внимания на кошачьи песнопения, пересчитывая дорожные мешки и сумки.

А мама была сама не своя от волнения.

– Ничего не забыли? Сковородку взяли? Не дай бог забудем сковородку, это же единственная приличная вещь в доме! – бормотала она.

Я махнула рукой. Если честно, мне было все равно, забудем ли мы сковородку. Жальче всего книжный шкаф, принадлежавший некогда моей прабабушке. В лучшие дни своей жизни, до революции 1917 года, он хранил китайский сервиз, а после Гражданской войны его заполнили книгами. Во Вторую мировую от разрыва бомбы шкаф треснул вдоль и поперек, но его по-прежнему любили, поэто-

му отдали в мастерскую. Старинный шкаф кочевал с семьей из города в город, пока не попал на Кавказ, в Чечню.

Под бомбами я читала прижизненное издание Карамзина «История Государства Российского», собрание сочинений Шекспира 1902 года, труды Льва Толстого, стоявшие на четвертой полке.

Между войнами соседи пытались выкрасть семейный раритет. Угрожали нас убить, если мы помешаем их алчности и корысти, но мы с мамой всегда защищали его.

– Мама, заберем шкаф с собой. Он поместится в машину!

– Нет, Полина! – В мамином голосе слышались нотки упрямства, означавшие бессмысленные и беспощадные споры, если я продолжу настаивать: – Он совсем развалился! Мы его не возьмем!

Я подошла и погладила тяжелые виноградные кисти, покрытые лаком.

– Оставайся здесь, пусть тебя найдет хороший человек, отретставрирует и гордится тобой!

Пора было уходить.

Это наше последнее утро на родной земле. Мы покидаем ее навсегда. Наш путь лежит в Ставрополь.

Вещи с третьего этажа я и мама снесли молча и погрузили в кузов “газели”, покрытый синим брезентом.

– Посижу пять минут, – сказал наш водитель, следуя местной примете присесть перед дальней дорогой, чтобы все закончилось благополучно. – Мне же еще обратно возвращаться!

Мы остались у кабины. Нам возвращаться не надо. Мы ничего в этих краях не забыли, кроме долгих лет на войне, которых уже не вернешь.

Водитель, согласившийся увезти нас подальше отсюда, высокий худощавый мужчина с зелеными глазами, назвался Асхабом. Здесь, в Чечне, у каждого несколько имен.

Восседая на скамейке, чудом сохранившейся со времен СССР как напоминание о некоторой стабильности, когда еще ежедневно не обстреливали чеченские города и села, Асхаб беспокойно поправлял кепку, ворошил копну густых черных волос и тревожно вздыхал:

– У меня жена и трое детей! Родители привели вторую жену.

Ей четырнадцать. Не могу я погибнуть сейчас. Есть ли надежда, что вернусь живым домой? Ничего плохого не случится?

Ответов на эти вопросы не было. Мы и сами не знали, как оно пойдет, поэтому утешать понапрасну не стали.

– Аллах все ведаёт! — сказала мама, кутаясь в шерстяную вязаную шаль. – На все его воля!

– Аминь, – прошептал бледными губами водитель. – Аминь!

Мы забрались в кабину газели. Клетку с кошками я заранее отнесла в кузов. Пусть радуются, что мы спасаем их от ежедневных терактов.

Хрупкая наледь сверкала под утренним солнцем. Машина тронулась в путь осторожно. Мы щурились от рыжих лучей, маячивших сквозь лобовое стекло.

Оказавшись на трассе Старопромысловского района, я старалась запомнить детали: дорожное покрытие, исчерченные зубастыми осколками мин, ямы от бомб и ракет, растерзанные взлохмаченные тополя, чудом сохранившиеся рядом с остановкой, от которой осталась одна подпорка в виде круглого железного столба.

Казалось, что дорога, уводящая из города, нарисована безумным художником, смешавшим ночь, пепел и снег на своей палитре. Зачем безумец нарисовал эту картину и заставил нас смотреть на нее?

«Здесь живут люди!» гласила надпись на единственной стене здания, все этажи которого рухнули, а рядом жители устроили свалку. Стена возвышалась над мусором, словно кирпичный парус над пеной морской.

Сквозь пыльное лобовое стекло мне виднелись жилые строения. Возможно, будь у них шанс, дома и коттеджи сбежали бы мигом из этих мест. Некоторые из них частично сгорели, а на крышах других, многоэтажных, расположились отряды русских солдат, притащившие с собой тяжелые пушки и мелкокалиберное оружие. Неспокоеное время побуждает воинов использовать жилые дома как крепости. Это опасно для жителей, испуганно жмущихся к подъездам. Чеченские боевики растворились в окрестных лесах, а те, кто остался в Грозном, присягнули новой власти.

Где-то за горами нас ждал чужой город, расположенный на со-

рок пятой параллели Земли. Горделивый и надменный Ставрополь, раскинувшийся на холмах, словно Рим, и поэтому считающий себя неприступным. *Город креста* – так звучит по-гречески его имя.

Я мистик и всегда верила, что пространство посылает человеку знаки. Каждый может их видеть, ведь и мы сами для кого-то являемся не более чем притчами, вплетенными в сновидения.

Доподлинно известно, что в нашем роду по женской линии была могущественная ведьма. Однажды – я тогда была маленькая – мама похвасталась:

– В каждом столетии ведьма перерождается! Поскольку сила ее велика, каждый раз она заново решает – служить тьме или свету. Новый отрезок времени для нее всего лишь опыт. Для этого ведьма приходит в наш мир.

– А мы кто? Мы – ведьмы?! – поинтересовалась я.

– Нет, что ты! – рассмеялась мама. – Ведьма рождается раз в несколько поколений, и сама, будучи невинным ребенком, не помнит об этом. Но, подрастая, она начинает творить такие дела, что люди до смерти боятся ее сокрушительных чар.

– Как проявляется ее сила?

– Дух ведьмы владеет стихиями. Сотни ангелов закрывают ее от ударов судьбы, и сотни демонов наказывают ее врагов...

У моей матери был дар: она видела ауру и умела снимать руками болевые симптомы. Мать помогала людям искать без вести пропавших родных и могла рассказать судьбу человека от рождения до смерти, посмотрев лишь на черно-белую фотографию.

Что касается меня, то кроме непонятных сумбурных снов, куда без спроса периодически являлись покойники, мне от семейного дара ничего не досталось.

Взрослея, я все больше задумывалась, зачем могущественной ведьме опыт земных рождений? Если бы в высшем мире спросили меня, то я бы отказалась возвращаться в нашу реальность, чтобы не наблюдать, как люди, потеряв совесть, уничтожают друг друга, животных и птиц.

Кто захочет сюда повторно? Плакать по безвинно погибшим душам и сожженным деревьям?

Таких простаков надо еще поискать!

Нас тряхнуло на повороте. Трасса изогнулась подобно азиатскому клинку, и стало понятно, что мы выезжаем из Грозного, поднимаемся со дна моря, чему я наивно верила в детстве. Машина устремилась к горам по неровной насыпи, а вокруг поплыли долины, обрывы, пропасти с орнаментом выцветших трав, еще не прикрытые снегом, как случается на Кавказе, где зимы очень теплые. Только наши горы для пущей важности надевают белые папахи.

– Действительна ли бумага? – беспокоилась мама. – Мы неделю назад оформляли ее в милиции.

– Заверили в комендатуре? – спросил Асхаб.

– Да. В ноябре 2004 года. Перепись всего нашего имущества. У семьи было три квартиры. Машина! Домашняя библиотека! Теперь вывозим, что осталось после войны. – Мама вытащила из кармана лист с круглой синей печатью, развернула его и стала читать: – Сковородка – одна штука, матрас – две штуки, книги – восемь мешков, узелок с вещами, кастрюлька алюминиевая...

– Кошки указаны? – поинтересовался Асхаб. – Впереди русский военный блокпост. Есть разрешение на вывоз «живого имущества»?

Мама уткнулась в бумажку, выданную чеченскими милиционерами, но в коротком списке пожитков кошек не было.

– Что делать? – запричитала мама. – Стрелять в кошек не позволю! Грудью стану, убить питомцев не дам!

– Главное, меня не вмешивайте, – предупредил Асхаб. – Я водитель. Нуждаюсь в средствах. Помните о двух женах? Мне надо вернуться живым!

Мощное сооружение, собранное из бетонных блоков, преграждало нам путь. Из бойниц выглядывали дула пулеметов, намекая на частые перестрелки в этом районе, а сам военный блокпост был похож на древний дольмен.

Когда «чеченские лесные братья», оголодав в блиндажах и землянках, прорывались в поселки к родне, чтобы хорошенько помыться и поесть, это сопровождалось смертельным фейерверком двух враждующих сторон.

Мир – коварное место. Жизнь и Смерть играют здесь дурными головами и смеются над амбициями невежд.

Блокпосты со времен Первой чеченской стояли по всем доро-

гам, между городками и селениями, на выездах и въездах, и у каждого стола смерти был свой командир. Чаще всего вопросы решались небольшой денежной суммой, реже – расстрелами, так как особо суровые времена канули в Лету, утекли по весне в сточные канавы, прорастая драконьими зубами партизанской войны, ловко заменившей ковровые бомбардировки.

Чеченские боевики, на школьной скамье впитавшие истории о русских народовольцах, пошли путем террора, и оставалось только гадать, когда взорвется на самодельной mine рейсовый автобус, где живой бомбой выступит пятнадцатилетняя вдова с глазами испуганной лани, и во сколько раздастся залп по студентам, слушающим лекции в пединституте. Наша жизнь впечатляла непредсказуемостью.

Мирные жители не умеют стрелять, они разделяют участь пешек в шахматной игре.

На блокпосте, выстроенном в виде прямоугольника, курили русские военные.

Крыша строения была непрочной. В некоторых местах кровельный материал пробиты пули, и в ненастную погоду дождь тонкими струйками бежал в бетонное убежище, где вместо пола под ногами хрустел мелкий гравий.

Один из блоков в основании стены оказался длиннее остальных. Из него изогнутым когтем торчала ржавая свая, на которую военные подвесили целлофановый пакет с провизией.

Заметив нашу “газель”, солдаты, следящие за дорогой, вскинули руки вверх¹, приказывая остановиться.

– Как будто Гитлера увидели! – пошутила мама.

Военные опасались, что в машине может быть взрывчатка, и не позволяли подъезжать близко к блокпостам. Хотя, если рассуждать здраво, тот, кто везет в кузове бомбу, не станет упражняться в вежливости и спрашивать разрешения.

Асхаб затормозил.

Вдоль лобового стекла раскачивались моленные четки и разноцветная мишура, исписанная по-арабски.

¹ Предупредительно показали – «зигу».

Русские военные нахмурились.

– Надо выйти, – сказала мама.

Она сидела между мной и водителем.

– К ним? – настороженно спросил Асхаб. И добавил: – Точно, надо выйти.

Но остался сидеть на месте.

Военные сняли автоматы с предохранителей.

– Так, внучек, – подбодрила водителя мама, – не трусь! Наше дело правое. Мы с дочкой тебя поддержим.

Пока Асхаб поправлял рубашку, ерзал на сиденье, возился с дверной ручкой, я уже вышла из кабины, а мама за мной.

– Э-ге-гей! – крикнула мама военным, – что стоите, как соляные столбы в Гоморре? Подходите, проверяйте бумаги!

– Сами подходите! – попятившись, заявили сотрудники блокпоста. – Что ваш водитель не выходит? Кто он?

– Чеченец с рынка! У него две жены и много детей! Ему еще назад возвращаться! – крикнула мама, сложив ладони рупором. – Вы его не трогайте, он нацию возрождает!

Русские военные заулыбались:

– Две жены?

Дверь машины со скрипом открылась, и появился Асхаб.

Медленным шагом он приблизился к каменному шалашу и протянул водительские права и пятьсот рублей: мятый ценный прямоугольник фиолетового цвета.

Военные на глазах повеселели. Из глубины бетонного строения показался старший по званию, мужчина лет тридцати пяти. Рядом с потертыми штанами и куртками сослуживцев, его новенький голубой камуфляж смотрелся круто. Себе на шапку командир блокпоста приделал хвост пушного зверя, а под шапкой блестело его довольное круглое лицо.

Ухмыльнувшись, он сунул деньги себе в карман:

– Это нам на курево! – затем косо взглянул на документы в руке Асхаба и лениво приказал младшим по званию: – Обыскать машину!

Солдаты, которым адресовался приказ, были худы и неказисты. За плечами у каждого из них болтался «калашников». Судя по тревоге в глазах, главной мечтой новобранцев было убраться отсюда ко всем чертям.

Первым подошел высокий, светловолосый, а за ним семенял солдатик, похожий на представителя народов Крайнего Севера, то ли удмурт, то ли бурят – он едва доставал напарнику до плеча.

Мы с мамой переглянулись: она переживала за кошек, а я едва сдерживала смех, поскольку нет ничего комичней экстремальной ситуации. Если нас не убьют, будет над чем пошутить. Юмор превыше всего и является главным и основным атрибутом выживания.

Солдаты бестолково тыкали оружием в коробки и пакеты, а затем наугад распорили ножом полипропиленовый мешок, и оттуда вместе с другими вещами вывалился мой черный бюстгальтер. Бюстгальтер как добыча повис на дуле автомата.

– Пиратский флаг! – хихикнула мама. – Йо-хо-хо и бутылка рома!

Солдаты смутились.

Асхаб, как и положено праведному мусульманину, отвел глаза, а кошки, почувствовав запах людей, выразили протест.

– Мяу! Мяу! — раздались их недовольные голоса.

Солдатик, похожий то ли на бурята, то ли на удмурта, вскрикнул:

– Кто здесь?! Руки вверх!

Поскольку военный резко сделал шаг назад, бюстгальтер с дула автомата улетел вглубь кузова и затерялся среди мешков с книгами.

– Кошки! – сказала я.

– Кошки?! – возопили солдаты, а затем развернулись и стремглав побежали в свой каменный шалаш.

– Я же говорил... – зашептал Асхаб. – Кошек на моей памяти еще никто не провозил...

– Какая у тебя память? Сколько тебе лет? — зашикала на него моя мама.

— Двадцать семь! – гордо ответил Асхаб. – В этом возрасте у моего отца было шестнадцать детей.

Назад солдаты возвращались торопливым шагом, а за ними вальяжно, покуривая сигарету, шагал командир в роскошной шапке.

Мама поджала губы, что свидетельствовало о явном признаке недружелюбия, а я попыталась ослабить платок, чтобы высвободить прядь волос и таким образом избежать дополнительных вопросов по религии.

– Кошки, значит? – Командир в голубом камуфляже смотрел нам прямо в глаза.

– Показать? – спросила мама.

– Естественно! – недобро произнес он.

Солдаты встали по стойке смирно.

Я сдвинула поклажу на край кузова, и мама начала распутывать проволоку. Белый ящик был примотан к коричневому, а внутри сидели наши питомцы. Переплетенные между собой алюминиевые нити нехотя поддались, мама сдвинула верхний ящик, и столпившиеся вокруг люди увидели Одуванчика, Полосатика и Карину, трех кошек, которых мы не смогли бросить, когда решили уехать из Грозного.

– Правда кошки!!! – загалдели солдаты. – Зачем вы их везете?

– Они нам как дети, – объяснила я, вытаскивая за шкуру трехцветную Карину.

– Полюбуйтесь. – В разговор, забрав у меня кошку, вступила мама: – Это Карина! Котенком она оказалась в недостроенном десятиэтажном здании, в котором рухнули лестничные проемы. Кричала шесть дней. Жильцы нашего района желали ей смерти, поскольку хотели спать. Я, дочка и сосед-чеченец спасли малютку.

Мама, закончив рассказывать, вручила кошку командиру. Карина сразу обновила его камуфляж острыми когтями, а я едва смогла скрыть громкий смех за якобы внезапно начавшимся приступом кашля.

– Одуванчик. – Мама вытащила следующую кошку. – Как видите, блеклая и физиономия у нее страшная, но вы не волнуйтесь. Не бешеная! Испугалась самолета, когда была котенком, ударились головой о ванну, носик сломала. Ненавидит самолеты после бомбежки!

Одуванчик переключалась к худому, бледному солдату с синими глазами. Кошка вмиг вскарабкалась к нему на плечи, изобразив на изношенной куртке меховой воротник.

Мама попыталась достать последнюю кошку, но Полосатик отличалась дерзким нравом, поэтому повернулась спиной и зашипела.

– Ах ты вредина, – ласково приговаривала мама. – Ах ты коварная...

Полосатик издала яростный рев «мяууу-мяууу!» и была извлечена из ящика.

Солдаты сделали шаг назад, видимо опасаясь, что мама передаст недовольную кошку кому-то из них.

– В туалет хочет! – объяснила поведение Полосатика мама. – Вот и мяукает! Разойдитесь! Здесь у трассы травка, сейчас она облегчит душу.

Пока Полосатик презрительно шипела и копала лапками ямку, командир хохотал:

– Люди из Чечни ковры вывозят камазами! Технику! Цветные металлы! А вы кошек спасаете! Ну и смех!

– Такие мы, – ответила на это мама, собрала наших питомцев и, закрыв одним ящиком другой, закрутила проволоку.

– Нам можно ехать? – робко спросил Асхаб.

– Мы что, кошек задерживать будем? За кого принимаешь? Мне на шапке одного хвоста достаточно! – усмехнулся командир.

Я и мама поспешили забраться в кабину. Небо затягивалось снежными тучами, которые ветер гнал с востока. Я радовалась, что в дальнем углу кузова не обнаружили пакет с дневниками. Тетради воспоминаний были мне дороже всего на свете.

Машина набирала скорость, трясясь на неровной поверхности горной дороги.

– Следующий блокпост примерно через час! – предупредил Асхаб.

Мама вытащила бутерброд с сыром, завернутый в салфетку. Мне хотелось спросить у водителя, долго ли мы будем ехать, но где это видано, чтобы девушка первой задавала вопросы. Несколько раз я открыла рот, но не сумела произнести ни звука.

Моя мать всегда отличалась суровым нравом. Сейчас ей было за пятьдесят. В таком возрасте женщину на чеченских землях уважают, ведь она прошла нелегкий путь: выданная замуж в молодые годы не по любви, а по воле родителей, битая мужем, она рожала детей, поднимала семью...

Младшие по возрасту, обращаясь к такой женщине, говорят «тетя», по-чеченски это звучит «деци».

– Деци, ты не мерзнешь? – спросил мою маму Асхаб.

– Нормально, – ответила она, доедая бутерброд с сыром. – Захочешь есть, скажи, для тебя тоже угощение взяли.

Асхаб благодарно кивнул.

– Мама, – зашептала я, – спроси у водителя, долго ли нам ехать.

– Чего? – Мама не расслышала, закутанная в теплую шаль.

Я грустно вздохнула: не повезло.

Стекло холодило лоб и щеки, и я, прислонившись к нему, рассматривала равнину, по которой гарцевали лошади. Мужичок в тулупе рассекал воздух хлыстом, подгоняя табун.

Если бы Всевышний спросил, что несовершенно в этом мире, я бы ответила, что это – человеческая раса. За десять лет войны, ставших неотделимой частью моих девятнадцати, право так думать у меня было.

Кто я? Почему выжила там, где погибли тысячи детей? Мои ноги хранят следы от осколков, но шрамы незаметны, потому что край юбки всегда касается земли. Миссия, возложенная высшими силами, неумолима: я бережно складываю найденные истории в дневник, где судьбы переплетены так крепко, что кажутся единым целым.

Когда человек теряет способность замечать детали, он может нелепо погибнуть, поскольку самое важное – это внимание. Утратить его легко, обленившись и позабыв о правильном дыхании, отгоняющем суетливые мысли. Чужеродные сущности отвлекают ум и не дают сосредоточиться. Замусоренное сознание выглядит как рябь на воде.

В тайниках моей памяти есть весенний день 1998 года. Путь из школы лежал через руины. Вперемежку с битыми кирпичами там валялись сгнившие от дождей вещи. Заметить книгу под слоем мусора не представлялось возможным, но меня словно манило туда. Я разгрела почерневшие доски – все, что осталось от мебельных гарнитуров, – осколки оконных стекол и нашла ее. Страницы книги промокли и пахли гарью, но, как и прежде, они хранили сказания о философах и первопроходцах.

Дома я высушила и склеила свою находку. Эта история научила меня, что существуют события, неразрывно связанные друг с другом, хотя если их рассматривать по отдельности, то узор может показаться совершенной бессмыслицей.

Изучая язычество, буддизм, ислам и христианство, я поняла – религия как одежда, что скрыта от глаз посторонних.носишь – носи, но никому не показывай.

Я обратилась к пространству по-арабски, нараспев прочитав суру из Корана.

– Туман укутал горы, – сказал Асхаб.

Мама открыла глаза, зевнула и опять задремала. В моем детстве она рассказывала предания о том, что наш род очень древний и в прежние времена прадеды служили царю. Но я отчетливо помню только военную жизнь, которая началась в Грозном, едва мне исполнилось девять.

В стекле отражалось мое лицо: полукруглый лоб, детский, слегка вздернутый нос с веснушками, глаза, то ли карие, то ли зеленые, и большой платок. Я прячу под ним волосы с младших классов школы. Женщин с распущенными волосами в Чечне считают «неверными» и всячески осуждают.

Украдкой мне удалось посмотреть на водителя. Асхаб – сельский житель, привыкший жить согласно традициям. Вся жизнь Асхаба прошла в горах, а сейчас он спустился в город, чтобы заработать денег и отстроить разрушенное войной жилье. Его руки в мозолях и ссадинах, потому что молодой мужчина пытается самостоятельно восстановить родные стены, не надеясь на помощь государства. После долгой войны мы и русские не друзья.

– Апчхи! – Мама чихнула и проснулась.

– Будьте здоровы, деци! – вежливо сказал Асхаб.

– Баркалла, спасибо! – ответила мама.

– Мы сделаем остановку. На трассе есть кафе, где можно перекусить.

– Сколько часов ехать до Ставрополя? – Мама наконец задала интересующий меня вопрос.

– Со всеми проверками и остановками часов двенадцать, – ответил Асхаб.

– На девятнадцатый день рождения мне приснился сон, – поделилась я. – Во сне духи предложили выбрать направление пути и подарили северную стрелу.

Асхаб неоднозначно хмыкнул, а мама прошипела:

– Ты считаешь уместным рассказывать малознакомым людям свои сны?!

– Да, – буркнула я и отвернулась.

Ставрополь находится на пятьсот километров северней Грозного. Но это не предел. Когда-нибудь я отправлюсь дальше, потому что выбрала направление – на север.

Машина резко свернула на неровную обочину, и нас потрянуло.

– Привал, – сказал Асхаб.

На дороге оазисом раскинулось круглосуточное кафе. Возле стеклянных витрин, рекламировавших аппетитные блюда, останавливались машины дальнобойщиков, междугородние автобусы и маршрутки. Там же припарковалась и наша газель. Издали было заметно, что столики заняты: люди ели пирожки, котлеты с картошкой и салат. Мы вошли в дверь-арку и устремились к стойке с выпечкой.

– Что выберем? – спросила мама, расстегивая куртку.

В кафе я согрелась от тепла и ароматов съестного.

– Хочу пирожки с капустой, – ответила я. – А ты?

– А я буду котлету, салат и пюре! – Мама оживилась.

Я сделала заказ и оплатила его.

– Садитесь за свободный столик, – сказала официантка. – Я сейчас все принесу.

Наш водитель Асхаб, увидев среди посетителей знакомого чеченца, подсел к нему. За одним столом с чужими женщинами мужчине сидеть неприлично.

– Ты рада, что мы уезжаем? – спросила мама.

Я горько усмехнулась. Мне не хотелось отвечать на этот вопрос. Чувство, что я нахожусь «не в своем времени», не покидало. На лицах окружающих была усталость от тяжелой работы, страх нарушить традиции и быть осужденным на смерть.

Этот мир безысходен, здесь живые завидуют мертвым.

– Нет, не рада, – ответила я, усаживаясь на стул.

Официантка поставила перед нами поднос.

– Как же! – простодушно удивилась мама, подцепив вилкой салатный лист. – Ты в детстве просила: «Увези меня из Чечни! Спаси из-под бомб!», но мы не могли уехать. Квартиру никто не покупал. Государство о беженцах не заботилось. Старики и дети ночевали на

улицах! А теперь, когда впервые появилась возможность покинуть Грозный, ты недовольна...

– Обстоятельства изменились. Последние два года я работала журналистом в газете. На новом месте кто станет публиковать мои статьи? Захотят ли узнать правду, выслушать свидетелей? Или я стану дворником?

– Ничего... – Мама выглядела довольной. – Можно работать и дворником. Зато терактов не будет! Университет закончишь! – размечталась она.

– Я и в Грозном отлично училась, – возразила я. – На третий курс пединститута перешла...

– Слышать ничего не желаю! Ешь свои пирожки молча! – оборвала меня мама.

Чай, остывая, приобрел мутный оттенок. Внутренний голос подбодрил меня: если суждено переехать только для того, чтобы все увидеть и записать, значит, такова судьба.

Обратно к машине мы возвращались не разговаривая.

На территории Ставропольского края нашу газель обыскали еще несколько раз. Суровых мужчин в военной форме невероятно смешили усатые питомцы в клетке, сделанной из пластмассовых ящиков. Кошек тискали, целовали и кормили сушеной рыбкой.

Заброшенные пустынные земли, на которых не росли злаки, выглядели из окна машины удручающе и производили гнетущее впечатление. Почему здесь нельзя построить города для миллионов бездомных?

Дорога настраивала на мысли о Боге. Жители Земли называют Бога разными именами, а убивая друг друга, величают это священными войнами. Когда я была маленькой, то молилась разным богам. И нельзя сказать, что хоть кто-то из них отказал мне в помощи.

В три года я занялась йогой. Не по своей воле, конечно. Мама настояла, что обязательно следует приобщаться к практикам индийских мудрецов.

К пяти годам я увлеклась чтением и горделиво возомнила себя православной христианкой. Помимо обычных книг мне нравилось читать церковные, шептать у икон непонятные слова, от которых душа волновалась и трепетала.

В восемь лет я познакомилась с верованиями язычников. Где тот далекий Бог, создавший все вокруг? Духи земли и воды гораздо ближе к людям. Я взывала к Зевсу, Дионису и Афродите. Просила о любви и победах. Щедро рассыпала лепестки пурпурных роз и соленое печенье во фруктовом саду. Слушала, как поют соловьи.

За этим последовало очарование Шакти и восхищение Ганешей. Медитируя, я мысленно устремлялась к Будде, чьи глаза словно расплавленное золото.

В четырнадцать лет я решила разорвать кольцо перерождений. Отмерить новую жизнь. И начала молиться по-арабски.

Религия у меня получилась весьма своеобразная, полная мистериий, но если непосвященный человек замечал девушку в большом платке, то, вероятней всего, он думал, что она мусульманка.

Я решила, что в моем доме всегда будут Тора, Библия и Коран, сказания о Гаутаме, Тибетская книга мертвых, учения Конфуция, Платона и Аристотеля.

– Заснула что ли? – Острый мамин локоть напомнил мне о реальности. – Говорю, давай сюда пакет! Там термос с чаем и орехи!

Мысли, как джинны, путают и наводят морок. Я подала матери пакет. Она поинтересовалась у Асхаба, не желает ли он чего, и тот согласился взять горсть очищенных грецких орехов.

Природа за окном изменилась. Вокруг расстилались бескрайние пустые поля и лесополосы с черными неприглядными деревцами. Горы остались позади.

Нас еще раз обыскали. Но не нашли ни дневники, ни остатки денег – жалкие гроши, оставшиеся от положенной компенсации, из которой мы получили только небольшую часть.

Предвечернее время неудержимо накатывалось вместе с гаснущим на горизонте солнечным диском.

Я попыталась остановить поток мыслей, произнести ом-м-м-м-м и внезапно вспомнила, как впервые поняла, что колдовать плохо. В четыре года я услышала легенду о ведьме. Голос матери сливался с шумом осеннего ветра в родном грозненском дворе, где стояли кирпичные многоэтажные дома в виде буквы «П». Потом мама ушла по делам, а я осталась.

Пожелтевший лист тополя притаился у моих ботинок. Схватив

его, я закружилась, словно дервиш в неистовой пляске. Я кружилась с такой скоростью, что стала частью вихря и уже не могла остановиться.

«Духи света, духи тьмы, приходите мне служить! – повелела я. А затем на меня снизошла идея, за которую я до сих пор испытываю стыд. Подув на сухой листок, я приказала невидимым помощникам: Пусть завтра весь двор будет усеян мертвыми голубями!»

Я перестала кружиться, уронила тополиный листик и как ни в чем не бывало побежала играть к подружкам.

На следующее утро наш дом сотрясся от криков соседки Марьям:

– Лена! Лена, ты посмотри, что случилось! Вай, вай! О Аллах!

Мама выбежала во двор в ночной рубашке, босиком, а за ней и остальные жильцы нашего дома.

Я никак не могла понять, отчего взрослые плачут и причитают. Встала с кровати и вышла следом за матерью.

– Ночью был ураган! – сокрушались соседи. – Вихрь накрыл город! Упали большие деревья!

– Птицы! Птицы! – кричала тетушка Марьям. – Птицы мертвые!

– Какие птицы? – удивилась я, потому что успела позабыть о своей игре в злую волшебницу.

Мама была расстроена:

– Десятки голубей мертвы... Их тела раскидало по дорожкам, у гаражей, на клумбах...

– Это... – Я осеклась от ужаса. – Это сделала я! Обещаю, что больше не буду колдовать!

– Не мели чушь! Это просто ураган, – строго сказала мама.

Она так и не поверила мне, назвав чистосердечное признание детскими фантазиями. Будь это действительно так, мне бы легче жилось на свете. Теперь, покупая хлеб и подкармливая голубей, каждый раз я пытаюсь вымолить прощение за свою неоправданную жестокость.

Тени от желтоглазых фонарей легли на дорогу, и мы проехали очередной блокпост, чтобы оказаться в Ставрополе, в частном доме, который заранее взяли в аренду на Пятачке.

Ставропольский Пятачок – это место в районе Нижнего рынка, там маклеры и зазывалы предлагают аренду и продажу жилья.

Внутри съемного дома мы ни разу не были. Внесли оплату за два месяца и получили ключ от старого амбарного замка.

– Там тепло? – спросила я хозяйку.

Хозяйка, крупная женщина лет пятидесяти, ответила скороговоркой:

– Пол бетонный. Печка есть. Не пропадете.

У нее не нашлось времени показать жилище изнутри.

Я помнила, что дом находится в районе Нижнего рынка, недалеко от магазинчиков, торгующих алкоголем, и гостиницы «Интурист». Жилье в этих местах походило на бараки для заключенных Гулага. Некоторым частным домикам стукнуло несколько веков, и наверняка в каждом из них жил домовый. Радовало, что от восьми соседних строений нас отделяла сетка, а рядом с арендованным домом росла разлапистая ель. Ее можно было украсить под Новый год.

– Скоро приедем! – радовалась мама.

– Дай Аллах! – вздохнул Асхаб.

– Оставайся ночевать, – предложила она.

– Неудобно, – смутился наш водитель.

– Я бабушка. Куда в ночь поедешь? Завтра мы тебя проводим до Буденновска.

Последняя фраза Асхаба обнадежила. Он переспросил:

– Точно проводите? Увидят, что чеченец, схватят. Родные даже труп не найдут... Война превратила многих в зверей. Здесь, на территории русских, я беззащитен.

– Приедем, макароны отварим! Есть консервы. – Мама была поглощена незатейливыми мыслями о вкусном ужине.

Небо почернело, стало тяжелым, как подошва сапога. Я размышляла над книгой, прочитанной во Вторую чеченскую: кто могущественней – человек или его тень?

Однажды я отправилась искать еду в развалины многоэтажки. Стены дома были пробиты насквозь и образовали своеобразные «коридоры» на уцелевших этажах. Осторожно, стараясь не наступить на серебристую нить растяжки, я блуждала внутри.

Вспоминала, как в двенадцать лет влюбилась в соседского мальчишку по имени Эрик. Я не могла признаться ему в чувствах и жалела, что у меня не было ни одной его фотографии... Семья Эрика сумела спастись из Грозного, а их квартиру в годы смуты захвати-

ли чеченцы. Они, странное дело, не выбросили чужие фотографии, словно хотели знать, у кого отобрали жилье.

В тот день я нашла фотографию Эрика и прикрепил ее к страницам дневника, как цветок войны, сорванный на руинах.

В разбитых домах всегда было полезное: лекарства, бинты, крупа или мука. Меня привлекали книги. Пролистывая их, я узнала, что многие жители в городе промышляли черной магией. А когда ввели шариат, каждый лицемер бил себя в грудь и кричал об истинном исламе...

Книгу по магии где-то обнаружила мама.

– Иди-ка сюда! – позвала она.

Ни тон ее голоса, ни сама книга не вызвали у меня приятных эмоций.

– Э, нет, – сказала мама, увидев, что я попятилась к двери. – Живо подошла!

Дети на Кавказе безукоризненно подчиняются взрослым. Это наша отличительная черта.

Предчувствуя, что сейчас в меня полетит домашняя утварь, я по чеченскому обычаю склонила голову.

– Я нашла заговор. Ты прочитаешь его!

– Ни за что! Это грех!

– Бог простит! Ты не можешь ослушаться мать, а то прокляну.

Надо сказать, что проклинала она меня частенько. Война сделала женщину, данную мне в матери, жесткой и властной, не принимающей отрицательные ответы.

– Идешь и читаешь! – приказала она. – Никто в жизни мне не перечил, и тебе не позволю!

Грузная, в халате и платке, мама сама походила на ведьму, про которую любила рассказывать.

Я подчинилась, как принято на Кавказе, когда старшие что-то велят младшим: выйти замуж за незнакомого человека, жениться на девушке, которую видели и одобрили только старики рода, зарезать барана или что-то еще.

Мама сунула мне книгу. Прочитав на обложке имя автора, я успокоилась: это выдумщик, желающий заработать, подумалось мне. Если произнести заговор, не случится ровным счетом ничего. Суть состояла в следующем: нужно было остаться одному; затем в

полдень встать таким образом, чтобы видеть свою тень, и попросить ее об услуге.

– Прошу тебя, – сказала я тени, – устрой так, чтобы мы уехали отсюда!

Когда все было кончено, я отправилась домой, зашвырнув книжку в ближайšie кусты.

– Начитала?! – строго спросила мама, карауля меня у подъезда, где массивное бревно подпирало плиту, съехавшую со второго этажа.

– Да, – ответила я. – Но больше не буду! Книжку выбросила, потому что гадание и заговоры это – харам!²

– Тьфу на тебя! – разозлилась мама, но не стала скандалить: все-таки я выполнила ее задание.

С тех пор прошло два года, и у нас появилась возможность уехать.

– Ставрополь! Ставрополь! – Время вернуло меня в салон газели. Мама повеселела, несмотря на то что впереди стояли военные и проверяли грузовые машины.

Нас пропустили достаточно быстро, и, въезжая в город, мы попали под фейерверк. Ночное небо озарилось яркими павлиньими хвостами.

– Видишь, – сказала мама, – это знак! Мы будем жить хорошо! Все наладится!

Я промолчала: меня не восхищал фейерверк, я не могла слышать хлопки и взрывы, от всего этого холодели руки и бешено стучало сердце. Так что для меня это были недобрые знаки.

Мама же, наоборот, любила пальбу.

Мы ехали по оживленным улицам чужого города, и я пыталась разглядеть лица людей, угадать, как им живется здесь, в русском мире.

Асхаб оказался опытным водителем. Он быстро отыскал наше новое жилище, и мы после долгой дороги начали перетаскивать внутрь свой нехитрый скарб.

Рассматривать дом было некогда. Все устали. Да и что увидишь при свете лампочки Ильича?

² По-арабски – грех.

В стене мы обнаружили газовую горелку и дымоход. Это довольно опасный старый метод, чтобы протопить дом. Асхаб помог открыть вентиль, иначе бы мы сразу замерзли. Печка в стене гудела, рычала и нагревалась.

Рассчитавшись с водителем и поев макароны, мы легли спать. Я и мама в одной комнатке на раскладушке, а водитель расположился в восьмиметровой спальне на сундуке, который, как успела предупредить хозяйка, принадлежал ее предкам с восемнадцатого века.

Новое утро показалось мне суматошным. Маленькие оконца с прогнившими деревянными рамами и облупившейся краской перекосило от старости, поэтому помещение не проветривалось. Сквозь ветхие стены внутрь проникали ледяные потоки.

Переодеваться вечером показалось неудобным. Мы с мамой даже платки не сняли. Гость тоже спал, в чем приехал. Ходить по дому решили в уличной обуви: экономия на тапочках.

Две комнатки были только частью странного дома, разделенного на разных хозяев. Хозяйка предупредила: «К другим жильцам, не суйтесь! Они наркоманы!» Мы не стали знакомиться с теми, кто живет через стену, а выглянули в общий двор. У калитки громко матерился мужик в камуфляжной форме.

Я разогрела воду на газовой плите, а мама принесла вареники с картошкой, прекрасно сохранившиеся на подоконнике, как в холодильнике.

– Вы обещали проводить меня до Буденновска, – напомнил Асхаб за завтраком.

Буденновск – это город, в котором Шамиль Басаев однажды захватил роддом. Намерения, как рассказывали сами боевики, были у них благие: они требовали вывести с чеченской земли российские войска и признать независимость Ичкерии. Их требования никто не выполнил, а про Буденновск газеты написали, что случился теракт. Погибли женщины и новорожденные дети. И выяснилось – купить можно абсолютно все: Шамиль Басаев с вооруженным отрядом на каждом блокпосте раздавал иностранную валюту, чтобы их пропустили! Сколько их, этих блокпостов, было во время войны на Ставрополье, сам черт сообразит со счета. Только у Буденновска оказали чеченским боевикам сопротивление. Воюющие за Ичкерию захватили роддом, а до этого хвалились, что дойдут до Москвы.

Асхаб вспоминать этот эпизод опасался. Русским теперь любой чеченец напоминает бородатого Шамиля.

Мы ехали в машине провожать шофера, и каждый думал о своем. Незаметно я задремала, и ко мне пробрались видения из Грозного.

Молодая, веселая мама гонялась за мной и кричала: «Иди сюда, ослиная порода!», но я убегала, ловко прыгая через клумбы с лютиками и медуницами.

– Буденновск! – Мамин голос заставил меня открыть глаза. – Нам до Ставрополя несколько часов на автобусах трястись! Здесь выходим!

– Нет, нет! – взмолился Асхаб. – Еще сто километров!

– Мне с дочкой возвращаться...

— Аллахом заклинаю, не бросайте! – Асхаб едва не зарыдал.

Я смертельно хотела спать.

– Ладно! – согласилась мама.

Через два часа мы вышли на маленькой станции. Мама по-кавказскому обычаю обняла Асхаба, пожелав ему удачи.

С неба срывались снежинки, я приобрела в киоске билеты, и автобус повез нас обратно. По прибытии мы купили продукты на Нижнем рынке и, шатаясь от усталости, побрели в съемное жилище. Возле нашей калитки уже крутилась незнакомая пожилая женщина, как оказалось, – соседка.

— Я живу в настоящем доме с фундаментом! – сообщила она. – А вы поселились в бывшей конюшне. Вы знаете, что сняли конюшню? После войны с фашистами ее переделали в жилое помещение, но там все равно холодно...

– Наша фамилия Жеребцовы, – ответила мама.

Соседка захохотала.

– Тогда все в порядке, вам по адресу! – отсмеявшись, сказала она и представилась: – Меня зовут Клавдия Петровна. Я бывший педагог, сейчас на пенсии.

Клавдия Петровна перешла на шепот:

– Видите тот домик и другой... чуть поодаль? – спросила она и, не дожидаясь нашего ответа, добавила: – Рядом с вами живет реци-

дивист, его весь двор боится, здесь обитает милиционер, он воевал в Чечне и повредился рассудком, а там притон: проститутки у себя мафию принимают.

– Хозяйка жилья сказала, что у нас за стенкой наркоманы, – вставила я.

Клавдия Петровна махнула рукой:

– Это безобидные алкаши! Могут только деньги отобрать или отжать телефон! Не бойтесь, они не убийцы. А вот те три домика нехорошие. Я вас предупредила.

Пенсионерка проворно шмыгнула в свою дверь.

Выпив чай с бутербродами, я открыла тетрадь и написала следующее:

Привет, Дневник!

Похоже, мы упали на самое дно, поселившись в нищенском квартале. Это место, где обитают отбросы общества.

Другое жилье нам снять не по карману. В двух крошечных комнатках, бывших некогда частью конюшни, стоят старые железные кровати (начало XX века) и такой же по возрасту шкаф. Маленькие окна-клетки, сквозь которые едва видно небо, не открываются. Отопление в жилье газо-печное, т.е. это газовая трубка в стене. Никаких батарей. Пол представляет собой тонкий слой бетона, разлитого на землю. Нет фундамента. Подвесной ретро-абажур из оранжевой ткани давно распробовала моль.

Снять квартиру с ванной и нормальным отоплением намного дороже.

Здесь нет горячей воды. Миниатюрный нагреватель сплошная бутафория.

Как мы выберемся из этой переделки?

П.

... Я отправилась в редакцию газеты «Ставропольский этап».

От публикации материала, оставленного главному редактору, зависело: возьмут меня в штат или нет? Смогу я дальше работать журналистом?

Проработав пару лет в газетах и журналах Грозного, я хотела

продолжить дело своего деда Анатолия – журналиста и кинодокументалиста.

Главный редактор Луковица в телефонном разговоре предупредил, что решил опубликовать одну из моих статей, принесенных в редакцию ранней зимой.

– Полгода придется работать бесплатно, – пояснил главный редактор. – Ни на какую зарплату не рассчитывай!

Я была на все согласна, лишь бы заниматься любимым делом.

Статья, отобранная Луковицей, рассказывала, как на мирный грозненский рынок в 1999 году неожиданно свалилась российская ракета «земля-воздух». Публикация данного материала являлась показательным моментом: есть ли возможность публиковать о чеченской войне правду? Это очень волновало меня.

– Полина, зайдите в кабинет к нашему фотокорреспонденту, – попросила консьержка, сидящая у дверей.

Фотокорреспондент Шишкин оказался сухоньким поджарым мужчиной шестидесяти лет с плутовскими, постоянно бегающими глазами. Как только он увидел меня, то оцетинился, но вслух ничего не сказал. Помимо него в кабинете находились другие сотрудники газеты.

– Твой материал отредактировали и подготовили к печати, – надменно произнесла Бизе. – Какая честь для тебя! Но помни: нам важно согласие с редактурой!

Поскольку ударение заместитель главного редактора сделала на словах «важно» и «редактура», меня это насторожило. Я с интересом всмотрелась в экран монитора.

Материал был уже сверстан и подготовлен к печати. Текст не просто отредактировали, его полностью переписали, подставив мою фамилию. В глазах потемнело, когда я беззвучно прочла: «Боевики-чеченцы из самодельных ракетных установок обстреляли на грозненском рынке женщин и детей».

Меня затрясло от негодования.

– Что это такое?!

Находившийся тут же в кабинете старший корреспондент Лазарчук спросил:

– Что не так?

Я объяснила:

– Мне эту ложь приписывать не надо! Здесь стоит моя фамилия. Я прекрасно знаю, чьих это рук дело. Там погибло много мирных людей! Это была русская ракета!

Высокий голубоглазый Лазарчук покорно стер фразу «боевики-чеченцы» и «самодельные установки». А Шишкина затрясло от ярости.

– Как ты смеешь утверждать, что это были не боевики-чеченцы?! – взвизгнул он. – Даже если это была российская ракета! Неважно! Надо убивать всех чеченцев – детей, женщин и стариков! Все равно кого! Каждый их труп – победа России!

Шишкин тяжело дышал, его ноздри раздувались, как у быка на испанской корриде:

– Когда упала на чеченский рынок ракета «земля-воздух», я был в Моздоке. Этот город недалеко от Грозного. Я все знаю!

На это я ответила:

– Вы находились в Моздоке, а я была на рынке, куда упала эта проклятая ракета! У меня были осколки в ногах! Я перенесла четыре операции! Кто лучше знает о том, что там было: вы или я?

– Это был рынок бандитов! Там продавали оружие, патроны! – продолжал истошно орать фотокорреспондент. – Жаль, мало людей убило ракетой! А раз ты была на том рынке, ты знаешь всех чеченских боевиков и должна выдать их ФСБ. Если не захочешь – десять лет тюрьмы! Десять лет! Мы заведем на тебя уголовное дело! Ты свое получишь!

Еще мгновение, и гневные слова выплеснулись бы на Шишкина. Но старший корреспондент крепко схватил меня за талию и потащил прочь.

Зажимая ладонью мне рот, а другой рукой волоча к выходу, Лазарчук громко кричал:

– Не смей высказывать свое мнение! Россия все делает правильно! Наши военные самые лучшие! Мы гордимся властью! Путин молодец!

У лестницы, ведущей вниз, Лазарчук меня отпустил.

– Молчи! Молчи! – зашептал он. – Шишкин никакой ни фотограф, он работает на спецслужбы и здесь под прикрытием. Меняй место проживания. Он вас не оставит в покое. Спасай мать и себя! Что же ты наделала, глупая-преглупая девчонка!

Но я была так возмущена, что оттолкнула старшего корреспондента и закричала на всю редакцию:

– Если хотите увидеть боевиков-чеченцев, зайдите в любое отделение милиции города Грозного! Они забыли, что воевали за Ичкерия и присягнули новой власти! Рынок, куда попала российская ракета, был мирным! Там продавали картошку, сыр и помидоры! Подлые убийцы убили женщин и детей!

Я помчалась вниз, не разбирая ступенек, и едва не сломала шею, столкнувшись с главным редактором.

– Вы представляете, – кричала я, – в вашей редакции все врут! Здесь гнездятся спецслужбы и запугивают людей! В тюрьму, говорят, надо меня отправить! На десять лет! Потому что я «много видела» на чеченской войне!

Луковица почесал в затылке:

– Шишкин у нас больной на всю голову. И на остальные места тоже!

Полина Жеребцова – писатель-документалист, поэтесса. Автор пяти антивоенных книг о Кавказе.

Родилась в 1985 году в г. Грозном и прожила в Чечне почти до двадцати лет. В 1994 году начала вести дневники, в которых фиксировала происходящее вокруг.

Лауреат международной премии им. Януша Корчака сразу в двух номинациях (за военный рассказ и дневниковые записи). Финалист премии А.Сахарова «За журналистику как поступок».

Получила политическое убежище в Финляндии, в 2017 – финское гражданство.

Книги П. Жеребцовой переведены на ряд языков мира.

Евгений СЛИВКИН

ИЗБРАННЫЕ СТИХИ

Мой старик (а может, и ничей),
от тебя достанутся мне скоро
полые фигурки циркачей
из малобюджетного фарфора.

Вот они, как будто на поверке,
в масках одинаковых гримас
там в углу стоят на этажерке,
мною пересчитаны не раз.

Тушью из глазных стекает впадин
клякса на малиновый пиджак:
этот клоун найден, тот – украден
или даже куплен за пустяк.

Я их всех раздам в чужие руки,
потому что стал с течением дней
этот цирк приютом смертной скуки
и давно не зажигал огней.

В пустую стену ввинченный шуруп
устанется на вас, едва войдёте.
В углу вздохнёт знакомый полутруп, –
незрячие глаза живут вне плоти.

Да, это он, безвестный мой родитель,
с недавних пор – объект чужих забот.
Не оставайтесь долго, уходите,
а то зашелестит беззвучный рот.

Здесь на подносе грязная посуда
и у стены железная кровать...
Он просит: «Забери меня отсюда...»,
но, кроме сердца, некуда забрать.

Не ведает Родина боли
за судьбы своих сыновей,
и бабьей зарёванной роли
не надо навязывать ей.

Она без любви изнывает,
но только скажи о ней: «Мать!» –
насупится и призывает
Отцу-командиру внимать.

И тем, кто её не меняет,
и судеб не поменять.

ВОПРОС ЛИТЕРАТУРЫ

Когда б гонимый морем по пятам –
в шинели Одиссея краснофлотской –
из дальних мест вернулся Мандельштам,
то стал бы он писать как Заболоцкий?
Переводил бы «Слово о полку»,
как все они – от мала до велика,
и ставил в эпохальную строку
на лесосплаве найденное лыко?..

НОЧЬ ПОБЕДЫ

Где по равнинам комполка
катил кровавый ком полка,
встаёт изъеденная кость
и поднимает честный тост
за командиров и отцов,
ловивших пули на живцов.
И от солдатского вина
скудеет вечная вина.

КОМАРОВСКАЯ МИСТЕРИЯ

Памяти Е. Шварц

Не белый олень шотландский
пришёл за ней (не довелось!),
а мрачный ингерманландский
в болотах намокший лось.

А хоть бы и за оленем
в туман ушла и в мираж!
Была она наш современник,
но не сопостранственник наш.

Безмолвно кружила над Финским
заливом безглазая лжа,
и Анна Андреевна сфинксом
в сторожке на курьих жила.

Сидела у печки день и
ночь, разверзая зев,
и в лес роковых видений
она не впускала дев...

До старости брёл подросток
по краю лесных болот,

и не воздвигла из досок
судьба для него эшафот.

Он верил, что не отрубят
сердце на ближнем пне,
и выткан Святой был Губерт
в глазной его пелене.

Из-под родительского крова
за нежной флейтой Крысолова
гуськом дошкольники ушли
на дно реки. На край земли.

Остался город у реки,
в котором, как везде на свете,
впадали в детство старики
и медленно старели дети.

На крыши опускалась мгла,
потом сползала на карнизы...
Когда надежда умерла,
в кладовку возвратились крысы.

Я убедил себя, что счастлив,
не предоставив доказательств,
и этим вывел из-под власти
необратимых обстоятельств.

И жизни мутное течение
иное обрело начало,
но тихо на червя сомненья
моё отчаянье клевало.

Чертил, считал – науки поддавались! –
брал голыми руками интеграл,

и женщин, если те не отдавались,
по молодости лет не понимал.

Я так желал в любви казаться докой,
и лез к ним со студенческой скамьи —
к тем женщинам, улыбкою далёкой
встречавшим ухищрения мои.

Мне сопромат не отбивал охоту,
и – на язык от злости островат –
с катушек я съезжал, как астронавт
Нелюбов, не допущенный к полёту.

Ни равенства, ни братства не хотел
в запале я признать перед законом
взаимного влечения юных тел,
что не был сформулирован Ньютоном!..

Они в недоброй памяти мертвы,
а в доброй – будут жить в углу заветном,
те женщины, мерцая тихим светом
какой-то потаённой правоты.

ЖИВОЙ УГОЛОК

Как смотрят на меня, однако,
усевшись рядом у окна,
голубоглазая жена
и разноглазая собака!..

Они печальные, не злые –
я с ними дожил до седин;

у них три глаза голубые,
а жёлтый глаз – всего один.

И мысль с оттенком негодяйства
на ум приходит неспроста:
взять желтоглазого кота
с помойки для домохозяйства.

ВОРОН

Неужто я такой просторный,
что у меня кружит внутри
неотвратимый ворон чёрный
из той чапаевской, фольклорной,
не затихавшей до зари!

В потёмках ворон говорящий
летает, крылья распахнув,
и для таинственности вящей
молчит о жизни предстоящей —
не разверзает вещий клюв.

Он ждёт, сейчас я перетрушу
и стану каркать: «Караул!»
А я молчанья не нарушу.
Залез бы кто-нибудь мне в душу
и шею ворону свернул!

ПРОЕЗДОМ

По рельсам путь не близкий и не дальний,
и город проплывает за окном,
провинциальный, но индустриальный,
из общей географии знаком.

Здесь мальчики старательно не помнят
из хрестоматий школьных ни черта,

пока ещё клиенты детских комнат
милиции – с ухмылкой у рта.

А девочки прокалывают уши,
на кофточках защёлкивают брошь,
и сами в руки падают, как груши
поспевшие, – уж замуж невтерпёж!

А в общем, жизнь и лучше, и трезвее,
не так-то просто в ней найти изъян:
на стенде в краеведческом музее
светлеют лица красных партизан.

Я мог бы здесь, о чём-нибудь мечтая,
жить и работать до скончания лба,
когда бы улыбнулась мне простая
и с виду неприметная судьба.

Поэт о себе

Я родился в Ленинграде в семье инженера путей сообщения и учительницы истории. Окончив физико-математическую школу, я по настоянию родителей поступил во ВТУз и через шесть мучительных, но веселых, лет выучился на инженера-механика. Это были 70-е годы, я ходил в ЛИТО Д.Я. Дара и А.М. Ельянова «Голос Юности».

Первая моя более-менее серьезная публикация появилась в альманахе «Молодой Ленинград» в 1981 г., потом в журнале «Литературная учеба» в 1984 г. К тому времени я уже заочно учился в Литинституте и надолго выезжал в Москву на циклы лекций и сессии. В середине 80-х я начал внештатно работать в редакции Художественного вещания Ленинградского телевидения, писал и снимал сюжеты для программы «Монитор», потом, уже в перестройку, участвовал в создании программы «Пятое колесо».

В 1993 г. я по сугубо личным обстоятельствам с женой-американкой переехал жить в США; первые два года в Новом Свете провел в Вашингтоне, где по контракту преподавал русский язык в Джорджтаунском университете и русскую поэзию XIX века в университете Джорджа Вашингтона. В 1995 г. я поступил в славист-

скую аспирантуру Иллинойского университета в Урбане-Шампейн и нашел там лучшее из всего, что дала мне Америка – мою коллегу-славистку Кирстен Рутсала; после моего развода Кирстен стала моей женой.

Сейчас я преподаю в университете Денвера.

У меня вышло пять сборников стихов; два до отъезда, три после, но тоже в России – в Питере и в Москве. Я опубликовал около двух десятков исследовательских статей по русской литературе XIX и XX веков. Если у меня и есть творческая позиция, то очень простая: держаться особняком, не бояться пустоты вокруг, прислушиваться к себе, не следовать поэтической моде.

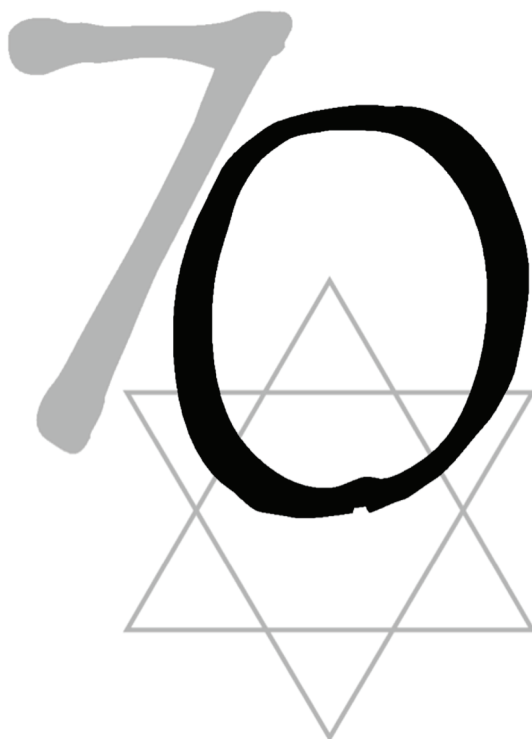
От редакции

К тому, что автор этой поэтической подборки рассказал о себе, добавим несколько точных слов из издательской аннотации к его недавней книге «Над Америкой Чкалов летит» (Москва, «Образ», 2018): «Евгений Сливкин – один из самых ярких и необычных поэтов русского зарубежья».

70 – ПОЭТИЧЕСКИЙ СБОРНИК В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ИЗРАИЛЯ

70 – поэтический сборник, посвященный юбилею Государства Израиль, которое было провозглашено 14 мая 1948 года. В книгу вошли стихотворения 70-ти современных русскоязычных поэтов из разных стран мира на темы еврейства и Израиля. В проекте приняли участие авторы из Израиля, США, России, Украины, Беларуси, Латвии, Эстонии, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Швеции, Ирландии и Австралии.

© Издательский дом КРiК/KRiKPublishingHouse



Елена АКСЕЛЬРОД*(Израиль)*

Возил по местечку тележку с пивом
Дедушка мой, торгуя вразлив.
Глядел на мальцов своих глазом тоскливым –
Бумагу марают, свечу запалив.
Горькое пиво – пенная грива –
В кусты откатились пробитые бочки.
Громили, куражились – это не диво,
А диво, что сын свои складные строчки
Читал нараспев – и за это в погром
Попал самый чёрный – и жизнь кверху дном.

Мой беженец-дед в путь отправился дальний,
Дремал под картузом на лавке вокзальной,
О сыне не знал, лишь в бреду его звал,
Когда прикатил на последний вокзал.
Горькое пиво – белая грива –
Остался он в строчке несуетливой,
Да на портрете у сына другого.
Переселился в рисунок и слово.
С лавки вокзальной – на полку музея –
Деду не снилась такая затея,
Деду не снился такой оборот:
Мазила – один, а другой – рифмоплёт.

Светлана АКСЁНОВА-ШТЕЙНГРУД*(Израиль)*

Прекрасная, несчастная страна –
беспечная, бесстрашная, шальная,
где длится бесконечная война,
где праздников безудержных волна
солдатский пот и слёзы вдов смывает,
где терпкий вкус веселья и вина,

и где свечей субботних тишина
колодцы душ заблудших освещает.

Единственная, странная страна,
которой эта вечная вина,
быть может, потому присуждена,
что обитать отважилась она
в неосторожной близости от рая...

Лера АУЭРБАХ

(США)

ИСХОД

Где высокая правда казнила глупцов,
Где Египет не спас Иосиф,
Где народ малодушно роптал на жрецов,
Говоря, что лишь хлеба просит,

Что зазря избрал его из горсти
Других и к свету направил
Тот, чье имя произнести
Смертный простой не вправе –

Там и ныне свершается вечный Исход
Из Египта в каждом из нас.
Каждый час в одиночку и как народ
Мы решаем судьбы своей глас.

И всё то же чудо пред нами горит,
Лишь раскрой пошире глаза.
То пустыня, то море путь преградит –
Тяжело, но не верить нельзя.

Если держишь в душе священный Завет,
Если вера тебе дана,

То увидишь в туннеле желанный свет –
То – обещанная страна.

Ян БРУШТЕЙН

(Россия)

Мой брат бородат, преисполнен огня
И радостной веры.
Возможно, мой брат осуждает меня,
Надеюсь, что в меру.
Он беден, и ноша его велика:
Всевышний да дети.
В его бороде утонули века,
В глазах его ветер.
Он там, где ракеты летят во дворы,
Он вместе со всеми.
Лежат между нами века и миры,
Пространство и время.
Молись же, молись, чтобы здесь, на звезде,
Огни не погасли...
Приехал ко мне на один только день –
Я плачу, я счастлив.
Его поджидают судьба и хамсин,
Пути и потери.
Что делать, так вышло, он Божий хасид,
И ноша по вере.

А я, стихотворец, вовеки неправ,
И верю не слишком...
Печаль моя, свет мой, возлюбленный рав,
Мой младший братишка.

Татьяна ВОЛЬТСКАЯ*(Россия)*

Ах, скажите, скажите скорее,
Где, поляки, ваши евреи?
Где торгуют они, где бреют,
Лечат, учат, флиртуют, стареют,
Проезжают в автомобиле?
Почему вы их всех убили?

Ах, скажите, скажите скорее,
Где, литовцы, ваши евреи?
Где такие ж, как вы, крестьяне –
Те, кого вы толкали к яме,
А кто прятался на сеновале –
Тех лопатами добивали.
Между сосен, янтарных кочек
Не положите им цветочек?

Ах, скажите, скажите скорее,
Где, французы, ваши евреи? –
Адвокаты, врачи, кокетки,
Дети с вашей лестничной клетки,
Те, которых вы увозили
Ранним утром – не в магазины –
К черным трубам, стоявшим дыбом,
Чтоб соседи взлетели – дымом.

Ах, скажите, скажите скорее,
Где, голландцы, ваши евреи? –
Часовщик, поправляющий время,
И кондитер, испачканный в креме,
Где рембрандтовские менялы?
На кого вы их променяли?
Почему вы их выдавали?
Почему вы их убивали?

Ах, скажите, скажите скорее,
Где, британцы, ваши евреи,
Те, кому вы не отперли двери?
Пепел их – на земле, в траве и
В вашем сердце, что всех правее.

Ах, беспечные европейцы,
Эти жёлтые звёзды, пейсы,
Полосатых призраков стаи
В вашем зеркале не растаяли.
По ночам в еврейском квартале
Ветерок шелестит картавый.
Как вам дышится? Как вам спится?
Не тошнит ли вашу волчицу
С бронзовеющими сосцами?
Подсказать? Или лучше сами?

Владимир ГАНДЕЛЬСМАН
(США)

ИЗ ПСАЛМОВ ДАВИДА

Спаси, Господь! В чести соблазны
лукавых: «Кто нам господин,
когда державным словом властны?»
Кадильщики все как один.

Лишь нищему Ты явлен в Силе
и лишь творящему добро
Твои слова – семь раз в горниле
очищенное серебро.

Повергни криводушных в известь
горящую, чтоб извести
их племя, – здесь, где только низость
и велеречие в чести.

Игорь ГУБЕРМАН
(Израиль)

Пришёл в итоге путь мой грустный
кривой и не принципиальный,
в великий город захолустный,
планеты центр провинциальный.

Здесь моё исконное пространство,
здесь я гармоничен, как нигде,
здесь еврей, оставив чужестранство,
мутит воду в собственной среде.

Еврейский дух слезой просолен,
душа хронически болит:
еврей, который всем доволен –
покойник или инвалид.

В евреев мир утратил веру,
никак не может мир понять
евреев наглую манеру
отпор убийцам учинять.

В Израиле мой дом, и мысли здешние
во мне сочатся, грустные и честные:
Израилю враги опасны внешние,
но столь же – идиоты наши местные.

Ни мечтой себя не греем,
ни надеждами благими:

вряд ли мир простит евреям
то, что вечно делал с ними.

Не водятся в нашем душевном стакане
уныние, вялость и квёлость,
евреи веками живут на вулкане –
отсюда и наша весёлость.

Я живу в загадочной стране,
где живётся трудно и опасно,
и где ты всё время на войне,
только здесь и гибнешь не напрасно.

Керен КЛИМОВСКИ
(Швеция)

ИЕРУСАЛИМ 2000. ИНТИФАДА

1

Я любила наугад и без спроса
сесть в автобус и заснуть – заблудиться,
от коленок и до кончика носа
было страшно, но потом мог присниться
этот город – наизнанку, навыверт,
оседающий по-старчески наземь,
кривизна домов, неба вывих
рассыпались, как игрушечный пазл.
Проездного бутафорский квадратик
возвращал меня в автобус, в котором,
спал в обнимку с автоматом солдатик,
а хасид – с потрёпанной Торой.

2

Так жарко – даже камни потеют, оскалив рты,
и крика не отличить от немоты.

А ночью опять колыбельную мне споёт
пулемётная очередь – видно, не устаёт
еврейский Бог стоять начеку у шатра,
и перестрелка в Гило – опять до утра...

Касаюсь рукой загорелого, жаркого лба,
и брежу в никуда, без цели – может, судьба –
это толстая, рыжая кошка у Яффских ворот:
спит в пыли, потому что знает всё наперёд...

Юрий КОЛКЕР

(Великобритания)

На свете есть страна, где я не буду лишним:
Где хлебом и водой меня не попрекнут,
Где именем моим толпа не оскорбится,
И лучший мой порыв не назовут чужим.

На свете есть страна, где званье человека
Величьем предков мне не нужно искупать,
Не встретят там мой стон холодной издёвкой,
Не станет боль моя народным торжеством.

На свете есть страна, где мысль мою не свяжут,
Где гордости моей ярмом не оскорбят,
Где с барского стола за честное холопство
Меня не поощрят вчерашним пирогом.

На свете есть земля скорбей тысячелетних,
Прогорклая земля пророческой мечты.
Она – не рай земной: но мне найдётся пища.
Она неширока: но мне найдётся кров.

Она – моя страна, и в ней мое бессмертье,
Я – злак её долин, я – прах её пустынь.
В её земле взойти, с её землей смешаться –
Вот всё, о чём молюсь, вот всё, о чём скорблю.

Анатолий КУДРЯВИЦКИЙ
(Ирландия)

БУКВЫ ГОРЯЩЕЙ КНИГИ
Еврейское кладбище под Франкфуртом

Асе Шнейдерман

Кладбище? Не кладбище?
Begräbnisstätte. Место захоронения.
Калитка намертво заварена.
Оплакивайте извне.
Памятники выстроились вдоль стены,
ждут залпа
из дула скворечника.
Этих не убили пулями,
этих убило время.

Вспоминаешь о мертвых,
о живых,
что ускользнули от костров, погромов и лагерей
в двадцать первый век,
о том, что буквы горящей книги
пляшут в огне не всегда –
и не всегда буквально.

Юрий МИХАЙЛИК*(Австралия)*

Млечный Путь, И в поисках ночлега
Век из века катится телега.
Притяжение и отторжение –
Лучший способ для передвиженья.
По обломкам рухнувших империй,
Через гравий вер и суеверий
Колеса дробящее кружение –
Притяжение и отторжение.
Это было болью и любовью,
Нашей стариной и нашей новью
На камнях Египта или Рима...
Все уже без нас. Отдельно. Мимо.
Ибо нам разрешено судьбою
Только то, что можно взять с собою,
И от Вавилона до Гранады
Виноватых нам искать не надо.
Граждане цыганские евреи,
Мы играли в этой лотерее,
Мы галдели в этом балагане
Граждане еврейские цыгане.
Странники, изгнанники, бродяги...
Ямы, рвы, канавы и овраги...
И повсюду нам принадлежали
Только те, кто в этих рвах лежали.
По золе Варшавы, сквозь руины,
Через смрадный морок Украины –
Только то, что можно взять с собою.
Что там – кроме памяти и боли?
Что там – кроме нежности и муки –
В узелковых письменах разлуки?
Притяжение и отторжение –
Мировая формула движенья.
Плыло болью. Застывало былью.
Звёздной солью. И подзвёздной пылью.

Альтаир. Арктур. Капелла. Вега.
Век из века в поисках ночлега.
Грозный гул. Кибитка кочевая.
... Блеск костра меж звёзд опознавая...

Борис ХЕРСОНСКИЙ
(Украина)

нас выпалывали на огороде как выпалывают сорняки
с корнем не суйся с корнями своими в наш огород
в государстве железной маски и железной руки
живут волевые люди и звери хищных пород

травоядные здесь не водятся мы когда-то были травой
мы желтели цветами звёздами шесть углов
наши дети как одуванчики с пушистой головой
наше семя разносит ветер наши речи обрывки слов

их бы складывать как мозаику в церкви или в игре
но они шелестят как положено как трава на ветру
наши души плещутся в облаке как на вечерней заре
плещется рыба в пруду а рыбак наблюдает игру

травоядные здесь не водятся царствует дух мясной
железные маски на лицах страна в железных руках
откуда им знать что мы вновь прорастаем весной
расцветают желтые звёзды на платьях и пиджаках

сколько нас не выпалывай цветение опережай
мы трава полевая бессмертны корни травы
и если кто-то и выйдет наш собирать урожай
то это будут ангелы ангелы а не вы

Григорий ПИСАРЕВСКИЙ

НОЧНЫЕ ТЕНИ

По высокому «кафедральному» потолку, как всегда чуть шурша, одна за другой пробежали бледные тени, и я не поленился, встал, плотно задёрнул тёмно-бордовые шторы. Бегущие тени ушли, но появились другие, колышущиеся и дрожащие. У теней имелись лица, одни смутно знакомые по прошлым временам, другие непонятно чьи, а может быть, просто забытые. Ночь тихой, холодной, туманной пеленой обволокла дом, а внутри было приятно, воздуховоды послушно несли тёплые потоки, уютно пощёлкивали своими тонкими алюминиевыми стенками. Казалось бы, спи себе и спи, дрыхни, один на широкой, «королевской» кровати (вот уже четвёртый год мы с женой, поцеловавшись, расходимся на ночь в разные комнаты). Ан нет, тени кружатся и кружатся на потолке, я вижу их даже сквозь крепко стиснутые веки.

Ловлю себя на том, что пальцы рук собраны в кулаки, зубы сжаты, мышцы вокруг глаз бессмысленно напряжены. С усилием расслабляю их, разжимаю зубы и пальцы, представляю себя белой чайкой, парящей в тёплых потоках воздуха над Карибским морем. Не шевеля губами, повторяю любимую мантру. Нет, пересохшие губы всё-таки шевелятся, но какая разница, мне становится легче, я чувствую, как разглаживается кожа лба, разгибаются пальцы на ногах (ага, и они были напряжены). Ощущаю, как свободно и с наслаждением дышу полной грудью, воздух заполняет лёгкие, мышцы расслабляются, может быть, сейчас я наконец усну. А тени пускай подождут. Но сон, такой близкий и манящий, бесцеремонно отгоняет выплывающая из-за чьего-то зыбкого плеча Володькина физиономия.

– Марк, ты зачем рассказал им тогда, весной, что я много пью?
– ехидно спрашивает Володька. Его широкий лоб собран в морщины, остальное лицо скрыто за плотным туманом. Негромкий голос звучит обиженно.

– Так ведь я должен был им что-то дать. Хоть что-то, Вовчик. Хорошее или плохое.

– И ты выбрал пьянство?

– Да, взял и сказал им, что ты бухаешь. Выбрал самое безобидное. Самое, можно сказать, верноподданническое. А что? Веселие Руси есть питие. Кто не пьёт, тот размышляет, это ещё царские жандармы подметили. А если пьёт – значит, наш человек, водкой проверенный.

– А про меня ты что говорил? – вмешался Лагунов. Он как-то незаметно материализовался из смутной толпы теней и вытянулся во весь свой немалый рост рядом с замолчавшим Володькой. – Ты что-то говорил им про меня, я знаю, можно сказать, чувствую. Даже и не думай отнекиваться. А ведь я помог тебе достать путёвку в Джанхот. Помнишь, Марк? И это я добился, чтобы тебе дали характеристику для турпоездки в ГДР.

– Меня все равно не утвердили...

Тени Володьки и Лагунова медленно двинулись навстречу друг другу, как дверные створки, совместились, потом расплзлись в стороны и исчезли, словно растворились всё в том же мутном тумане. Зато появились, выступили вперёд две другие тени, гораздо отчётливее всех прочих. И это уже были *они*.

– Вы, Марк Борисович, совершенно не будете обязаны сообщать нам только однозначно негативную информацию, – приятным баритоном сообщил один из *них*, широкоплечий, спортивного вида, коротко стриженный блондин в роговых очках. Его открытое лицо портила, и довольно сильно, одна деталь – слишком малое расстояние между кончиком носа и крепким, мужественным ртом. Второй, худощавый брюнет с неприметной внешностью, согласно покивал. В хороших тёмно-синих костюмах с подобранными в тон галстуками, *они* составляли прекрасно сыгранный дуэт. Но тут откуда-то сбоку выскочил и вмешался в разговор никем вроде бы и не званный Исидор Вагаршакович Хатунян. А те двое неспешно отступили куда-то в глубину, затерялись, но я знал – *они* ждут где-то поблизости, рядом.

– Вот вы, Марк Борисович, сообщили им, что я рассказываю антисоветские анекдоты, – Хатунян откинул свою лысеющую голову и глубоко вздохнул. – Без этого никак не могли обойтись?

– А вы вечно интриговали против меня, Исидор Вагаршакович. Ходили к замдиректора, что-то там нашёптывали...

– Мне нужно было увеличить финансирование для своей группы. Два замечательных экспериментатора собрались от меня уходить. Ваша тема неоправданно перетянула на себя выделенные нам ресурсы.

– Ну вот видите...

Боролись бы в открытую. Доказывали на учёном совете... А вы сразу к ним.

– Не сразу... И вообще, с вами же ничего не случилось.

– Э, нет. Вызывали в партком, помотали нервы. Не пустили на конференцию в Чехословакию.

– Идите-ка вы к черту!

Я сосредоточил всю свою волю в одной точке и послал ему мысленный импульс удалиться. Хатунян скрылся за другими тенями. Тут же опять появились *они*.

– Мы хотим знать и хорошее. Кому можно доверять, кто полностью поддерживает политику партии и правительства. Вы знаете, мы всегда можем помочь таким людям. Поверьте, у нас большие возможности – он взглянул на своего напарника, брюнета, и тот вступил в игру, как первая скрипка по знаку дирижёра. Только это была не игра.

– Вот смотрите, вы уже 8 лет младший научный сотрудник. Диссертация готова, но её не никак не могут утвердить к защите. У вас сколько опубликованных статей, десятка полтора?

– Да. Четырнадцать.

Они, конечно же, серьёзно подготовились.

– Ну вот. Два изобретения. А на конференции ездите только в Пензу.

Он помолчал. Другой, блондин, разминал пальцы, глядел дружелюбно, даже слегка переигрывал с этим дружелюбием.

– Мы знаем, что вы думаете об этом. Вам чинят препятствия из-за пятой графы. Так ведь?

– Да, так, – я хотел ответить без всякого вызова в голосе, но не вышло. Вызов все-таки прозвучал.

– Давайте, я вам кое-что объясню – опять вмешался широкоплечий блондин. – Вот вы считаете, что это несправедливость. Я вас

понимаю, Марк Борисыч. В отношении лично вас – да, возможно, это несправедливо. Но взгляните на вещи шире. В нашей, так сказать, системе координат.

Тут же *они* исчезли, забылись на время, а из мешанины теней, как когда-то давно выступали лица из фотопроявителя, выдвинулся Сергей Никитич Лыков, персоне солидная, внушительная, наш зав. отделением из шести полновесных отделов.

– Мне отлично известно, кто вёл разработку, Марк Борисович, – пророкотал он, неодобрительно буравя меня жёсткими светлыми глазами поверх набухших синеватых мешков, – это был коллективный проект, там участвовали...

Поведя слева направо своей крупной львиной головой, Лыков справился с коротким текстом лежащего перед ним отдельного листа бумаги:

– Карнаухов и Попов. Да и Федоренко немало помог, не так ли?

– Основную линию вёл я, Сергей Никитич. Фактически, я уже давно выполняю обязанности старшего научного...

– Вот опять вы себя выпячиваете, дорогой. Скромности в вас маловато. Вот защититесь, подадим представление на учёный совет... Придёт и ваш черёд получить свои пироги и пышки. А пока что...

Нет, не было этого разговора, не могло быть. Не мог я пойти со своими делами к самому Лыкову. Или все-таки был? В какой-то момент я дошёл до точки кипения – сколько можно молчать, пойду и объясню, что с меня хватит, надоело.

– Стало быть, я, по-твоему, бухарик? – из-за плеча Сергея Никитича опять выскочил обиженный Володька. – А ты со мной не бухал? Ещё как бухал!

Ну конечно, Вовчик, мы не раз выпивали с тобой и в праздники, и после работы, и на дне рождения друг у друга, особенно в первые годы после твоей и моей женитьбы, и на сабантуях в институте, и в открывшихся тогда повсюду рюмочных. Ты мог выпить больше чем я, но и я в то время тоже чего-то стоил. Один раз в ресторане «Горка» мы с тобой спьяну завелись с какой-то большой компанией, потом еле унесли ноги. Что же мне было сказать им про тебя, поганец ты этакий? Что ты шпион Далай-Ламы?

– А зачем ты заставил меня сделать аборт? – откуда не возьмись

высунулась из-за ждущих своей очереди теней Надька, моя подруга времён защиты диплома, и оттеснила настырного Володьку. Надька, милая ты моя. Такая ладная, всегда благоухающая, с искрящимися зелёными глазницами, такая изобретательная в постели.

– Ты знаешь, что мы с мужем потом так и не смогли иметь детей? Знаешь ты это, гад? В конце концов усыновили пацанёнка, а он вырос и нас вчистую обобрал. Ты это знаешь?

– Нет, – бормочу я. – Ведь мы больше не виделись после этого дела. Я нашёл тебе деньги на аборт, договорился с хорошей врачом, встретил тебя из больницы...

– На хера мне твои встречи! – заверещала Надька, и я протянул руку чуть вправо и вверх и включил свет. Все тени сразу пропали.

Было очень тихо, айфон показывал двадцать минут третьего. Неужели мне больше не уснуть, я же знаю четыре методики релаксации? Надо попить воды, лечь поудобнее и спокойно пройти все стадии погружения в сон, начиная с перенастройки чакр. Ведь я здесь один в спальне, жена спит за стеной, дети давно живут отдельно и у них всё, в разумных пределах, хорошо.

Нет, никуда они не пропали, эти говорящие тени. Вот они здесь, голубчики. Опять мучают, охмуряют, долбят мозги, носятся взад-вперёд большими чёрными птицами. – Вы человек умный. Давайте я вам все объясню, – говорит спортивный блондин, очевидно старший в чине из тех двоих. – Процент евреев – докторов и кандидатов наук в вашем институте слишком велик. А ведь ваше учреждение, как, разумеется, и все остальные, находится на бюджете государства. Следовательно, все нации и народности должны иметь равный доступ к учёным степеням.

– А почему бы не позволить всем просто-напросто участвовать в равноправной конкурентной борьбе?

– Потому что тогда наступит засилье одной национальной группы над всеми остальными. И вам же, евреям, будет хуже. Усилится антисемитизм. Мы пытаемся этого избежать.

Он помолчал. Я тоже молчал, потрясённый его дикой, гнусной, многократно использованной в истории логикой.

– Видите, мы с вами откровенны. Таковы правила управления, мы просто обязаны регулировать национальные пропорции. Но в каждом отдельном случае мы можем помочь. Тем, разумеется, кто

помогает нам. Соглашайтесь, и я вам гарантирую – через год-полтора будете кандидатом наук и старшим научным сотрудником. Всё зависит от вас, дорогой мой. По рукам?

Он покровительственно произносил «дорогой мой», хотя выглядел старше меня всего на год-другой, не больше. Он не в первый раз проводил такие беседы и был уверен, что сможет добавить ещё одну успешную вербовку к своему рапорту о выполнении месячного плана. Ведь у *них*, как и у всех прочих, существовали планы: месячные, квартальные... И премия *им* светила, а не только звёзды.

Я, конечно, не стал кандидатом за год. Это заняло, с утверждением ВАКом, два с лишком, почти три. И ещё полтора года понадобилось, чтобы меня повысили до старшего научного. Но ведь повысили же! Контора Глубокого Бурения слов на ветер не бросала. А ещё из головного института мне подкинули договорную тему, дали фонды на группу из четырёх единиц. Я работал как железный трактор. Зато моя зарплата круто возросла, мы с Аней смогли наконец каждое лето вывозить девочек то в Сочи, то в Ялту. Младшая, Юлька, часто болела, к ней стал приходиться частный врач-консультант, ей стало лучше, а потом она эти хворости переросла. Теперь у Юльки двое своих пацанов...

И я начал встречаться со своим координатором, тем самым худощавым брюнетом, Валерием. Мы звали друг друга по именам: Валерий, Марк, хотя на «ты» так и не перешли. Наши встречи происходили на конспиративной квартире, наверняка одной из многих, сначала на Большом Петровском, а потом в новой 16-этажке, рядом с зоопарком. Валерий оказался в общем-то неплохим парнем, остроумным, дружелюбным, весьма эрудированным, и в других обстоятельствах с ним было бы приятно общаться. Однако мы не были с ним на равных. Он умел давить, не грубо, а постепенно, по миллиметру, знал, как управлять нашими «беседами». Но я никого не выдал, не оговорил. Да и кого я мог выдать? Я не вращался в диссидентских кругах, не распространял самиздат, не подписывал писем. Нет, один раз подписал, по настоянию Валерия. Ему стало известно, не от меня, что у нас по институту ходит письмо в защиту мужа одной сотрудницы, матери троих детей, арестованного за участие в кружке по изучению иврита.

– Да, Марк, а что же вы не рассказываете мне о письме? – поин-

тересовался Валерий на одной из наших встреч, когда я уже встал и попрощался. Он поглядел на меня с мягкой укоризной, словно я забыл передать ему привет от любимой тёти, но глаза его не выражали особой мягкости. – Ведь *мы* вам доверяем, а вы, выходит, скрываете такие вот неординарные факты. Или позабыли?

Тени опять завозились, заплясали на потолке. Я видел их сквозь свои до боли зажмуренные веки. Тени не казались уродливыми, не делали угрожающих жестов, они просто беспокойно суетились, мешая друг другу и не давая мне уснуть. Я никого не оговаривал! Наоборот, я не раз и не два, в ответ на прямые вопросы моего координатора, очень хорошо отзывался о Чеботарёве, о Ткачуке, о Вадике Берлинблау. Эти трое действительно были нормальные мужики. Вот я и расхваливал их как первоклассных специалистов, общественных – так было принято говорить в те годы – и просто как людей порядочных и надёжных. В итоге Ткачук через какое-то время стал замзавотделом, Чеботарёв завлабом. А Берлинблау избрали в местком. Из-за меня никто не пострадал! А Гетлину разрешили поехать на симпозиум в Венгрии, а после он даже побывал то ли в Дании, то ли в Швеции. Правда, он по паспорту числился русским, но они ведь знали, что Мишка еврей. И все эти блага посыпались на Гетлина после того, как я твёрдо сказал спортивному блондину – да, он иной раз появлялся на наших встречах, приносил Реми Мартен или Курвуазье – сказал ему, что Мишка будет вести себя прилично и не станет невозвращенцем. Да и как от мог там остаться – Мишка дико обожал своих девочек – жену Марину и дочку.

Но иногда я, само собой, что-то *им* отдавал. Таковы были правила в этой дьявольской пьесе под названием «Кошки-мышки с Конторой». Со мной всегда разговаривали вежливо и уважительно, соглашались, улыбались по-дружески. Иногда я даже ощущал себя таким лихим кукловодом, хотя какой я был к свиньям собачьим кукловод! Я был жалкий Пьеро, *они* тянули за верёвочки, а я дёргался и извивался, как им хотелось.

Простите меня, люди! Володька, Лёша Лагунов, Надя, Исидор Вагаршакович и все остальные! Простите меня, ибо я грешил, грешил осознанно, по слабости духа, а вовсе не потому, что не было иного выхода. Достойный выход есть всегда, или почти всегда. Хотел остаться работать в науке? Любил её настолько, что согласил-

ся стать стукачом, крысой? Нужны были деньги? Я был здоровый мужик и в любой момент мог пойти, скажем, в пуско-наладку, в «Рембыттехнику», в бригаду шабашников и зарабатывать гораздо больше. Я мог, чёрт побери, просто отказаться. Сталинские времена давно закончились, меня уже никто бы не отправил в «солнечный Магадан».

Из неясной, шевелящейся толпы теней вырисовалось ещё одно лицо. С мощной чёрной шевелюрой, с бородкой а-ля Высоцкий. Родное лицо моего друга Ефима.

– Ты отдал *им* список подписантов, – сказал Ефим, покручивая по застарелой привычке мочку уха, – ты отдал, ты... Я знал это, Марк.

Чего ради он привязался ко мне? Чего ради все они явились сюда, в небольшой городок на юге Коннектикута? Ведь с тех пор, чёрт побери, прошло почти сорок лет!

– Да ведь *они* и так знали этот список наизусть, Фима. Я был у них не один.

– Каждый отвечает за себя, Марк. Вот ты теперь и ответь.

Голову просто разламывало на части, а в горле пересохло так, что язык то и дело намертво прилипал к гортани. Я принял две таблетки эдвила, запил водой, опять вытянулся на своей широкой постели, но ничего не помогало. Я растирал лоб и щёки кончиками пальцев, массировал виски, пытался делать дыхательную гимнастику. А тени по-прежнему бесновались на потолке, продолжали свою нескончаемую, мучительную пляску. Они издевались надо мной, не отпускали из своих невидимых лап, не давали уйти в такой желанный, такой недосыгаемый сон. В конце концов, что я такого сделал? Я никого не убил, не ограбил, даже не оклеветал. Я был одним из многих. Так какого чёрта?

Я убеждал себя, что эти тени существуют только в моём воображении, что я в любой момент могу их прогнать, или просто встать, одеться и перейти в кабинет, сесть за письменный стол, включить компьютер, и тогда они пропадут, испарятся, растают. Но я знал, что это неправда. Они, конечно, могут на время затаиться, успокоиться, замолчать. Но они не исчезнут. Они никогда не уйдут.

Григорий Писаревский - инженер-электрик, первые 40 лет жизни провел в Харькове. В Америке с 1988 года. Около 25 лет работал в крупных американских компаниях в области информационных технологий. Живет в Нью-Джерси. Является одним из основателей и членом правления клуба «Русских Американцев» в своем городке.

Печатался в интернет-журнале «Беркович-Заметки», Калифорнийском интернет-журнале «Кстати», «Еврейском Мире» и местной газете «Concordian» (на английском языке). Также на английском языке под псевдонимом «Jeff Pierce» издал политический триллер «Hallways of Deception» («Коридоры Обмана»).

Станислав РОСОВЕЦКИЙ

**ТЕЛЕГРАФИСТ ИЗ ФО-ПИКС,
МЕРТВЫЙ И ПРИСТАВУЧИЙ**

В детстве меня увлекали рассказы о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, а венчающая их повесть «Собака Баскервильей» представлялась детективным шедевром на все времена. Впоследствии пересмотрел почти все кино- и телеверсии, и стало ясно, что персонажи Артура Конан Дойля занимают в мифологии современного человечества примерно такое же место, как Ахилл и Патрокл в эпосе древних греков. Но вот когда сам позволил себе пописывать... Тогда-то я и рассмотрел в рассказах соответствие нормам чопорной викторианской морали, удивило также, что сильное увлечение автора паранормальными явлениями никак здесь не отразилось. Но как выглядел бы рассказ из этой серии, если бы Конан Дойль обрёл ментальную свободу писателя нового времени и позволил бы себе воплотить свой органический мистицизм? Посмотрим, что получится...

Мы с женой заканчивали завтракать, когда от входной двери моей уютной лондонской квартиры, а заодно и приёмной донёсся звонок. Неужели срочный визит пациента?

Однако горничная подала мне на подносе телеграмму. У меня нет тайн от супруги (равно как и от горничной), поэтому я поставил чашку на блюдечко, вытер губы салфеткой, чистым ножом для рыбы распечатал бумажный пакетик и, не мешкая, прочёл вслух:

– Так, «Доктору Джону Х. Ватсону», адрес... «Если сможете освободиться...» Гм, гм... «пару дней, поедemте в Фо-Пикс делу кровавого телеграфиста. Паддингтона 10.45. Холмс».

– До чего ж он, этот твой драгоценный Шерлок Холмс уверен, что ты примчишься на первый его зов!

– Я ещё не решил, дорогая. Да и пациентов много...

– Чушь, дорогой. Сколько раз ты вырубал доктора Анструзера?

А теперь он примет твоих больных. Да и тебе полезно проветриться. Выглядишь ты в последнее время таким усталым...

Я не стал доискиваться причины, побуждающей мою молодую жену выставлять меня из дому. Давно уже все сомнения, неизбежные для мужчины, женившегося вторым браком в моём зрелом возрасте, я решаю в её пользу. Через пять минут (опыт лагерной жизни в Афганистане что-нибудь да значит!) мне посчастливилось поймав кэб.

Шерлока Холмса я узнал издалека. Всё такой же худой и жилистый, он вымеривал шагами платформу, а его немодный дорожный костюм и знаменитая кепка выглядели ничуть не более потрепанными, нежели в те беззаботные и опасные годы, когда мы с ним снимали квартиру на Бейкер-стрит. Сердце мое дрогнуло: неужто время для дорогого мне чудака остановилось? Однако, стоило только ему резко развернулся на каблуках и, приподняв для улыбки уголки рта и протягивая свою тонкую стальную руку, устремиться ко мне навстречу, я убедился, что ошибся. Впрочем, нельзя было исключить и возможности, что Холмс, этот вечный харáктерный актер-любитель, на сей раз играл постаревшего Холмса.

– Как всегда, вы пунктуальны, Ватсон. Займите мне место у окна, а я куплю билеты.

В купе Холмс принялся за газеты, которыми запасся, по-видимому, на вокзале. Время от времени он хмыкал, не считая, по-видимому, нужным делиться со мною впечатлениями в какой-либо иной форме. Я, впрочем, наслаждался поездкой, ведь в конце её меня не ждал пропахший своей болезнью пациент.

Мы как раз отъезжали от платформы Хермитижа, когда Холмс вдруг резко зашуршал бумагой. Я оторвался от окна и увидел, как он усердно сминает газеты, точно мальчишка снежок скатывает, а получившееся подобие бумажного мяча незамедлительно закидывает на багажную сетку. Впрочем, я, кажется, уже описывал эту дурную привычку приятеля в одном из своих отчётов. Толстая пожилая леди, остановившаяся было возле нашего купе, фыркнула и двинулась дальше по вагону. Холмс взгромоздил свои длинные ноги на свободное место.

– Итак, Ватсон, что вам известно об убийстве телеграфиста в Фо-Пикс – и прямо у телеграфного аппарата?

– А ничего, Холмс. Мне последние дни было не до криминальной хроники.

– Я только что уточнил кое-какие подробности и сделаю для вас краткую справку. Для себя тоже, конечно... Вот почему мне вас так не хватало, Ватсон! Мне-то дело и без слов понятно, зато, как начнёшь, бывало, вам на пальцах растолковывать, материал сам собой систематизируется.

– Благодарю за комплимент. А я подумал было, что вам без рекламы туго пришлось.

– Бросьте! Для моей славы мне уж больше не нужно напрягаться. Послушайте, наконец. В двух словах если, перед нами простенький случай, чертовски трудный для анализа.

– Что-то отвык я от ваших парадоксов, Холмс.

– Это не парадокс. В экзотическом или нарочито усложненном преступлении всегда бывает легче найти зацепку. Простые случаи подсказывают лёгкий ответ – и тем иногда обманывают. Итак, Ватсон, деревня Фо-Пикс, цель нашего путешествия, расположена в графстве Кент, близ Мершама.

– В жизни не слышал ни о каком Фо-Пиксе...

– А вот теперь и увидите. Нам придётся остановиться в тамошней гостинице с немудрёным названием «Наш отель». Так вот, до тех краёв, такого подарка цивилизации, быть может, и не заслуживающих, протянута телеграфная линия, а в местном почтовом отделении установлен новейший телеграфный аппарат системы Морзе. Для его обслуживания в Фо-Пикс прибыл молодой человек по имени Дональд Траст. Судя по его фотографии, небрежно воспроизведённой гравёром из «Таймс», был он смазлив и даже франтоват. Вот, сами поглядите.

– Молодчик из тех, что больше по душе женщинам, чем мужчинам, – заметил я, возвращая вырезку Холмсу.

– Согласен. Жалование Траст получал небольшое, поэтому не имел возможности долго платить за гостиничный номер – да, в том самом «Нашем отеле»! Однако его выручил местный богатый помещик Иеремиа Смит.

– Странная фамилия для лендлорда, Холмс, – заметил я.

– Ну, он из этих, из «новых». Сколотил состояние в Бристоле и несколько лет тому назад купил поместье Найс-Воллз. В его особняке

как раз пустовала каморка для конюха, и Смит сдал её телеграфисту за небольшую плату. Общительный лондонец и знаток модных танцев, Траст произвёл фурор на ежегодном благотворительном балу в Мершаме, после чего стал звездой светской жизни Фо-Пикс и всей округи. Несмотря на бедность бойкого юноши, матушки перезрелых девиц наперебой зазывали его в гости на семейные торжества и танцевальные вечера для молодёжи. Вот так наш оператор-телеграфист жил, служил и не тужил, пока не случилась катастрофа. Два дня назад поздним вечером одна почтенная матрона, миссис Флауэр, сидя за вязаньем у окошка своего домика на площади, привычно, будто не темно уже на дворе, поглядывала на почту напротив. Там слабо светилось окно, хоть присутственное время давно закончилось. Потом окно погасло, однако её удивило, что из почты никто не выходит. Вдруг раздался такой громкий и ужасающий вопль, что миссис Флауэр за малым не проткнула себе ладонь спицей. Её соседи собрались у почты, однако боялись войти. Самый расторопный из них заложил таратайку и съездил в Мершам за констеблем, а тот обнаружил беднягу-телеграфиста сидящим за столом, уронившим голову на аппарат. Кровь из перерезанного горла натекла на стол и образовала на полу лужу. Аппарат продолжал работать на приём, испуская из себя запечатанные бумажные ленточки. Извивы и кольца их, сплошь в крови, виднелись и на столе, и на полу. И как бесплатное приложение к зрелищу, раскинув светлые волосы по луже крови, рядом со столом лежала принаряженная девушка в глубоком обмороке.

– Вот как! – воскликнул я. – И она оказалась дочерью или молодой женой мистера Смита! Поправьте меня, Холмс, если моя догадка ошибочна.

– А почему вы так решили, Ватсон? – усмехнулся он.

– Из того, что вы сообщили о мистере Смите, следует, что он далеко не молод. А нет более горячего материала, чем молодой человек и юная женщина, живущие под одной крышей. Телеграфистом могла увлечься и дочь, и молодая жена Смита, и в обоих случаях образовывался треугольник, теперь смертельно опасный как для Смита, так и для его юной родственницы.

Помолчав, Холмс проговорил серьезно:

– А ведь вы почти угадали, Ватсон. Bravo! В луже крови лежала

Хлоя Браун, незамужняя горничная Смитов, в тот день получившая свободный вечер. Но у мистера Смита дочерей нет, зато есть молодая жена, привлекательная блондинка Лора, и её пару раз видели вместе с убитым, так что слухи пошли. Будто бы покойный волочился и за молодой хозяйкой, и за горничной – и не без успеха у обеих.

– Вот как? Тогда я, возможно, угадал...

– Быть может. Однако я нанят вот именно женой мистера Смита, чтобы выступить свидетелем на выездной сессии суда присяжных. Получил от этой леди задание доказать невиновность горничной, а также пресечь все возможные инсинуации в отношении самих супругов Смит.

Признаться, я таки помедлил, прежде чем с бесцеремонностью прежних лет позволил себе пробурчать:

– Боюсь, Холмс, что вы подрядились выгораживать убийцу.

– Вы же меня не первый год знаете, Ватсон, – показал великий сыщик все зубы, оставшиеся во рту. – Я в любом случае сначала найду преступника. А там поглядим... Эй, да вы прямо на глазах спали с лица!

Я отвернулся к окну, не желая, чтобы чертовски пронизательный Холмс прочитал у меня на лице причину моего огорчения. Внимательный читатель моих отчётов о расследованиях Шерлока Холмса помнит, что мораль в них столь же незамысловата, как в проповеди сельского священника. Таково требование детективного жанра. Явное сребролюбие бывшего рыцаря без страха и упрёка не позволяло издать отчёт о предстоящем нам приключении. Моё настроение испортилось ещё по одной причине, но о ней я не собираюсь никому докладывать.

– Эй, Ватсон, прекратите кукситься! Почитайте репортаж о предварительном судебном следствии. Мне любопытно, найдёте ли вы свидетельства в пользу невиновности горничной.

– Она арестована? – удивился я.

– Ну да. Вечером во вторник констебль вызвал местного врача. Доктор Тэтчер дал девушке понюхать нашатырного спирта, ей позволили отмыть волосы от крови и переодеться. После чего констебль арестовал Хлою Браун по подозрению в убийстве и увёз в Мершам.

Холмс достал с багажной полки ком бумаги, испачканной ти-

пографской краской, и с удивительной ловкостью извлек из него нужную газету. Я с отвращением взгляделся в сморщенный газетный лист.

– Ох, как не хочется мне доставать очки, – пожаловался я. – Да к тому же вы, Холмс, изуродовали газету. Не были бы вы так любезны почитать вслух?

– Ладно уж. Вот, репортёр раздобыл расшифровку стенографического отчёта... Так, так, вначале пустая болтовня... Отсюда пошёл настоящий допрос:

«Коронёр. С какой целью вы пришли на почтово-телеграфную станцию в Фо-Пикс в неприсутственное время?

Свидетельница. Мы условились там встретиться с бедняжкой Донни, когда почта закроется.

Коронёр. Почта в Фо-Пикс закрывается в шесть часов вечера, а вас обнаружили возле трупа Дональда Траста гораздо позже. Уже в темноте, и другие свидетели показали, что случилось это в половине девятого. Так в котором часу вы зашли в помещение почты?

Свидетельница. Я опоздала нарочно, вот в чём дело. Пусть, думаю, Донни подождёт. Он знаете ли, завёл шашни на стороне.

Коронёр. Мисс Браун, следствие установило, что из дому вы вышли в четверть седьмого. Я вынужден повторить вопрос. В котором часу вы зашли на почту?

Свидетельница. Я не знаю, сэр. Я бедна, не по моему достатку носить дамские часики. Будильник, что ли, мне прикажете брать с собою, выходя на улицу? Когда стемнело, я опомнилась. «Уже чересчур опаздываю», – подумала, поднялась со скамейки и пошла.

Коронёр. С какой скамейки вы поднялись? Где и с кем вы провели время от четверти седьмого и – по вашим словам – до половины девятого?

Свидетельница. Вы меня запутали, сэр, право слово. С какой скамейки, говорите? Да со скамейки в нашем общественном саду, вот с которой. И ни с кем я там не проводила время, после недельной беготни в Найс-Воллз – и с утра до вечера на ногах, и всё на людях – мне хорошо было посидеть одной. Да и было чего обмозговать, сэр. Хоть бы и поведение того же бедняжки Донни, сэр. Но почему вы не даёте мне рассказать, как оно было на почте?

Коронёр. Рассказывайте уже, мисс Браун.

Свидетельница. Уже? Хорошо. На почте свет нигде не горел, но я вошла, потому что было не заперто. Из общего зала сунула нос в комнатку Донни, а он там сидит на своём рабочем месте. Я его позвала, Донни – ноль внимания. Подошла поближе и учуяла запах, будто от бутылки в наборе для кровянки. Зажгла...

Коронёр. Что вы имеете в виду под кровянкой, свидетельница?

Свидетельница. Да кровянку-то я и имела в виду. А-а-а... Кровяную колбасу, сэр. Несло в комнате, будто свиной несвежей кровью, да простит меня Господь.

Коронёр. Продолжайте, мисс Браун.

Свидетельница. Да уж скорее придётся заканчивать, сэр. Зажгла я спичку – и увидела, что Донни неживой, а стол, бумажные ленточки на нём и на полу залиты кровью. Дальше я грохнулась в обморок и ничего не помню. Только бакенбарды доктора Филби, склонившегося надо мной. Подумать только, он привёл меня в чувство нюхательными солями, совсем как благородную барышню!»

– Весьма живописно, Холмс!

– По мне, так девушка была откровенна. Коронёр придержился иного мнения, и вот почему: «Вину свидетельницы доказывает тот факт, что пропитанные кровью бумажные ленточки на полу сохранили оттиск её ботинка, а на подошве его обнаружена кровь». Смерть мистера Дональда Траста признана насильственной, а мисс Хлоя Браун обвиняется в совершении этого убийства, и её дело будет рассмотрено на выездной сессии суда присяжных в своё время. Ватсон, а на вас какое впечатление произвели показания горничной?

– Гнусная история! – вырвалось у меня. Опомнившись, я постарался выразиться поосторожнее. – Косвенные доказательства изобличают разбитую горничную, разве не так?

– Уж очень они обманчивы, эти ваши косвенные доказательства, Ватсон, – промолвил Холмс с несвойственной ему суровой серьезностью. – Их ведь можно истолковать и так, и этак. Кроме того, уже сейчасстораживают меня некоторые детали.

– Не найдено орудие убийства?

– О, вы делаете успехи! Нет, я о другом.

– Многих вздернули на виселицу и без таких улик, – заметил я глубокомысленно.

– Вы правы, Ватсон. Но кто подсчитал невиновных среди

них? Я попросил, чтобы из Скотланд-Ярда телеграфировали в Фо-Пикс распоряжение до моего приезда ничего не трогать в комнате для телеграфного аппарата. Труп, понятно, давно увезён в морг Мершама.

– Телеграфировали?!

– Туда сразу же был прислан новый телеграфист. Очень надеюсь, что аппарат вместе с проводами и батареями перенесли в соседнюю комнату. Именно её осаждают сейчас репортёры и фотографы, а из-за них нас в гостинице поселят разве что на чердаке.

Тут нас ослепили две вспышки белого света – словно два фотографа один за другим подожгли магний. Я успел отметить, что поезд продолжал двигаться с прежней скоростью, когда в свободной части купе сгустилась тьма, а в ней вырисовалась фигура молодого человека в форме Почтово-телеграфного ведомства. Лицо его светилось безжизненной белизной, но трудно было не узнать телеграфиста Дональда Траста с газетной ксилографии. Сходству не мешало зловещее тёмное пятно на нижней половине лица и верхней части мундира... Что он сказал? Точнее, что просипел? «Глупышка Кло ни в чём не виновата!», – всплыло у меня в мозгу. Тем временем тьма рассеялась, а вместе с нею и силуэт молодого человека. Две новые вспышки – и Холмс срывается с места и исчезает в коридоре. Слышно, как хлопают двери вагона.

Итак, Холмс отреагировал по-своему. А что делать мне, как защитить своё доселе непоколебимое научное мировоззрение? Я достал серебряные часы, подарок жены на пятидесятилетие, и занёс в записную книжку точное время появления привидения.

Пuls у меня успел снова замедлиться, когда Холмс возвратился. Всегдашняя словоохотливость явно изменила ему. Во всяком случае, он сначала уселся на прежнее место и даже взял в руки давешний газетный лист. И только отложив его с выражением недоумения, обратился ко мне:

– Судя по вашему изумлённому виду, вы увидели и услышали то же самое, что и я?

– Не знаю, что вы там увидели, – ответил я раздражённо, – а мне тот самый зарезанный телеграфист прохрипел, что Кло не виновата.

– Сходится. И вы разъярены, потому что выходка призрака посягнула на ваше мировоззрение позитивиста?

– Привидений не бывает, Холмс. Как, кстати, и коллективных галлюцинаций.

– Вот и я в этом убеждён. Надо было искать естественные объяснения. Оставив галлюцинацию про запас, я предположил, что для нас, Ватсон, неизвестный шутник показал синема – да ещё и звуковое!

– Звукового синематографа тоже не бывает, Холмс.

– Ладно. Реплику ведь мог подать сам шуткарь, разве нет? Объектив проектора, равно как и полочки для магния, можно было спрятать за зеркалом на стенке купе у вас за спиной. Экраном послужил дым от наших трубок, сгустившийся в купе, я о таком читал.

– Вот как?!

– Да нет, Ватсон, – развёл Холмс руками. – В соседнем купе такое же зеркало закрывает головой в смешной шляпке та самая толстая старая леди, что хотела угнездиться у нас в купе, да передумала. Под кринолином можно было бы спрятать проекционный аппарат и даже складной штатив – но не под нынешними же юбками? Я помчался дальше, заглядывая во все купе, взобрался, рискуя запачкаться углём, и на тендер. Когда я спросил кочегара, не видел ли он тут человека с чем-то вроде фотокамеры на штативе, он на меня вытаращился, почти как вы на привидение. И знаете, Ватсон, я благодарен, конечно же, потустороннему помощнику в расследовании, вот только зачем мне подсказка, если я и сам успел додуматься до того же?

Уже смеркалось, когда мы высадились в Мершаме, чтобы на карете, поджидавшей нас у вокзала, маленького, словно садовая беседка, отправиться в злополучный Фо-Пикс. Пока мы доехали, совсем стемнело, а когда карета остановилась у тёмного особняка, я, выбираясь из неё, вдруг почувствовал себя молодым военным врачом, только что вступившим в Кандагар вместе с британским грузовым караваном. Верблюд Джамми тогда улёгся сразу за въездом в лагерь Беркширского 66-го пехотного полка. И я шагнул из седла-подушки в темноту с ощущением, что под ногами грозит разверзнуться пропасть и что не дрожащие городские огни глядят на меня из темноты, а немигающие глаза свирепых туземцев.

Гнетущее впечатление рассеялось, когда осветились два окна посредине фасада и между ними цветные стёклышки витража над

дверью, потом она отворилась, и на её фоне возник силуэт стройной женщины с высокой причёской.

– Как я рада, что вы приехали, мистер Холмс! А вы, наверное, доктор Ватсон? Совсем как в книжке!

Под этот щебет бесцеремонно, буквально за руки, гостеприимная хозяйка втащила нас в вестибюль. Миссис Смит оказалась молодой блондинкой и достаточно красивой. Она смущённо улыбнулась – и солнечные зайчики запрыгали по тонушим в сумраке стенам.

Выяснилось, что мы обречены остановиться в поместье, ведь Холмс оказался пророком: гостиница трещала от наплыва журналистов. Прославленный сыщик был поселен в каморке горничной, а я – в обиталище несчастного телеграфиста. Мы получили возможность умыться после дороги, а пока занимали по очереди ванную комнату, дворецкий Джозеф, он же камердинер хозяина дома, отчищал от сажи и пыли нашу одежду. Выглядел он весьма импозантно, однако показался мне староватым для своей должности. Следует отметить, что Холмс сначала тщательно обыскал комнатку телеграфиста и только после этого позволил мне распаковать в ней саквояж.

Наверняка мы опоздали к обеду, но нас подождали. Мистер Смит за столом так и не появился. Убирая тарелки после первого, горничная, взятая пока из деревни на место Хлои, едва не вылила остаток сырного супа с курятиной на Холмса. Он с присущей ловкостью уклонился, а когда переполох утих, воспользовался моментом и спросил о хозяине.

– Мой муж тяжело болен и почти не встаёт с постели, – и миссис Смит поднесла к своим прелестным глазкам кружевной платочек. – Увы, наш сельский врач, доктор Тэтчер обещает ему только несколько месяцев жизни.

Мы с Холмсом переглянулись и склонили головы над бифштексами с картофелем фри.

– Надеюсь, нам будет всё-таки позволено поговорить с мистром Смитом, – заметил Холмс любезно.

– Конечно же, мой Иеремия сам пригласит вас к себе, как только ему полегчает. Ах, мистер Холмс, я знаю, что вам не терпится побывать на месте преступления! Сразу после кофе Джозеф проводит вас на почту. С большим фонарём, разумеется.

– Но разве почтово-телеграфная станция не заперта на ночь? – удивился Холмс.

– Ах, да... – очаровательно смутилась молодая хозяйка. – Но я позаботилась и для вас, мистер Холмс, раздобыла ключ от служебного входа.

– О! Есть и служебный вход... Так вот почему зоркая миссис Флауэр не видела никого из вошедших на почту вечером!

– Боже, как интересно! – захолопала миссис Смит в ладоши.

Дворецкий присоединился к нам в вестибюле с уже зажжённой «Летучей мышью». То ли замечательный портвейн, то ли уютный круг света, отбрасываемый фонарём, не знаю, что стало тому виной, но ночь уже не казалась мне зловещей, и мусульманские бородачи в мешковатых лохмотьях не мерещились за деревьями.

Холмс принялся допрашивать дворецкого, как только мы вышли за ворота поместья.

– Вы ведь знаток своего дела, Джозеф, как вы оказались в такой глуши?

– Я поступил на службу к мистеру Смигу в Бристоле и с ним приехал сюда, – ответил он чопорно.

– Только ли в этом было дело?

– Мистер Холмс, от вас ведь ничего не скроешь. В Бристоль я убежал из Лондона, чтобы скрыться от кредиторов.

Теперь уже я спросил:

– Ваш хозяин из «новых» богачей? Не так ли?

– На такие вопросы я не отвечу, джентльмены. И не только потому, что обязан сохранять тайны семьи. Но если бы вы спросили меня о хозяйке, я сказал бы: «Да, из новых». В портовых кабаках Бристоля помнят Лору Брайт.

Холмс незаметно толкнул меня локтем.

– А вот мы и пришли, джентльмены. Я оставляю вам фонарь, а сам потороплюсь в Найс-Воллз, чтобы покормить обедом хозяина.

Я взял горячую уже «Летучую мышь».

– Чуть не забыл! Когда возвратитесь, не стучите, просто откройте дверь. Я буду ждать вас в вестибюле и сам её запру.

Чопорно выпрямленная спина дворецкого растворилась в темноте безлунного вечера. Мы с Холмсом переглянулись и начали обходить почту в поисках служебного входа. Естественно, с фонарём

мы его легко нашли, а кроме того обнаружили, что здание почты построено на краю оврага. Холмс легко открыл дверь ключом, полученным от миссис Смит. Подозвал меня и попросил посветить на ключ.

– Видите, Ватсон, он не родной от замка. Явно выточен кустарно.

Внутри стало страшновато. Холмс отодрал бумажку, запечатывавшую комнату для телеграфа, и мне пришлось вспомнить слова горничной Хлои о запахе несвежей крови. Осмотревшись, великий сыщик обратил моё внимание на окно. Да, рама поднята.

– Однако из оврага едва ли кто сумел бы сюда забраться, – заметил я.

Холмс кивнул, добыл из кармана рулетку и принялся измерять отпечаток подошвы на пучке пропитанных кровью бумажных ленточек. Не отрываясь от этого занятия, спросил:

– А не научились ли вы, Ватсон, за эти годы печатать на ундервуде?

– Зачем бы мне, Холмс?

– Жаль. Придётся мне самому отправить запросы в Скотланд-Ярд. А вас пока попрошу собрать все ленточки и запаковать. Мы возьмём их с собою.

Собрать? Ну ладно, хоть и противно. Но во что запаковать? Легко Холмсу командовать... В конце концов я содрал со стены календарь на 1913 год как явно устаревший и в него завернул отвратительные бумажные петли.

Уже по дороге назад я опомнился и спросил:

– А как вы проникли в основное помещение почты? Там же несгораемый шкаф...

– Вы не научились печатать на ундервуде, Ватсон, а вот я овладел отмычкой. Несгораемого шкафа и пальцем не коснулся, дверь за собою запер. Пусть это вас не беспокоит.

Меня беспокоила только настоящая необходимость поскорее помыть руки. Обратная дорога показалась короткой. Любезный Джозеф вручил мне свечу в подсвечнике с ручкой, и я вскоре расположился на узком ложе, предполагая, что после путешествия по железной дороге, отличного портвейна и прогулки перед сном засну как убитый. Не тут-то было!

Уже замысловатый рисунок обоев здешней столовой начал мельтешить у меня перед глазами, уже милый голосок миссис Смит начал рассказывать какую-то историю... Как вдруг две белые вспышки разбудили меня, и я рывком сел на кровати. Рядом, достаточно было руку протянуть, на тумбочке возник давешний призрак. Демонстрируя не лучшие манеры, он показал пальцем вниз и просипел:

– То, что ищите, здесь. Какой же я идиот, что повёлся на сучку...

Призрак покрывлся протуберанцами и исчез. Новые вспышки, и на сей раз синеватые. Я потянул носом: серой не пахло, да и вообще ничем, кроме кожи моего нового саквояжа. Если я увидел привидение во сне, значит, досыпал сидя. Поспешно одевшись, я снова зажёл свечу и отправился будить Холмса. Он ещё не ложился, и мы вдвоём возвратились в прежние апартаменты телеграфиста.

– Повторите, куда он показывал? – потребовал Холмс.

– Вниз, на тумбочку.

– Тут нет ничего интересного для нас, – бурчал Холмс, открывая и закрывая ящик за ящиком. – И даже в тайнике под верхней доской. Если что и было, любовные письма, например, обитатели особняка располагали временем, чтобы забрать... О!

Я заглянул через его плечо. В примитивном потайном ящичке лежала раскрытая бритва. Лезвие, явно из хорошей стали, и перламутровая ручка мягко поблёскивали. Но в углублениях заметны следы тёмного налёта. Возможно, это мне показалось.

– Вот чем зарезали телеграфиста, – присвистнул Холмс. – Убийца не дурак! После того, как я обыскал тумбочку, она стала самым безопасным местом в доме. А подложить мог каждый в Найс-Воллз, пока мы ходили на почту.

– Бритву помыли, разумеется, но следы крови можно будет отыскать, – заметил я – и зевнул.

– Любой адвокат пояснит, что это её владелец порезался. Хорошо, Ватсон, можете снова укладываться. Но сначала просветите меня как знаток судебной медицины. Вот убийца подошел к сидящей жертве сзади и полоснул её из-за спины по горлу бритвой. Может ли эксперт установить по ране на горле, был то правша или левша?

Я так ясно представил себе эту картину, что мороз по коже и сна ни в одном глазу. Ответил чистую правду:

– Я обычный медик, Холмс. И не сумел бы различить такое по разрезу.

– Тогда завтра вы не поедете тревожить прах Донни Траста. Это будет ваша скромная благодарность ему за то, что попытался нам помочь. Такое впервые в моей практике, я искренне тронут.

Утром до завтрака Холмс уселся на кухне отмачивать и отмыть кровавые телеграфные ленты в лохани с водой, и мне поставил задачи на время до обеда. Вот, раскурив трубку, я и отправился в местную лавку, торговавшую всем, что может понадобиться для жизни в Фо-Пикс. Увы, хозяин её только хитро усмехнулся, когда я спросил, кто в обозримом прошлом купил у него дорогую немецкую бритву с перламутровой ручкой. Я разорился на ненужный мне набор носовых платков и повторил вопрос. Результат тот же. Подумав, я отказался от идеи пообещать торговцу полсоверена за информацию: не был уверен, что Холмс возвратит мне монету.

Из лавки отправился я в местный бар, где меня приятно удивили сметливостью лиц и городским покровом костюмов местные крестьяне. Я заказал выпивку для всей компании и для бармена, а затем, под приветственные возгласы приняв пару порций бренди, ненавязчиво начал расспрашивать о телеграфисте Донни Трасте. Вот тут меня ждал успех. Старичок-боровичок, скромно сидевший в уголке над кружкой пива, припомнил, шамкая, что юноша в синей форме два месяца тому назад хвастался в баре: он-де получил в подарок от богатой поклонницы дорогущую бритву. А когда у него выспрашивали имя леди, только загадочно улыбался. Тотчас же все остальные посетители бара достали блокноты и принялись записывать сказанное стариком, а иные из них сменили блокноты на плёночные фотокамеры и под вспышки магния принялись щёлкать старинушку, меня и бармена. Затем, поспешно расплатившись, вся компания помчалась на выход. К телеграфному аппарату, разумеется.

В расстроенных чувствах покинул я бар, но прекрасная природа юго-восточной Англии, а главное, опьяняющий своей чистотой деревенский воздух успокоили меня. После чудесной прогулки по окрестностям Фо-Пикс я посидел на скамейке в общественном саду. И пришёл к выводу, что горничная действительно могла провести здесь замечательные часы и опоздать на свидание, где её ожидали не радости любви, а неприятное выяснение отношений.

В Найс-Воллз старина Джозеф поведал, что мой приятель ука-тил на местной таратайке в Мершам. Он явно опаздывает к обеду, и это нервирует хозяйку, по-видимому, созревшую для беседы с нами. Тут дворецкий многозначительно кашлянул.

Мы сели за стол без Холмса. Я с трудом принудил себя оставить в покое бутылку портвейна и приняться за кофе, когда в столовую заглянул Холмс. Через несколько минут он появился, уже переодетый к обеду, и отвергнул заботы Джозефа и его хозяйки, ограничившись кофе и сэндвичем. Выглядел мой приятель так, будто уже завершил расследование.

– Мы слушаем вас, миссис Смит, – заявил он, когда слуги, убрав посуду, удалились. – Если вы не хотите предложить для беседы более безопасное место.

Она покачала ловко причёсанной головкой.

– Тут никто не подслушает. Что вы хотите от меня узнать, мистер Холмс?

С позволения хозяйки мы набили трубки. Выпустив первый клуб дыма, Холмс заявил:

– Меня совершенно не интересует ваш флирт с покойным телеграфистом. Расскажите мне подробно о вашем визите на почту в тот роковой вечер.

– Ну, если вы всё уже знаете, зачем и рассказывать? – протянула она, к моему удивлению, совсем не шокированная.

– Если вам нужно время, чтобы подготовиться – согласен. Давайте пока займёмся вашей обувью. Эти ли ботинки были на вас в тот вечер?

– Эти самые, мистер Холмс.

– Тогда позвольте мне промерить и осмотреть правую подмётку.

Миссис Смит устроила маленькое представление. Кокетливо хихикала и притворно жаловалась, что мой суровый друг щекочет ей ножку. Я сидел как на иголках.

– Я узнал, что хотел, – заявил, наконец, Холмс. – На кроватной кучке бумажек отпечаталась подошва не вашего ботинка. Вы не вступали в лужу крови. Рассказывайте.

Показалось ли мне, что она вздохнула облегчённо? Говорила, переводя взгляд своих лучистых глаз с меня на Холмса.

– Да у меня был лёгкий флирт с бедняжкой Донни, сущие пустяки. А когда выяснилось, что у него достаточно серьёзные отношения (вы меня понимаете, джентльмены) с нашей горничной Кло, я тотчас же перестала с ним кокетничать. Увы, юноша в меня влюбился, а с Кло хотел порвать. Я пыталась помочь им помириться, даже купила дорогую бритву, чтобы она подарила ему на день рождения. В тот ужасный вечер я пришла на почту, потому что надеялась убедить Донни вернуться к Кло. Не тут-то было! Он показал мне злосчастную бритву и грозил зарезаться ею, если я не отвечу на его чувства. Приставлял к своему горлу. Донни вообразил, будто я подарила её. Только представьте мой ужас! Как только мне удалось его более или менее успокоить, я ушла. Вот и всё.

– Вот и всё, – повторил за ней Холмс задумчиво. – Завтра обязательно приходите на выездную сессию. Траур – ни в коем случае: тем самым вы...

– И не подумаю – не полная же я дуручка! Есть у меня такой серенький костюмчик...

Суд присяжных, заседавший в самом большом здешнем амбаре, превратился в настоящий бенефис Холмса-свидетеля. Для начала он как дважды два четыре доказал миссис Флауэр, что она никак не могла видеть Хлою, входящую в здание почты через служебный ход, а в своём показании заявил:

– Леди и джентльмены, господа присяжные заседатели! На предварительном следствии произошла чудовищная ошибка. Абсолютно правдивые показания бедной девушки были истолкованы неверно и привели к обвинению её в убийстве. Мисс Хлоя Браун вошла в тёмную комнату, где стоял телеграфный аппарат, и там было темно, потому что керосин в лампе успел к тому времени выгореть. В темноте она вступила в лужу крови, куда упали со стола телеграфные бумажные ленточки, и на них сохранился отпечаток её ботинка. Но ведь это же доказательство невинности обвиняемой! Для того, чтобы кровь натекла со стола на пол, нужно время. И ещё больше было необходимо времени, чтобы телеграфный аппарат, периодически включаясь, набросал на стол столько бумажной ленты, что она падала уже на пол и пропитывалась кровью. А это означает только одно: когда обвиняемая вошла в комнату, Дональд Траст был давно уже мёртв!

Тут публика зашумела, и констеблю пришлось призывать её к порядку. А Холмс продолжил:

– Тут обвинитель напирал на тот факт, что орудие преступления не обнаружено. У обвиняемой его не нашли. Не знаю, как вы, господа присяжные, но я просто не могу себе представить, что эта молоденькая девушка хладнокровно зарезала своего парня, потом выбросила орудие преступления в окно, а затем бестрепетно легла волосами в кровь на полу и притворилась упавшей в обморок. Невозможно такое! Ни одна женщина в мире так не поступит со своими волосами! Тогда куда же делся пресловутый острый предмет? Ни в коей мере не желая навязывать вам своё мнение, я вспомню одно сенсационное происшествие, прогремевшее в Лондоне года три назад, когда там служил телеграфистом покойный Дональд Траст. Некий джентльмен смертельно обиделся на свою жену. На самом ли деле она изменила, или это была только его догадка, неважно. Ревнивец отослал всех слуг. В своём кабинете, сидя за письменным столом, он застрелился, предварительно привязав пистолет к шнуру, а второй конец шнура с грузом-камнем опустив за окно. Прежде чем убитая горем леди догадалась выглянуть на улицу, расторопный прохожий подхватил с земли пистолет, отвязал камень, смотал шнур и был таков. И только случай тогда спас неповинную жену самоубийцы от виселицы.

Переждав шум в зале, Холмс продолжил:

– Я никому не навязываю догадку, что Дональд Траст повторил этот трюк, привязав почтовую бечёвку для упаковки к ножу, кинжалу или бритве. Скажу только, что сюда из Лондона он был переведён не случайно и что его неустойчивая психика вполне могла не выдерживать ожидания мести могущественных и опасных врагов.

Научный метод прославленного сыщика, а в особенности его лупа на длинной медной ручке и патентованная рулетка произвели такое глубокое впечатление на присяжных – фермеров и мелких торговцев, что Хлоя Браун была освобождена из-под стражи прямо в зале суда. Отдельным решением суд отменил предыдущий вердикт, признал смерть Дональда Траста самоубийством и закрыл дело.

Сразу же после суда мы с Холмсом были приглашены в спальню к мистеру Смигу. Облачённый в роскошный персидский халат и в огромные шитые золотом войлочные туфли, этот тучный старик

восседал в вольтеровском кресле и среди принадлежащих ему дорогих вещей выглядел, как картофелина в мундире на изысканной тарелке северского фарфора.

– Что ж, к делу, джентльмены, – проквакал мистер Смит, как только мы уселись. – Мистер Холмс, вы выполнили прихоть моей сумасбродки, я имею в виду миссис Смит, и вернули в наш дом распутную горничную. Благодарю покорно! Я уже выписал для вас чек, он ждёт на столе. Теперь вы, наверное, хотите изложить результаты своего настоящего расследования и назвать убийцу. Я решил избавить вас от этого труда, мистер Холмс. Поелику это я убил Донни Траста, а убил я эту гадину, потому как он шантажировал меня. С шантажистом можно управиться, либо покорно платя ему, либо заткнув ему глотку навсегда. Я выбрал второе. От суда земного вы меня освободили, мистер Холмс, а со своим Небесным Судией я встречаюсь не позднее, чем через полгода.

Холмс помолчал. Потом предложил, вложив в интонацию весь свой дар убеждения:

– Мистер Смит, признав факт шантажа, вы поставили нас с доктором Ватсоном в опасное, хоть и нелепое положение. Мы знаем о том, что у вас есть пригодная для шантажа тайна, но не знаем толком, в чём она состоит. Корпорация бристольских контрабандистов весьма могущественна, и я не хочу, чтобы нас с доктором Ватсоном выловили из Темзы с разбитыми головами. Нам нужна гарантия. Прошу вас, напишите для меня коротко то, о чём сейчас сказали. Я положу ваше признание в банк с распоряжением, чтобы после насильственной смерти моей или доктора Ватсона его передали в Скотланд-Ярд. Я скорблю о том, что вам осталось полгода жизни, но их можно провести и в здешнем комфорте, и в тюремной камере.

Поразмыслив, Смит кивнул и поднялся с кресла. Отдышавшись, поинтересовался:

– А как вы, мистер Холмс, догадались о контрабанде?

– К столу подали великолепный портвейн, а ваша супруга пояснила, что он из Бристоля. Ну, а вчера я ездил в Мершам, отправил с тамошнего телеграфа запросы в Скотланд-Ярд. Запросы были о покойном, о бристольских контрабандистах и о Лоре Брайт. Только дождавшись ответов, я вернулся сюда.

Услышав «Лора Брайт», Смит вздрогнул, я мог бы это показать

под присягой. Но меня тогда больше занимал запашок аммиака, повеявший, когда он мимо нас ковылял к бюро, инкрустированному слоновой костью. А Холмс не отрывал глаз от хозяина поместья, пока тот писал. Наконец, Смит перечитал написанное, поставил подпись и, промокнув пресс-папье, передал Холмсу. Тот прочитал внимательно, сложил бумагу и спрятал в левый внутренний карман пиджака. А чек остался лежать на журнальном столике между нашими с ним креслами. Холмс вдруг спросил напористо:

– Мистер Смит, а чем вы убили шантажиста?

– Ну, одним кинжалом из своей коллекции.

Холмс достал из правого кармана свёрток и развернул его. На носовом платке лежала раскрытая бритва. Смит снова вздрогнул.

– Своим признанием вы попытались прикрыть настоящего убийцу. А дело было так...

– Валяйте, валяйте, частная ищейка, покрасуйтесь передо мной! Всё равно до суда над Лорой я не доживу. Мои почки меня уже почти прикончили.

– Кто это вам сказал, что у вас болезнь почек, мистер Смит? – не выдержал я.

– Дорогой Ватсон, я очень вас прошу не вмешиваться! Нам сейчас не до медицинских деталей. Итак, эта странная история началась в Лондоне. Телеграфная сеть, покрывшая весь цивилизованный мир – одно из грандиозных открытий XIX века. Но очень многие деловые люди, опьянённые великолепными возможностями современной связи, чересчур доверчивы к заверениям телеграфного начальства о полной конфиденциальности сообщений. Они не принимают во внимание, что на приёме-передаче сидят люди, операторы-телеграфисты. В лондонской Почтово-телеграфной конторе образовалась банда ловких молодых людей, которые сумели воспользоваться приватной деловой информацией, проходящей через их руки, для незаконного обогащения. Поскольку контора принадлежит государству, а огласка повредила бы расширению телеграфной сети на колонии, процесс был негласным, а Дональд Траст отделался, так сказать, ссылкой в Фо-Пикс. А тут взялся за старое, и ваши бристольтские компаньоны невольно ему помогли. Вчера я выудил из лохани, где отмывал кровавые телеграфные ленточки, вот эту и попросил вашу кухарку Глэдис высушить её утюгом.

Распрямив туго скатанную ленточку, переданную ему Холмсом, наш хозяин прочитал её, простонародно помянул чёрта и тотчас же, не чинясь, сжёг над массивной пепельницей в форме крестьянского башмака.

– Вот видите... Догадываюсь, что вы и кров ему дали в результате шантажа. Иначе разве вы, с вашим жизненным опытом, запустили бы, фигурально выражаясь, козла в огород? Простушка Глэдис нашего смазливового молодого человека не заинтересовала, он завёл интрижку с горничной, а потом, по собственному выражению вашей супруги, ему удалось завязать лёгкий флирт и с нею.

– Вы поосторожнее, даже и фигурально!

– Я максимально осторожен и деликатен, мистер Смит. Ваша супруга ловко, через горничную, сделала молодчику подарок на день рождения, вот ту самую дорогую немецкую бритву. А трагедия произошла во время их тайного свидания вечером на почте. Увы, не первого, потому что у вашей супруги был специально сделанный ключ от служебного входа, не видного с площади. Вот он.

Смит в сердцах бросил ключ в нишу бюро. Тоненько звякнул серебряный стаканчик для карандашей.

– Донни додумался принести с собой бритву. Ваша супруга рассказала, что он угрожал этой бритвой зарезаться, если она не ответит на его чувства. Боюсь, что он по привычке пустил в ход шантаж, на сей раз её подарком. Воспользовавшись тем, что Донни отвлёкся на застрекотавший аппарат, ваша супруга подхватила со стола уже раскрытую бритву, зашла молодому человеку за спину и полоснула его по горлу. Не пожелав оставить бритву возле правой руки мертвеца или выбросить её в раскрытое окно, миссис Смит забрала её с собой. Ведь через бритву можно было выйти на неё. Она не вступила в кровавую кучку бумажек на полу, потому что их там просто ещё не было, не запачкала и подошв в крови, ведь было светло. Прошло время, лампа погасла, и в комнату вошла горничная...

– Сказки про Молли Ваппи...

– А вот и доказательства. Как только вы любезно предложили нам поселиться в Найс-Воллз, я тотчас же обыскал бывшую комнату телеграфиста, отведённую доктору Ватсону. Меня удивило отсутствие бумажек типа *bilet-duox*... то есть любовных писем, записочек, валентинок. Их любят собирать молодые люди его типа. Был

пуст и примитивный тайник под верхней доской тумбочки. Вы ведь не рылись там, нет? Горничная арестована, так что легко догадаться, кто. А когда мы вернулись с почты, в тайнике уже лежала бритва. Убийца счёл это место безопасным после моего обыска. Снова – кто?

– Скажите, мистер Смит, – спросил и я мягко, – вы предпочитаете войлочную обувь, потому что у вас зуд в ногах, а в тесных кожаных сапогах он становится совсем невыносимым?

– А вы как прознали?

– Скажите лучше, раны на ногах не появились?

– Есть одна ранка, но скорее на чирей смахивает. А в чем дело?

– И правда, Ватсон, угомонитесь... Теперь поставлю я вопрос: почему бритва, отмытая от крови, пряталась и перепрятывалась открытой? Ведь куда удобнее было бы и носить её в сложенном виде. А не потому ли, что она была у женщины, боявшейся её раскрыть, чтобы не порезаться? И последнее...

А я тоже не терял времени даром. Достал из саквояжа спиртовку, установил её на каминной доске, зажёл спирт, вынул свой драгоценный шприц в металлическом футляре, налил в футляр воды из графина, поставил на спиртовку... Смит повёл бугристым носом.

– Джентльмены, если вы собрались меня пытаться, затея напрасная. Во-первых, не дамся, а во-вторых, я ж и так вам всё рассказал.

– Положим, вы попытались нас обмануть, – Холмс поднялся с дивана и незаметно для Смита приложил палец к губам. – Не обращайтесь внимания на доктора Ватсона: он врач и занят сейчас своим профессиональным колдовством... Итак, последнее доказательство. В Мершаме я побывал в морге и отмыл кровь с горла покойного Дональда Траста. Рана ему была нанесена левой, сомнений быть не может. Однако вы правша, мистер Смит, а вот ваша жена протягивала мне вечером ключ левой рукой. А во время обеда... Короче, она левша. Я ведь прав?

– Да, мистер Холмс.

– Покрывая свою жену, вы оставляете в доме ядовитую змею. Подумайте над моими словами. А теперь... Ватсон, вы можете отвлечься на минутку от вашего походного самогонного аппарата? Доктор Ватсон, вы ведь что-то хотели нам сообщить?

– Спасибо, Холмс. Но сначала позвольте задать пару вопросов мистеру Смицу. Скажите, вас беспокоит частая потребность сходить

по малой нужде? Я так и думал... И во рту сушит, и постоянно хочется пить?

– Всё так, доктор, попали в яблочко. И доктор Тэтчер ...

– Деревенский коновал ваш доктор Тэтчер, вот он кто! Если и выписывает «Ланцет», то, готов поклясться, даже не разрезает его. Вы больны сахарным диабетом, мистер Смит, а эта болезнь теперь лечится. Появилось замечательное лекарство – инсулин. Я, на ваше счастье, собирался в дорогу наскоро, не успел проверить содержимое своего саквояжа и случайно завёз сюда несколько ампул. А шприц всегда со мной. Я сделаю вам укол, перед обедом – второй, и вы сразу получите большое облегчение. А если...

– Какой такой укол? – вскочил на ноги Смит. Лицо его побагровело и приняло свирепое выражение. – Выманили у меня признание, теперь кольнете меня иглой с ядом – и все довольны!

– Мистер Смит, – не пошевелившись, тихо произнес Холмс. – У Найс-Воллз стены, конечно, толстые, но прислуга повсюду ужасно любопытна, так что я на вашем месте остерегся бы... Прекратите орать! Что же касается Ватсона, то он, во-первых, человек добрый и гуманный, во-вторых, как врач клятву давал не навредить пациенту, а в-третьих – ну кто же станет отравлять курочку, готовую снести золотые яйца?

– Холмс хочет сказать, что я предлагаю вам пройти курс лечения – если вы, разумеется, согласитесь. Холмс, в отличие от вашего Тэтчера, читает «Ланцет» и знает, что инсулин – лекарство весьма дорогое, не на вес золота, а подороже. Бедняки будут продолжать умирать от диабета, а богачи теперь смогут купить себе жизнь. Вы научитесь делать самому себе уколы, а для этого необходим шприц, а всего лучше – и запасной. Шприц тоже инструмент дорогой...

– Цены не имеют значения, дорогой доктор! Выпишите из Лондона всё необходимое сегодня же! И медсестру! За любые деньги! И сколько месяцев вы мне тогда пообещаете?

– Необходим еще подробный осмотр, но могу сказать и сейчас, что если вы, вдобавок к ежедневным уколам, будете строго придерживаться диеты, которую я вам назначу, то сможете прожить – и без теперешних ваших страданий – по крайней мере лет десять.

– Доктор Ватсон, вы возвращаете меня к жизни! Гонорар вас

удивит – как и вас, мистер Холмс... то есть ваш... Доктор, что я должен сейчас делать?

– Засучить левый рукав. Рубашки тоже. И постарайтесь успокоиться.

– Что ж, джентльмены, у меня на руках новые карты. Придётся обмозговать этот расклад.

На следующее утро мы покидали Фо-Пикс. Никто не пришёл нас проводить. Моя терапия подействовала на мистера Смита столь живительно, что он собственноручно спустил с лестницы заявившегося к нему репортёра. А бывшая Лора Брайт предпочла не показываться нам на глаза.

В купе мы снова оказались наедине. Холмс первым нарушил неловкое молчание:

– Муторно на душе у меня, милый мой Ватсон. А у вас?

– Ну, вам не удалось покрасоваться перед присяжными на полную катушку.

– То есть?

– Указать им на убийцу.

– Стал бы я добиваться дешёвого триумфа перед деревенщиной! Я отпустил преступницу, а вы помогли её укрывателю, доктор.

– Для меня он не преступник, а такой же пациент, как и другие.

– Такой же? Небось уже придумали, какую дыру в хозяйстве заткнёте своим чеком, а? Признайтесь, что я прав.

– Вы правы, Холмс. Я напрасно вспылил. Извините. И вспомните, что все крупные состояния выросли на крови. Заработать сотню тысяч фунтов честным трудом? У нас это сказочки для дураков.

– Bravo, Ватсон, я вижу, женитьба сделала вас более практичным!

Я отмахнулся и уставился в окно. Как объяснить жене происхождение чека? Конечно, можно сказать, что сверхбогатые пациенты и платят намного больше, но ведь есть же и определённые границы... Клубы чёрного дыма низко стелились во влажном воздухе, и казалось, сажа у меня на глазах оседает на роскошную осеннюю листву.

– И всё-таки, Холмс, вы совершили доброе дело – спасли невинную горничную от виселицы.

– Невинную, говорите? – усмехнулся Холмс.

– Ну, с кем не бывает, Холмс...

– Со мною не бывает, например. Я непоколебим, словно тибетский монах. А у вас, мой дорогой Ватсон, та же слабость, что и у этого юнца-телеграфиста, только вы порассудительнее. Однако ж и вы заиграли, словно цирковая кляча, услышавшая выходной марш, когда увидели Лору. Вы ведь бессознательно распознали в ней... гм, доступную женщину, лёгкую бабёнку. Вы ими довольствовались, будучи бедным студентом и нищим военным врачом. Да и после, оставаясь холостяком... Думаете, от меня во время нашей совместной жизни на Бейкер-стрит укрылись ваши регулярные, два раза в месяц, исчезновения по вечерам, после чего от вашего сюртука несло дешёвой пудрой? А волоски на воротнике, цвета чаще всего...

– Бог мой, Холмс! Есть же вещи, не подлежащие обсуждению среди джентльменов.

– Увы мне, увы! Но я давно убедился, что весьма во многом не джентльмен...

– В таком случае скажите, почему вы не женились?

– Нет, отчего же... Вот если бы в нарушение наших британских свобод был издан декрет об обязательной женитьбе, я как законопослушный гражданин женился бы на миссис Хадсон. Она женщина неустрашимая, замечательно крахмалит воротнички и просто поразительно терпима к моим небольшим недостаткам.

– Будь она, миссис Хадсон, помоложе... Нет, мне трудно представить её молоденькой, с пухлыми щёчками – а вам, Холмс?

– Однако же и запросы у вас, Ватсон! Чтобы женщина с такими достоинствами – да ещё и молоденькая!

– Миссис Хадсон не сдала бы вам комнату, будь она молодой вдовой или разводкой. Это было бы неприлично.

– Вам ли, женолюбивый мой друг, становиться в позу мещанского моралиста?

– Шутки шутками, но брак имеет и свою интимную сторону. О ней даже в Библии сказано.

– Да будет вам, Ватсон! Думаете, что у меня и вовсе никакого такого опыта нет? Я ведь как-никак учёный, естествоиспытатель. Конечно же, некогда я произвёл эксперимент. И даже не один. Однако результаты не шли ни в какое сравнение с «кайфом», как это

божественное состояние называют арабы, или от экспериментов с кокаином.

Через три года Иеремия Смит застрелил свою жену при попытке его отравить. Суд присяжных его оправдал. А я понадеялся тогда, что телеграфист-шантажист успокоился в своей могиле.

Станислав Росовецкий живет в Киеве. Преподает в Киевском университете имени Т. Г. Шевченко. Доктор филологических наук, профессор. Научные работы (около 200) публиковались, помимо Украины, в Белоруссии, Польше, России, США, Узбекистане, Эстонии.

Автор статей в многотомном издании «Памятники литературы Древней Руси», получившем Госпремию РФ 1995.

Участвовал в научном переиздании «Історії української літератури» М. С. Грушевського 1993-1996 (завершил единолично) и в подготовке «Шевченківської енциклопедії». В 1996-2001 главный редактор журнала «Православие и культура».

Автор романов и пьес, напечатанных в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве. Рассказы печатались в Германии. Победитель и финалист ряда литературных конкурсов.

Владимир ФРУМКИН

ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ СВОБОДЫ?

Заметки несоциолога № 2*

*Мне вчера дали свободу.
Что я с ней делать буду?
Владимир Высоцкий*

1

Я уезжал из СССР в полной уверенности, что знаю свою страну как облупленную. Провел я в ней немалый срок, 44 года. Пожил и побывал в разных ее краях, от Белоруссии до Восточной Сибири и от Ленинграда до Крыма и Закавказья. Пока, наконец, не понял, что надо уезжать. Валить, как говорят нынче в России. Решиться на такой шаг осенью 1973 года, на ранней стадии «третьей волны», когда подавший документы в ОВИР немедленно превращался в изгоя, отщепенца и предателя, меня заставило ужесточение контроля над культурой: я оказался органически неспособен включить «задний ход» и вернуться к дооттепельным правилам игры.[1]

Расстаться навсегда с родными палестинами помогло мне и то, что я успел побывать ЗА их пределами. Увидеть своими глазами уголок мира, лежащего по ту сторону Железного занавеса. В конце августа 1965 года я, молодой член Союза советских композиторов, оказался в большой группе работников искусств, направляющейся на Эдинбургский фестиваль – с заездом в Лондон. Это было редкостью в те времена – попасть в капстрану без предварительной проверки-проварки в стране социалистического лагеря. Где-то на третий или четвертый день сумасшедшего бега по британской столице обращаю, наконец, внимание на местную публику. И тут до меня вдруг дошло, что я попал не просто в другую страну, а в другую цивилизацию.

Дух западной свободы, о котором я много слышал, но плохо себе представлял, перестал быть абстракцией, он материализовался в шедших по улице людях. У них было спокойно-доброжелательное выражение глаз и лиц, иная манера держаться и общаться – прямая, непринужденная, без настороженности, без боязни посторонних глаз и ушей. Они излучали независимость, уверенность в себе, внутреннее достоинство. Думаю, что если бы не этот «момент истины», вряд ли бы я – при моей органической нелюбви к конфронтации и склонности к компромиссу – решился на отъезд, да к тому же еще и столь ранний. Образ свободы, явившийся мне на лондонской улице, неудержимо влек за собой, как доктора Фауста – образ юной Маргариты. Он помогал мне и потом, в трудные времена привыкания к новой жизни, когда я учился дышать воздухом этой иной цивилизации...

2

Самым большим сюрпризом, если не потрясением, было то, что мое решение уехать у кое-кого из моих новых сограждан вызывало искреннее недоумение. Встречали они меня радушной улыбкой и неизменным: «Welcome to the United States!» Но к улыбке и приветствию сплошь и рядом примешивался некий диссонанс, проскальзывала тень то ли сомнения, то ли замешательства. Некоторые, однако, осмеливались поставить вопрос ребром: «Why did you leave? Почему уехал? Чего тебе не хватало в стране, где нет экономических кризисов и безработицы и есть бесплатная медицина и образование?»

Впервые такой вопрос был задан мне в первый же день нашего с моей женой Лидой прибытия из Рима в Де-Мойн, столицу штата Айова, где проживал мой американский дядя Герман Фрумкин. Мы сидели в ресторане, куда дядя пригласил в нашу честь своих близких друзей. Пытались управиться с роскошным, невероятного размера стейком и, попутно, поддерживать разговор с гостями. Что было очень непросто, поскольку гости не говорили по-русски, а наш английский был в состоянии близком к эмбриональному.

– So, why did you leave? – повернулся ко мне сидевший рядом крупный, цветущего вида мужчина средних лет (как выяснилось потом – славянских кровей).

С помощью дяди, за 60 лет жизни на чужбине не забывшего родной язык, я склеил несколько английских фраз – про дефицит свободы, про застои в экономике и культуре, про ложь государственной пропаганды, про чувство безысходности и истощенности жизни...

– Кажется, я понял, в чем тут дело, – улыбнулся мой сосед. – Вы бы никогда не уехали, если бы жили не в Советском Союзе, а в Китае!

– Это почему? – пролепетал я, чуть не подавившись куском безразмерного айовского стейка.

– Потому что СССР после смерти Сталина заметно обуржуазился. Там уже нет чистого, стопроцентного социализма. Такого, какой создан в КНР великим Мао Цзэдуном!..

«Чертовщина какая-то», подумал я. И решил, что этот любитель чистого социализма – большой оригинал. Или не совсем здоров на голову. Увы, оба диагноза оказались ошибочными...

В колледже Оберлин, куда мы приехали в начале августа того же года, мои коллеги, преподаватели гуманитарных дисциплин, считавшиеся специалистами по Советскому Союзу, предпочитали не задавать вопросов, а терпеливо меня просвещать. С целью развеять досадные заблуждения, присущие эмигрантам всех трех волн, а также советологам правого толка – отпетым реакционерам, называющим советский режим тоталитарным и даже в чем-то родственным фашизму. Да, признавали они неохотно, интеллектуалам, людям творческим там пока еще не вполне уютно, но зато трудящиеся массы – рабочие и крестьяне – живут вполне прилично. Скромно, без излишеств, но и без боязни потерять работу. Полная занятость, уверенность в завтрашнем дне, все сыты. Да, бывают перебои со снабжением, но со временем и это наладится.

Говоря о преимуществах советского социализма и неизлечимых язвах гнивающего Запада, мои просветители оперировали хорошо знакомыми мне марксистско-ленинскими аргументами. Я быстро сообразил, что передо мной люди верующие, зашоренные, каким я был сам еще сравнительно недавно, почти до конца 1950-х. И к их объяснениям-увещеваниям относился внешне спокойно, острых ситуаций избегал. Сорвался я только один раз. Когда услышал аргумент, очень уж странно прозвучавший в устах западного

левого либерала. И показавшийся мне несправедливым и оскорбительным для народа покинутой мною страны.

3

Это случилось на лекции в большой аудитории, где собрались студенты четвертого курса всех специальностей, без пяти минут выпускники Оберлинского колледжа. Выступить на традиционном, проводившемся раз в год форуме для четверокурсников пригласили авторитетную и любимую студентами Хезер Хоган, читавшую курсы по русской и советской истории. Свою лекцию она посвятила американо-советским отношениям и под конец заговорила о том, как следует правительству США относиться к диссидентскому движению в СССР. Совет был четким и однозначным: проявлять в этом вопросе сдержанность и осмотрительность, помощь инакомыслящим не оказывать – стоит ли осложнять отношения с мощной ядерной державой действиями, которые заранее обречены на неуспех?

Закончив лекцию, профессор отхлебнула воды из пластиковой бутылки и предложила задавать вопросы. Я вскочил первым.

– Правильно ли я вас понял, Хезер? – спросил я каким-то не своим, странно дрожавшим голосом. – Вы против того, чтобы Вашингтон оказывал поддержку советским правозащитникам, включая таких, как академик Сахаров? На каком основании?

– На том основании, что правозащитники и, в частности, Сахаров и его окружение, являются маргиналами, не имеющими в СССР никакого будущего, – произнесла докладчица, снисходительно улыбнувшись. – Их цель – установить демократию западного образца. Так ведь? А она в России невозможна в принципе.

– То есть, как невозможна?! – Тут мой голос задрожал еще заметнее. – Объясните!

– Очень просто. Русским людям чужда идея личной свободы, им чужд индивидуализм, коллективистское советское общество их вполне устраивает. В стране тихо и спокойно, протестуют одни лишь маргиналы-мечтатели, которых там можно по пальцам пересчитать.

Я не поверил своим ушам. Левая интеллектуалка, которой сам бог велел быть пламенной интернационалисткой, объявляет самый

многочисленный народ Европы с богатой и сложной культурой органически неспособным к жизни в условиях свободы? С какой стати? Из желания защитить от маргиналов-мечтателей многообещающий социальный проект, сулящий рождение нового общества, свободного от язв капитализма?

Чуть позже, оправившись от шока, я вспомнил, что ведь и высоко чтимые западными левыми Маркс и Энгельс могли, забыв об интернационализме и классовом подходе к истории, поставить крест на целом народе – если он насквозь пропитан зловредным капиталистическим духом. Или очень уж далеко и безнадежно отстал в своем историческом развитии. Скажем, кто глубже всех народов погряз в капиталистическом грехе? Евреи! И настолько в нем увязли, что их придется убрать с исторической сцены, растворив в окружающей среде. Эту светлую идею Карл Маркс высказал в статье 1844 года «К еврейскому вопросу»:

Что есть мировая основа еврейства? Корысть. Что есть мировой культ еврея? Торгашество. Кто его настоящий бог? Деньги... Деньги – это ревнивый бог Израиля... Банкнота – вот подлинный бог еврея!

Евреи – так уж сложилась их историческая судьба – олицетворяют капиталистические начала в человеческом обществе. Для того, чтобы преодолеть эти начала, необходимо растворить еврейство в окружающей их среде. Иными словами, сделать так, чтобы они исчезли.[2]

Доставалось от Маркса и русским: нация сомнительного происхождения, народ, скорее всего, не славянский, а пришлый – потомок то ли татар, то ли монголов, который не способен к развитию, не стремится к модернизации. Так как живет в государстве *варваров*, политика которого остается неизменной на любом отрезке истории...

4

О том, что русскому народу свобода не так уж и нужна для полного счастья, я услышал за несколько лет до инцидента в Оберлине. Прозвучал он, однако, не из левого лагеря и не из американских уст. Молодой ленинградский социолог Дмитрий Шалин был умен, про-

зорлив и рано понял, что он и социализм – две вещи, абсолютно несовместные. Дима уехал из СССР в 1975 году. Нас познакомил мой приятель, известный (благодаря его нашумевшим статьям в «Новом мире» Твардовского) социолог и философ Игорь Кон, который был его научным руководителем: Игорь отправил Диму для участия в неслыханном по тем временам телевизионном диспуте, который мне удалось – с помощью молодежной редакции Ленинградского ТВ – провести в прямом эфире.

Спор шел о двух музыкальных прочтениях пяти стихотворений Окуджавы – о «самодетельном», авторском, и об одобренной властями версии классика советской песни Матвея Блантера. Димина реплика оказалась самой умной и острой. Мы подружились, и когда он приехал в Америку, я устроил ему выступление в Русской летней школе Норвичского университета в Вермонте. Тему он предложил такую: как в Советском Союзе воспитывают детей и юношество – активных членов общества, будущих строителей социализма и коммунизма. Рассказ получился ярким и увлекательным, Дима не скупился на примеры из собственной жизни, благо детство и юность были у него совсем недавно. Когда отзвучали аплодисменты, докладчик сказал, что готов ответить на вопросы, но хочет предупредить, что обрисованную им систему воспитания ни в коей мере не считает порочной. В том смысле, что она идеально подходит для России, и добиваться ее изменения он категорически не рекомендует.

Зал замер в недоумении. Димин постскрипtum к нарисованной им картине индоктринации, превращающей миллионы детей в послушные винтики государственной машины, никак с этой картиной не вязался. Сюрреализм какой-то. Гротеск. Театр абсурда...

После томительной, напряженной паузы посыпались вопросы.

– А почему эта система, если она органична для России, не подошла лично вам, молодому ее гражданину? – спросил кто-то из аспирантов. – Почему вы эмигрировали?

– Потому что я – выродок, – усмехнулся Дима. – Понимаете? Я – один из горсточки советских людей, которые уродились ненормальными, чокнутыми – с точки зрения принятых в России критериев и норм. Мы – ничтожное меньшинство, родившееся с генетическим дефектом: у нас есть чувство собственного достоинства

и желание быть личностью, а не винтиком. Инакомыслие на моей родине считается патологией. Диссидентов сажают в психушки и пытаются их лечить. А я лечиться не захотел – и уехал.

– Но откуда у вас убеждение, что это навсегда? Что русские никогда не будут свободными? – этот вопрос звучал особенно настойчиво.

Из Диминых ответов мы узнали, что Россия тут не одинока: есть еще немало народов, которые вполне обходятся без демократии, плюрализма, свободы слова, капиталистической экономики. У них такой культурный генотип, сложившийся исторически на протяжении столетий. И преобразиться он может только в результате мутации, которая возможна лишь при одном условии: если происходит полная катастрофа, государство разваливается, и на обломках прежней национальной общности формируется обновленная нация.

Дима держался спокойно, на наши разгоряченные вопросы и реплики отвечал тихим, бесстрастным голосом, строго придерживаясь академического, сугубо научного языка. Я никак не ожидал от него такого подвоха: мой протеже, ненавистник тоталитаризма и автократии, убежден, что некоторым народам только такие режимы и нужны! И будут нужны всегда, пока эти народы живы! Мне на минуточку показалось, что передо мной не ученый, а судья, выносящий приговор населяющим Землю народам. Одним суждено жить свободно, другим – в добровольном рабстве.

Я поинтересовался, что думает докладчик о будущем немцев. О народе, 12 лет жившем при тоталитаризме и – на востоке страны – сохраняющем тоталитарный режим иного типа. «Нацизм был результатом временного помрачения национального сознания, – не моргнув глазом, ответил Дима. – И коммунизм в Германии тоже не приживется: это западноевропейский народ, который рано или поздно объединится на демократической основе». И тут мы с ним стали перебирать нацию за нацией. Я называю, а Дима назначает ей судьбу, вытекающую из ее истории. Одной выпадает вечное демократическое будущее, другой – вечное авторитарное.

5

Жесткость этой схемы, которую я тогда принял в штыки, а потом признал лишь частично (о чем читатель узнает ниже), что-то мне смутно напомнила: а не отрывка ли это отвергнутого Димой марксизма? Той его известной черты, которая получила название детерминизма и обусловила чрезмерную категоричность некоторых марксовых выводов и предсказаний?

Со временем я отказался от этой мысли и решил, что Димина идея о двух типах наций, свободных и несвободных, могла быть почерпнута у непримиримого противника марксизма, австрийского и английского философа Карла Поппера (1902–1994), автора учения о закрытых и открытых обществах. *Закрытым* он называл общество со статичной социальной структурой, ограниченной мобильностью, невосприимчивостью к нововведениям, традиционализмом и коллективистской ментальностью. *Открытое общество*, напротив, обладает динамичной социальной структурой, высокой мобильностью и способностью к инновациям. Оно ценит человеческие права, индивидуализм, демократию и плюрализм мнений. К закрытым обществам новейшего времени Поппер относил СССР и нацистскую Германию.

Может ли закрытое общество эволюционировать и со временем превратиться в открытое? В фундаментальном двухтомном труде Поппера («Открытое общество и его враги», 1945, русский перевод издан в 1992 г.) нет прямого ответа на этот вопрос. Ученый избегал высказываний и формулировок, звучащих как предсказание. Он говорит лишь о том, что такой переход исключительно, невероятно труден и поэтому весьма и весьма проблематичен. Труден потому, что переход от закрытого, архаического по своей сути, общества к открытому требует кардинальной перестройки сознания, отказа от вековых обычаев и привычек. Людям надо научиться самим принимать решения, которые раньше принимались за них поводырями общества, и жить в мире, где все одинаково свободны и лишены твердого руководства. В мире, который находится в непрерывном движении, постоянно меняется и обновляется.

6

Проблема усугубляется тем, что закрытое общество препятствует развитию открытого сознания *во всех его слоях*, включая высокообразованных интеллигентов, научную и художественную элиту. Американский славист и владелец легендарного издательства «Ардис» Карл Проффер (1938-1984), не раз побывавший в СССР, с удивлением обнаружил, что у российской интеллектуальной элиты не так уж много общего с их западными коллегами.

«Во время поездок в Россию, – вспоминал он в мемуарах, вышедших в России в 2017 году под названием «Без купюр»[3] – я сотни раз задавал вопрос “Верите ли вы в абсолютную свободу слова?” и лишь однажды получил в ответ решительное и безоговорочное “да” – от переводчика Фицджеральда. Во всех остальных случаях мне отвечали утвердительно, но затем выдавали перечень оговорок и ограничений, подробно объясняя, почему эти исключения так необходимы для истинной свободы слова. Солженицын все еще занимается этим и сейчас».

Александр Исаевич в те годы уже проживал в США. Его рассуждения и рекомендации относительно опасностей неограниченной свободы слова (например, в Гарвардской речи или в эссе «Наши плюралисты») подтверждают одно из заключений Проффера, поданных ему опытом общения с русскими литераторами: ***анти-советизм и открытость ума – не совсем одно и то же***. Став врагами советской идеологии и тоталитарной власти, мы не становимся автоматически стопроцентными демократами. Антисоветски направленное мышление далеко не всегда сочетается с западной системой ценностей. У него другие принципы, родственные, как ни странно, принципам отвергнутого нами советского мышления. Мы, выросшие в русско-советской культуре, не в силах полностью избавиться от впитанных с детства упрощенных, «черно-белых» оценок, привычек, реакций, комплексов.

(«Зачем Америке частные университеты? – спросил меня как-то Ефим Григорьевич Эткинд. – Кому нужна эта их независимость, этот разноречивый в учебных программах?» На мой встречный вопрос: «А что плохого в том, что университетами управляют сами про-

фессора и ученые, специалисты своего дела, а не государственные чиновники?», он так и не дал вразумительного ответа... Разговариваю с бывшим ленинградцем, ветераном Великой Отечественной, прожившим в Америке четверть века. Он очень недоволен американской армией: не умеет воевать, проявляет чрезмерную гуманность. «У нас, когда во время наступления в польской деревне стояли, солдата нашего убили – так мы ее с землей сровняли, ни одного из местных в живых не осталось. Чтоб другим неповадно было. Сталин был прав – только так и можно победить»...)

Карла Проффера поразило, в частности, то, как болезненно реагируют его русские друзья на возникающее в ходе разговора несопадение взглядов:

«Для нас оставшиеся после беседы разногласия так же нормальны, как соль на столе, но для русских неразрешенные противоречия зачастую означают дальнейшее молчание в телефонной трубке и конец взаимной откровенности. На смену терпимости пришло презрение, и хрупкие контуры свободного общества грозили распасться. Русские не хотели согласиться с тем, что самое незначительное в человеке – это его взгляды».

(Самое незначительное в человеке – это его взгляды... «Любые взгляды?» – спросил бы я Карла, если бы услышал от него такое в пору наших частых встреч в его издательстве, когда готовился к печати составленный мной сборник песен Окуджавы. Думаю, что он имел в виду взгляды сколь угодно разные, но все же приемлемые в приличном обществе. Разногласия и противоречия касались, по-видимому, частных вопросов, а не коренных, принципиальных, глобальных. Из-за которых, должен признаться, рвались как раз в те годы мои дружеские связи. Мог ли я при всем желании быть максимально толерантным, сохранить близкую дружбу с людьми, которые одобрили удушение Пражской весны? Или присоединились к гонителям композиторов, вышедших за рамки осточертевшего соцреализма?[4] В наши дни мы теряем друзей и единомышленников из-за того, что они не так, как мы, оценивают то, что происходит в России, любят Путина и желают ему успеха в благородном деле восстания Империи... А что сказал бы профессор Проффер сегодня

о толерантности американцев, оказавшихся – после президентских выборов 2016 года – по разные стороны идеологических баррикад и прекративших общение с близкими друзьями и родственниками? «Меняется страна Америка...» – как в воду глядел – 60 лет назад! – ленинградский поэт Владимир Уфлянд.)

Уезжая в эмиграцию, мы увозим с собой категоричность суждений и убеждение, что компромисс – это проявление слабости и поражения. И удивляемся упорству, с которым западные люди ищут компромиссное решение разногласий. И идут на уступки, чтобы разрядить конфликт. Эту разницу между двумя этическими системами, советской и американской, очень точно подметил и объяснил в свое время советский и американский психолог и математик Владимир Лефевр в книге «Алгебра совести».

7

– А на кой мне эта их хваленая терпимость, – взвился как-то отчаянный спорщик Наум Коржавин, наш друг и коллега по Русской летней школе Норвичского университета. – Да и никакая это не терпимость, а рав-но-ду-ши-е! И больше ничего!

Эма всегда был предельно откровенен и не скрывал своих взглядов и пристрастий. Громко горевал, когда рухнул Советский Союз. «К распаду империи отношусь как к распаду жизни», – написал он в Москву журналистке Зое Ерошок. Тяжело переживал потерю Россией Крыма, когда – после краха СССР – он отошел Украине.[5]

Имперский вирус проснулся в те судьбоносные дни и в другом русском поэте, выдавленном в эмиграцию чуть раньше Коржавина: Иосиф Бродский откликнулся на отделение Украины стихами, полными великодержавной обиды, гнева и грубой брани:

*...Скажем им, звонкой матерью паузы медля строго:
скатертью вам, хохлы, и рушником дорога!
Ступайте от нас в жупане, не говоря – в мундире,
по адресу на три буквы, на все четыре
стороны. Пусть теперь в мазанке хором гансы
с ляхами ставят вас на четыре кости, поганцы.*

*Как в петлю лезть – так сообща, путь выбирая в чаще,
а курицу из борща грызть в одиночку слаще.
Прощевайте, хохлы, пожили вместе – хватит!
Плюнуть, что ли, в Днипро, может, он вспять покатит...[6]*

В 1997 году Коржавин публично признался «городу и миру», что был и остается сторонником сохранения империи:

«Прошу не забивать меня камнями, но я империалист. Я как был им, так и остался. Я не насильственный империалист, я никого не хочу захватывать, не хочу отвоевывать Севастополь силой. Но кто завоевал Крым? Империя! Вы же против империи. Когда прибалты отделялись от нас, они отделялись не от рабства, а от свободы. Когда было рабство, они сидели смирно. Когда вместе надо было выходить к свободе, занялись более интересными вещами. Армянам я уж точно всегда сочувствовал, но в тот момент, когда надо было вместе спасаться, они оказались такими же русскими интеллигентами, как мы с вами. Во всяком случае, по уровню безответственности».[7]

Иными словами, народы СССР должны были добиваться свободы, дружно взявшись за руки и оставаясь в имперских рамках. Когда страны Балтии начали добиваться ухода из империи, Наум Моисеевич призвал (в «Литературной газете») деятелей культуры этих стран одуматься и не расторгать брак с Россией. Ему ответили, что это был не совсем брак: «Нас изнасиловали!» Отвергнув призыв русского поэта, прибалты двинулись к свободе сами и уже добились некоторых успехов. В то время как Россия, после неудачных экспериментов со свободной экономикой и демократией, переменяла курс и двинулась в обратном направлении, к обществу закрытого типа. Русский язык обогатился новыми словами: *прихватизация, дерьмократия, демшиза, либераст, Гейрона*. Американцы, пытавшиеся помочь русским модернизировать страну в 90-е годы, превратились в презираемых и ненавидимых *америкосов-пиндосов*. Сталин, считавшийся одно время тираном и убийцей миллионов, стал эффективным менеджером и великим стратегом, победившим фашизм.

8

Движение вспять резко ускорилось в начале 2014 года, когда – в ответ на украинскую «Революцию достоинства» – Москва аннексировала Крым. Воспетый Окуджавой в 60-е годы «союз друзей» – цепочка свободолюбивых интеллигентов, разрушить которую «вождеденно жаждет век» – стал дробиться и распадаться. Из нее в одночасье выпало 512 звеньев, среди которых немало известных в России и за ее пределами людей. Тех, кто поставил свою подпись под письмом *«Деятели культуры России – в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму»*. Нашлись и такие, кто подписался под другим письмом Президенту, осуждающим его политику. Сколько их набралось? 34 (тридцать четыре)...

Были ли неприятности у подписантов альтернативного письма? Были. Но не столько со стороны властей, сколько от тех, кто еще недавно находился в интеллигентской цепочке, но не смог устоять против поманившего их мифа о Великой России – вечной собирательнице и благодетельнице ближних и дальних племен и народов. Очень их задело то, что горсточка их коллег осмелилась не согласиться с национальным лидером, вернувшем России Крым с Севастополем и приступившим к усмирению обнаглевших укров. Один из первых залпов по «русофобам–фашистам» произвела Юнна Мориц:

*Путин – писательской славы король,
Путин – писательской славы отрада,
Ненависть к Путину – это пароль,
И никакого таланта не надо!
Ненависть к Путину – как бандероль
В западный рай из российского ада...*

Особенно громко прозвучали тогда, в 2014-м, стихи Новеллы Матвеевой, написанные в новом для нее – политико-публицистическом – жанре. Тихий и чистый голос талантливейшего и неподкупного поэта неожиданно окреп, напрягся, налился металлом и ядом:

Крым. (Чьи-то «мнения»)

Вернулся Крым в Россию!
 Как будто б не к чужим?
 Но кто-то ждал Мессию
 И вдруг такое! – Крым!

Вернулся (ты, похоже,
 Занёлся, гений мест?)
 И Севастополь тоже.
 (« – Какой бестактный жест!»)

Перекалился цоколь
 Различных адских ламп...
 « – Вторжение в Севастополь!» –
 Скрежещет дама-вамп.

« – Столь дерзкое вторжение
 «Любой поймёт с трудом.
 «Как так? – без разрешенья
 «Да с ходу – в отчий дом?..

Другое стихотворение названо и замыкается зловещим словом из арсенала 1930-х годов:

Контра

Бывало всякое... Сегодня ж –
 На ловкачей дивись, Фемида;
 Для них предательство – всего лишь
 «Одно из мнений» индивида!

Брависсимо! Гляди, как ловко;
 Предательство – всего лишь «мнение» –!
 Измена – «выбор точки зренья» –!
 Вредительство – «талант, сноровка»!..

*А впрочем, радиоэлита
На стороне врага – открыто;
Всё меньше игр двойного спорта.*

*Скажите ж мне: с какой печали
Их «оппозицией» прозвали?
Не оппозиция, а КОНТРА!*

Третье стихотворение, «Разгул», – гневная речь в защиту оболганного вождя народов, Иосифа Виссарионовича Сталина.[8]

Прочитал я все это с горечью и болью: будто кто-то ножом полоснул по сердцу. В котором Новелла занимала прочное место рядом с Окуджавой, Галичем, Высоцким...

Как ни стараюсь, не могу соединить эту Новеллу с той, которую знал тогда, в той жизни. В крохотной однокомнатной квартире которой на Малой Грузинской слушал ее песни и обсуждал ее статьи о том, почему нужна людям вольная, независимая «поющая поэзия». Они были слишком смелыми по тем временам и были забракованы журналом «Советская музыка», где Новелла хотела поддержать меня в полемике о бардовской песне, и издательством «Музыка», которое выбросило ее эссе «Как быть, когда поется» из составленного мною сборника «Поэзия и музыка». Незадолго до отъезда в эмиграцию получаю от нее письмо: «Вот вам стихи взамен тех злополучных статей». Стихотворение называлось «Ласточкина школа». Так же был озаглавлен и присланный ею новый поэтический сборник. Нахожу стихотворение, давшее название книжке. Над ним надпись: «Владимиру Фрумкину»... Восемь строф, миниатюрная поэма, в которую вошли крамольные мотивы отвергнутых статей, превратившихся под рукой поэта в гимн творческой свободе, в песнь о неотъемлемом нашем праве слагать и петь свои песни, не оглядываясь на авторитеты:

*...Как синее небо смиренна,
Проста и смиренна.
Как синее небо смиренна,
Как небо горда...*

*Ее распевает извозчик,
Погонщик поет вдохновенно...
Но жуткая тишь на запятках:
Лакей не поет никогда...*

9

На «сотни раз» заданный Карлом Проффером вопрос о том, нужна ли неограниченная свобода слова, встреченные им советские интеллигенты отвечали утвердительно, хотя и с оговорками. Решительное и безоговорочное «да» произнес лишь один – переводчик американского писателя Фицджеральда. Теперь, через четверть века после развала СССР, некоторые из постсоветских интеллигентов отвечают на этот вопрос иначе: решительным и безоговорочным «нет». Режиссер Андрей Кончаловский, к примеру, считает, что свобода препятствует рождению великих произведений:

«Я лично сожалею, что нет цензуры. Цензура никогда не была препятствием для создания шедевров. Сервантес во время инквизиции создавал шедевры, Чехов писал в прозе все то, что не мог из-за цензуры написать в пьесе. Вы что думаете, что свобода создает шедевры? Никогда... В творческом плане художнику свобода ничего не дает. Покажите мне эти толпы гениев, которых жмет цензура? Да нет таких».[9]

Итак, художнику свобода противопоказана. Так сказать, в силу специфики его профессии. Что касается простых людей, сограждан Андрея Сергеевича, творчеством не занимающихся, то они, по его мнению, вполне спокойно обходятся без западных свобод. И добиваться их не следует, потому как на русской почве они не прививаются:

«Я раньше был западником и тоже думал, что у России один путь — на Запад. Теперь убедился, что нет у нас такого пути.. ».

Пришел он к этому убеждению так:

«Я снял три фильма в русской деревне, я живу в этой стране и

знаю мой народ... И постепенно убедился: чтобы изменить страну, надо изменить ментальность. А чтобы изменить ментальность, нужно изменить культурный геном. А чтобы изменить культурный геном, надо сначала его разобрать на составные части вместе с величайшими русскими философами — то есть понять причинно-следственную связь, которая в нашей стране до сих пор не изучена. И только потом уже решить, куда нам идти».

Попробуем разобраться.

Итак. У России сегодня нет пути на Запад. Но он может открыться, если изменить ментальность народа; однако для изменения этой самой ментальности необходимо изменить культурный геном, или *культурный код*. Далее мы узнаём, что «культурный код у русской нации не изменился за последние тысячу лет», хотя «всё кругом меняется».

Эта логическая цепочка большого оптимизма не внушает. Если последние тысячу лет мир вокруг менялся, а культурный код русской нации оставался прежним, то что может его изменить? Предположим, русским философам удастся когда-нибудь разобрать этот таинственный геном на составные части и «понять причинно-следственную связь». А дальше что? Кто-то – ученые? писатели? школа? – начнет его менять? Нет, гипотеза социолога Димы Шалина звучала всё же убедительней: эволюция культурного генотипа может произойти только в результате мутации, то есть изнутри, самопроизвольно, под воздействием катастрофических обстоятельств...

10

Одного русского философа я знаю лично. Он к тому же еще и плодовитый, талантливый писатель. Был диссидентом, его философские и экономические труды публиковались на Западе под псевдонимом. Уехал в Америку 40 лет назад, работал в издательстве Карла и Эллендеи Проффер «Ардис», потом основал свое издательство – «Эрмитаж». Нынешних диссидентов, «несистемную оппозицию», не жалует. Поскольку считает, что «высоколобые бунтари» не понимают собственного народа, который в гробу видал столь дорогие им

западные свободы и вполне уютно чувствует себя под авторитарной властью:

«Сейчас в России многие со страхом замечают феномен так называемой «сталинизации» – писал Игорь Ефимов в 2014 году, в разгар «крымнашистской» национал-патриотической истерии. – Политические комментаторы ищут, «кому это выгодно, кто подспудно толкает» страну в сторону возрождения страшного режима. Для них было бы невозможно допустить, что в народной массе ностальгия по сильной руке, по порядку, по тотальной уравниловке всех в одинаковом подобострастном подчинении живёт и накапливается без всякого внешнего подзуживания. Умники политологи не хотят видеть, что дорогая им шкала моральных и интеллектуальных ценностей для народной массы не может быть привлекательной, ибо обрекает её – массу – на безысходное прозябание внизу... Ждать, что россияне, прожившие весь 20-й век под гнётом самого свирепого деспотизма, могут сравняться с политически зрелыми народами, – недопустимая и непростительная наивность».[10]

Эта наивность, полагает Игорь Маркович, таит в себе колоссальную опасность, так как если российским прозападным либералам удастся скинуть нынешний режим, следующий почти наверняка окажется еще более свирепым:

«Конечно, презирать и ненавидеть правителей – занятие увлекательное, гарантировано возносящее тебя на высокие ступени в глазах окружающих и твоих собственных. Просто жалко отказывать в нём своим высоколобым друзьям. Но всё же мне хотелось бы напомнить им несколько исторических реалий. Парижане, ликовавшие летом 1789 года по поводу падения Бастилии, ещё не знали имён Робеспьера, Дантона, Марата. И русские интеллигенты, нацеплявшие красные банты в феврале 1917-го, не слышали имён Ленина, Троцкого, Сталина, Дзержинского. И немецкие, свергавшие кайзера в ноябре 1918-го, не предвидели, что вскоре им придётся выбирать между Рэмом, Тельманом и Гитлером. И вы, мои дорогие бунтари, ещё не знаете имён тех, кто воцарится в Кремле, если Богородица исполнит молитву четырёх весёлых рок-шансонеток, устроивших непристойный пляс в храме Христа Спасителя».[11]

Отважный человек Игорь Ефимов. Не каждый решился бы на такой поступок: высказать публично идеи, которые ввергнут в шок людей его круга, его бывших единомышленников. Вот что он пишет об этом в той же статье, где впервые открыто изложил свой, по его собственному определению, «способ политического мышления»:

«Живя в Советском Союзе, я точно знал, что мои политические взгляды следует скрывать от властей предержавших и от людей посторонних. Какой парадокс! На Западе я дожил до того, что должен скрывать их от людей дорогих мне и близких по духу, по вкусам, по жизненной судьбе, если не хочу утратить их доброе ко мне расположение. Ибо после многих лет бесплодных споров мне стало ясно, что разделяют нас не взгляды, а сам способ политического мышления. Мы по-разному видим модель государственной постройки – в этом всё дело».

Какой ответ вычитывается из этой статьи Ефимова на мой вопрос «Хотят ли русские свободы?» Насколько я понял, вот какой:

В данный исторический момент – не хотят. Или, лучше сказать, *не готовы* к свободе. Народ, искорёженный на протяжении целого века гнетом «самого свирепого деспотизма», не обладает политической зрелостью, необходимой для жизни в свободном, демократически устроенном обществе.

Нехотя, со скрипом, с оговорками готов признать, что да, в *обозримом* будущем у России мало шансов стать Европой. И не только из-за тоталитарной пропасти, в которой она оказалась в 20-м веке: трехсотлетняя добольшевистская история российской самодержавной монархии также не внушает больших надежд.

Иными словами: в *ближайшем, обозримом будущем* Россия вряд ли превратится из закрытого, авторитарного, с несменяемой властью общества в открытое общество западного типа. Что до ее шансов в более отдаленном будущем, то – вслед за моими новыми согражданами – повторю одну из их любимых поговорок: ***Never say never!*** *Никогда не говори «никогда»!* И отвергну пессимистические теории и прогнозы, услышанные мною в прошлом и кое-где провозглашаемые сегодня. Среди голосов прошлого мрачнее всего, пожалуй, прозвучал голос Петра Чаадаева:

«Мы не Запад... Россия... не имеет привязанностей, страстей,

идей и интересов Европы... И не говорите, что мы молоды, что мы отстали... У нас другое начало цивилизации».

И все-таки... Все-таки – не будем терять надежду. Тем более, что рецепт перехода России к свободному образу жизни уже существует. Его предложил недавно глубокий знаток своей страны Владимир Войнович. Вот его главные рекомендации:

«Избрать свободный и независимый парламент, в котором серьезные вопросы серьезно обсуждаются и принимаются большинством голосов, но не стопроцентным... Президент считается государственным служащим, облеченным высоким доверием, но не освобожденным от критики... Всякая лесть первому лицу государства, похвалы его внешности, уму, прозорливости и таланту, выраженные в прозе, стихах или песенном жанре, следует приравнять к взятке в особо крупном размере... Освободить СМИ от государственного контроля, считать защиту прав граждан неукоснительной обязанностью государства, а ущемление этих прав – уголовно наказуемым деянием. Суд, разумеется, должен быть абсолютно независимым и непредвзятым, никаких инстанций, стоящих выше закона, для него быть не может. Ну, это в общих чертах. А что касается подробностей, то я бы посоветовал воспользоваться примером стран Западной Европы или Северной Америки, или даже некоторых азиатских, которые доказали, что демократия, хоть и не идеальный, но лучший из всех известных способ сосуществования людей. Способ, позволяющий людям жить в достатке и мире и соответствовать требованиям текущего времени. Пример этот открыт для заимствования и не защищен копирайтом». [12]

Хорош рецепт, возразить нечего. Но применим ли он в сегодняшней России? Сомневаюсь. Мой московский друг, талантливый эссеист, писатель и историк, уверен, что нет, не применим:

«Допустим, начнем делать все, что он предлагает, – читаю в полученном от него письме. – Но – с кем? Кто будет выбирать, кто будет выносить приговоры в судах? Выдь, Войнович, на улицу – чей гогот-голос раздастся?» Повторяющий все установки телепропаганды о «врагах с Запада», о «национал-предателях» и «пятой колонне» в России. Повсеместно. То-то и оно...

Вернемся к концепции Ефимова (которую я в письме ему уважительно назвал «Основы Ефимизма»). Есть в ней одна черта, которую я не принимаю самым категорическим образом: Игорь считает, что едва ли не любая власть заслуживает того, чтобы ее понимали и любили:

«Нет, не может интеллигент полюбить правителя – хоть ты его режь!»

«Российский интеллигент – тем более».

Так начинает Игорь Ефимов статью «Высоколобый бунтарь», которую я цитировал выше и в которой он подробно и красочно объясняет, за что следует любить правителей, включая весьма жестоких: они играют роль арбитров между процветающими, успешными – и безнадежно остающимися слоями общества, которые, лишившись мудрого арбитража, непременно схлестнутся в кровавой схватке. Когда-то, очень давно, я боготворил Сталина и восхищался Лениным. Мудрено ли, что сегодня я никак не могу проникнуться симпатией к сидящему в Кремле новому арбитру и его режиму, который возрождает культ Сталина и, как выразился недавно Виктор Шендерович, сохраняет на Красной площади «кладбище серийных убийц»?

Так что мне совсем не по душе настойчивые призывы Игоря, обращенные к критикам кремлевского режима: Уймись, ребята, не нападайте на власть, не раскачивайте лодку! Сидите тихо и не рыпайтесь! Не дело это – в порабощенные бразды бросать живительное семя. В общем, как говорится в известном анекдоте, расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие...

На мгновение представил, как будет выглядеть и звучать Россия, если в ней полностью замолкнут уже и так еле слышные голоса несогласных. Исчезнут диссонансы, воцарится ничем не нарушаемый державный мажор, и в душах тех, кто желал свободы и верил в ее достижимость, воцарится непроглядный леденящий мрак...

ПОСТСКРИПТУМ

Не надоела ли свобода американцам?

Заявив о том, что у России нет пути на Запад (см. главку 8), Андрей Кончаловский так продолжил эту интересную мысль:

«И, слава богу, что двигаясь в этом направлении, мы сильно отстали. Потому что Европа на грани катастрофы – это, кажется, совершенно понятно. Причины катастрофы в том, что, как оказалось, нельзя во главу угла ставить права человека. Права человека могут рассматриваться только в соответствии с его обязанностями. Они отказались от традиционных европейских, а значит христианских, ценностей».

То, что Европа находится на грани катастрофы – явный пережест. Страшилка. Западная Европа и Америка переживают кризис, но до катастрофы еще далеко. И кризис этот заключается отнюдь не в непомерном внимании к правам человека и забвении христианских ценностей. А в том, что наше открытое общество бодро и неуклонно движется навстречу закрытому.

Первым об этом заговорил американский философ Алан Блум, выпустивший в 1987 году книгу под названием «Закрывание американского духа». Я столкнулся с этой напастью в том же году – в Оберлинском колледже, когда начал читать семестровый курс по советской популярной культуре. По-английски. Записалось человек 20 лишним. После нескольких лекций дал домашнее задание: написать работу по первой главе книги Фредерика Старра об истории советского джаза. Фред, президент нашего колледжа и мой приятель, показал в этой главе, что советская культура формировалась совсем не так, как в западных странах, в частности – в Америке. Советская власть вводила культуру в желаемые ей идеологические рамки, отсекая все ненужное. Даже такую трудноуправляемую стихию как культура массовая, популярная. А в Америке она складывалась органично, спонтанно, снизу.

Читаю сочинения своих студентов – и меня берет оторопь. Подавляющее большинство, признавая, что одна культура росла естественно и нестесненно, а другая насаждалась сверху, специально оговаривали: но это не значит, что один путь хуже или лучше другого. Мы избегаем оценочных суждений, мы не признаем каких-либо качественных отличий между культурами.

Прихожу на занятие. Делаю разбор работ. И спрашиваю: а можно ли оценивать различные формы государственного устройства, сравнивать уровни развития общества? С точки зрения достигнутых гражданских свобод, например, или состояния экономики? Нет,

отвечает то же большинство, ни в коем случае. Никаких сравнений и оценок! Не имеем права судить. У всего сущего есть какие-то основания. Любая форма общества, раз она сложилась, была необходима. Забудьте, профессор, про уровни развития. Каждое общество ценно по-своему.

– Значит, никакие оценочные критерии не приложимы? – спрашиваю. Ни в коем случае, – отвечают. – Только критерии, принятые самим этим обществом. Универсальных критериев нет. Ну, а ценность человеческой жизни? – с робкой надеждой спрашиваю я. – Нет! В разных культурах к феномену жизни относятся по-разному. Стали ли бы вы уговаривать каннибалов не убивать и не есть людей?! Абсурд!

Далее мне вежливо пояснили, что понятия добра и зла к человеческой деятельности не приложимы, понятия эти наивны, они устарели, ненаучны, ибо пришли из религии. Мальчики и девочки, при одном только упоминании мною про нравственные критерии, про Добро и Зло, снисходительно заулыбались. [13]

За прошедшие с тех пор 30 лет описанный в книге профессора Блума тотальный релятивизм, отказывающийся видеть принципиальную разницу между западным обществом и полудиким племенем Южной Америки, еще глубже проник в систему американского образования на всех его уровнях, с низшего до высшего. Одновременно набирает силу «политическая корректность» – своего рода лингвистическое самооскопление. Великая чистка языка. Левые круги изымают из своего речевого обихода слова и выражения, которые, по их мнению, травмируют расовые и сексуальные меньшинства, женщин, людей с физическими недостатками (вместо *толстый* надо говорить *horizontally challenged*), и т.д., и т.п. Мало того. Эти круги, посылая подалеже Первую поправку Билля о правах – основу основ всех американских свобод! – изо всех сил пытаются навязать ограничительные языковые нормы всему обществу, требуя суровых административных мер за их нарушение. И эти меры уже принимаются. Левые студенческие организации устраивают бурные протесты против приглашенных лекторов, взгляды которых травмируют их хрупкую психику. Против «реакционеров», защищающих западный образ жизни, западную цивилизацию, предпочитающих свободную экономику регулируемой экономике социализма. От студентов не

отстают другие радикальные борцы за справедливость – «Антифа», «Black lives matter», анархисты, коммунисты... Протесты то и дело вырываются из-под контроля и перерастают в насилие. Новоявленные хунвейбины, напялив маски и вооружившись бейсбольными битами, бьют витрины и своих идейных противников, жгут автомобили.

А вот еще: у нас тут складывается новый идеал мужчины. Это, впрочем, не совсем мужчина, а – «облако в штанах». Существо, энергично формируемое радикальным феминизмом. Проявляющее чудеса самоконтроля, без которого – хана, полное жизненное фиаско, потеря друзей, положения в обществе, работы. Контролировать надо многое: язык и тон общения с женщинами, манеру проявления внимания (никаких касаний!), выражение глаз (обвинение в сексуальном домогательстве можно запросто схлопотать за «нескромный взгляд»). Обуздание врожденных инстинктов «сильного пола», как и обуздание речевой свободы американцев обоих полов, совершается по инициативе граждан и организаций, сознание которых сильно скошено влево.

Но и это еще не все.

Процесс «конвергенции» открытого общества с закрытым поддерживается львиной долей американских СМИ, работники которых в подавляющем большинстве голосуют за демократическую партию, заметно полевевшую в последние годы. Что может его остановить – одному Богу известно. Лишний раз убеждаюсь, что утопическая мечта о справедливом обществе, которое обеспечивает всем и каждому не только равные *возможности*, но и равные *результаты!* – о социальном рае без богатых и бедных, о всеобщем и абсолютном равенстве во всём – мечта, которая вбивалась в меня буквально с первых лет жизни, не умирает и, судя по всему, будет вечным спутником рода человеческого.

*Мой первый опыт в этом жанре назывался так: «Дна всё ещё не видать... Взгляд на американскую эмигрантскую жизнь изнутри – заметки не социолога». <http://www.obivatel.com/artical/169.html>

[1] См. главку «Отъезд» в «повести-переключке» «Через океан», написанной совместно с Тамарой Львовой. <http://7iskusstv.com/2014/Nomer12/Frumkin1.php>

[2] С.Г. Кара-Мурза. «Основания марксизма: этничность в тени классовой теории». <http://www.contrtv.ru/common/1357/>

[3] <https://www.litres.ru/karl-proffer/bez-kupur/>

[4] Об этом рассказано в моей статье «Донос в эфире». <http://berkovich-zametki.com/2009/Zametki/Nomer19/Frumkin1.php>

[5] «Если народ дерьмо, для кого же хотят демократии?» <https://www.novayagazeta.ru/articles/2015/10/14/65994-naum-korzhasvin-poet-90-let-171-esli-narod-dermo-dlya-kogo-zhe-hotyat-demokratii-187>

[6] <https://brodskiy.su/na-nezavisimost-ukrainy/>

[7] «Боже мой... Это – Россия». <http://lebed.com/1997/art50.htm>

[8] Все три стихотворения приведены здесь: <https://philologist.livejournal.com/9712608.html>

[9] «Нельзя во главу угла ставить права человека» <https://meduza.io/feature/2016/12/26/nelzya-vo-glavu-ugla-stavit-prava-cheloveka>

[10] Игорь Ефимов. «Высоколобый бунтарь». <http://www.berkovich-zametki.com/2014/Zametki/Nomer7/Efimov1.php>

См. также: <http://magazines.russ.ru/neva/2014/10/8e.html>

[11] Мрачные сценарии того, что будет после Путина, мерещатся порой и тем в России, кто, вопреки уговорам Ефимова, продолжает избличать пороки путинского режима:

«Я много раз говорил о том, что после Путина фашизм очень вероятен. То, что после серых приходят черные – это же не значит, что черные образуются из серых. Черные приходят на хорошо унавоженную почву – на почву невежества, страха, деградации, интеллектуальной, социальной, институциональной, какой хотите – на почву этой деградации, подготовленную предыдущим режимом. В Россию фашизм может сейчас прийти под любой маской... Пока он растворен в крови, его не видно, мы не можем ущипать эту болезнь. А вот когда она выходит наружу, на поверхность... Ее стало очень хорошо видно в четырнадцатом году во время так называемой «Русской весны»... И я думаю, что и сейчас Россия практически обречена на то, что следующий руководитель будет сталкиваться постоянно на каждом шагу с сильнейшим социальным фашизмом».

Дмитрий Быков. <https://echo.msk.ru/blog/partofair/2128702>
echo/

[12] Владимир Войнович. «Стебель, гребень с рукояткой» <https://snob.ru/selected/entry/133233>

[13] Подробнее этот эпизод изложен в повести «Через океан», в главе «Общага в Огайо. Юная Америка глазами аутсайдера». <http://7iskusstv.com/2014/Nomer12/Frumkin1.php>

Владимир Фрумкин – известный музыковед, журналист, эссеист. Закончил теоретико-композиторский факультет и аспирантуру Ленинградской консерватории, в 1957 году был принят в Союз советских композиторов.

Среди опубликованных работ – «От Гайдна до Шостаковича» (очерк истории симфонии), «Особенности сонатной формы в симфониях Шостаковича», «Песня и стих» (о музыкально-поэтическом стиле Булата Окуджавы). В начале 60-х годов стал заниматься исследованием и распространением песен Булата Окуджавы, Александра Галича, Новеллы Матвеевой, Юлия Кима и других поэтов-певцов.

В 1974 году эмигрировал в США, где опубликовал два сборника песен Б. Окуджавы с нотной строчкой и буквенным обозначением гармонии (издательство «Ардис», 1980 и 1986). Преподавал в Оберлинском колледже (штат Огайо), в Русской летней школе при Норвичском университете (штат Вермонт), с 1988 до 2006 года – сотрудник Русской службы «Голоса Америки» в Вашингтоне. В 2005 году в издательстве «Деком» (Нижний Новгород) вышла книга «Певцы и вожди», в которой автор размышляет о взаимоотношении искусства и власти в тоталитарных государствах, о влиянии «официальных» песен на массы и о возникшей после смерти Сталина альтернативной, свободной песенной культуре.

В. Фрумкин живет в Маклейне – вирджинском пригороде Вашингтона.

Андрей ОСТАЛЬСКИЙ

СУДЬБА НЕРЕЗИДЕНТА

Франция-Монако-Бельгия-Германия

Окончание. Начало в № 1 (5) 2018

В середине августа 1991 года я собирался в отпуск – купил путевку нам с женой на пару недель в подмосковный санаторий «Дружба». В конце рабочего дня я уже готовился запереть свой кабинет в «Известиях», когда на столе зазвонил телефон. «Господин Остальский, – сказал незнакомый голос в трубке, – меня зовут... (имя мне ничего не говорило). Мы с вами недавно встречались в Мюнхене, на радио “Свобода”...»

Убей Бог, я его не помнил. А вслух сказал: «Простите, к сожалению, ничем не смогу вам сегодня помочь, уезжаю в отпуск, нет ни минуты, меня машина внизу ждет». «О, нет-нет, речь не о комментарии на этот раз. Мы бы хотели, чтобы вы записали и сохранили под рукой кое-какую информацию... это очень важно и не займет у вас много времени». «Ну хорошо», – вежливости ради согласился, вздохнув.

Взял бумажку, на которой уже были сделаны какие-то записи. Перевернул: обратная сторона листа была свободна. «Я записываю», – сказал. И человек из Мюнхена принялся диктовать имена и фамилии с номерами телефонов. Некоторых из этих людей я знал: это были стрингеры и комментаторы, в той или иной степени связанные со «Свободой». Имена других слышал впервые. Всего около десяти пунктов или чуть больше. Листа не хватило, и две последние строчки пришлось разместить на страничке перекидного календаря. «Что это за список?» – спросил я. «Это на всякий случай. Как бы сеть безопасности. Если что-то случится, звоните по этим телефонам, может быть, кто-то сможет вам чем-то помочь», – отвечал

человек из Мюнхена. «А что должно случиться?» – насторожился я. «Нет, ничего! Говорю вам, это так, для профилактики. Как говорят по-русски? На всякий пожарный, да? Подстраховка...»

«Ничего не понимаю...» – сказал я. А про себя думал определеннее: «Чушь какая-то, бредятина».

Потом я много раз вспоминал тот момент и пытал сам себя: неужели действительно не понимал? Как такое возможно? Ведь чуть ли не накануне давал интервью английскому журналисту и рассказывал ему, что идея государственного переворота витает в воздухе, его смертельно боятся, но его же и ждут. Реакционеры – с нетерпением. И многие считают неизбежным.

Но, видимо, сознание раздваивалось: с одной стороны, как аналитик, я с готовностью рассуждал об удушливой, предгрозовой политической атмосфере, чреватой громом и молнией государственных потрясений, а с другой, в повседневной жизни, пребывал в состоянии психологического отрицания, не верил ни в какие перевороты, которые в какой-то другой реальности происходят, в других странах и на других планетах. При чем тут наша повседневная жизнь с ее обыкновенными мелкими заботами, делами да случаями? Вот лихорадочные сборы в отпуск, поездка на Клязьму в санаторий – это действительность, это настоящая, подлинная реальность.

А потому аварийный список «Свободы» я благополучно забыл на своем рабочем столе. Даже в сейф не положил. Там же на столе оставил и запрещенную в СССР книгу, написанную в соавторстве с британским экспертом, самым знаменитым чекистом-перебежчиком Олегом Гордиевским – это было разоблачение тайн разведки КГБ. Я собирался убрать книгу в сейф, но в последний момент в панике (терпеть не могу опаздывать) забыл на столе и ее. Тот дипломат имел к тому же дурацкую привычку помечать на внутренней стороне обложки принадлежность книги: из личной библиотеки господина такого-то, посольство США... То есть на столе на всеобщее обозрение был выставлен полный набор доказательств моей «шпионской» или, по крайней мере, антисоветской деятельности. Впрочем, к тому моменту я имел основания полагать, что таких доказательств у «конторы» и так более чем достаточно, и что некоторые из них прибыли на

Лубянку напрямик из того же самого Мюнхена, который я имел неосторожность посетить незадолго до описываемых событий.

А ведь вовсе не планировал туда изначально ехать. Эта идея появилась в последний момент, перед самым отъездом в мою первую в жизни частную поездку за границу. Сбылась мечта идиота – я прорвался, наконец, на Запад, причем не в командировку, а сам по себе, с женой, беспартийной вольной птахой...

Первым моим впечатлением от Европы было то, что границ между странами, собственно, нет. Вернее, нет никакого пограничного контроля. А ведь в тот момент даже слова такого «Шенген» никто из нас еще не знал. Соглашение, правда, уже было подписано, но до реального его воплощения в жизнь оставалось еще четыре года. Тем не менее на многих границах или вовсе не было проверки паспортов, или она производилась лишь время от времени – символически.

Настоящим шоком для меня стал пустой «стакан» иммиграционного контроля на франко-бельгийской границе.

Мы с женой гостили у ее брата в Париже, он вволю повозил нас по Франции по живописным «националкам» – бесплатным дорогам местного значения, пролежавшим, в отличие от платных и быстрых хайвеев, через города и веси, через живописные леса и поля. В кармане у меня была «вошь на аркане» – сто шестьдесят долларов, с огромным трудом набранные по сусекам. И было, конечно, невероятной наглостью с нашей стороны отправляться в большое европейское турне с такими «деньжищами» – расчет шел на то, что жилье будет бесплатным, и, благодаря родственникам, друзьям и коллегам, транспорт тоже оплачивать не придется – подвезут, ну а с едой тоже что-нибудь придумается. Конечно, нас все время угощали в домашних условиях, но в пути на ресторанчики, даже самые скромные, средств не было. Но выручали, например, базары и ярмарки, где по французской традиции можно попробовать содержимое каждого лотка. Помню, в очаровательном Арле прошел, не торопясь, вдоль бесконечно длинного оливкового ряда, так попробовался, – у каждого хозяина свой засол – что и обедать потом не мог. Заглянули и в Монако – и уже при въезде в княжество я все вертел головой – а где же граница? – и не находил ее. В знаменитом казино исправно проиграл пять заветных долларов в рулетку. Зачем? Ну ради острого ощущения: так хотелось сделать нечто для

совка запретное и невозможное. Поставил на черное и замороженно смотрел как вертится, несется оголтело запущенный крупье шарик, не веря своим глазам, что это происходит со мной, а не с героем какого-нибудь западного фильма, единственного дозволенного взгляда в капиталистическую действительность на протяжении долгих десятилетий моей жизни. На границе документы не проверяли, но при входе в казино потребовали паспорта и даже сняли с них копии. Таков был закон, но меня, согласно нормальной советской паранойе, терзали опасения: а вдруг информация о запретном визите как-то дойдет до советских властей? На последнем этапе нашего путешествия такая паранойя оказалась вполне оправданной, но тогда в Монако я совершенно зря себя накручивал.

Из Парижа мой шурин любезно повез нас на своей машине в Брюссель. Мы немного нервничали перед выездом из Франции – бельгийские визы у нас с женой были транзитные, и я лишь смутно понимал, на что мы имеем право. Но проверить паспорта оказалось некому – ни при въезде, ни потом при выезде.

А потом мы сели в Брюсселе в поезд и поехали в Кельн. И опять никто не проверял наши, уже теперь куда более солидные, настоящие туристические немецкие визы. Я упорно высматривал границу из окна. И, естественно, ничего не высмотрел. Но в какой-то момент четко понял: едем по Германии. Потому что контраст был, конечно, не такой резкий, как при пересечении советской границы по дороге из Венгрии (впечатления 1988 года) – когда каждый второй столб вдоль железнодорожной трассы почему-то оказывался покосившимся – но все же ощутимым. И в Бельгии все было достаточно чисто и аккуратно, но в неметчине в глаза бросалось нечто просто сказочное – картинка любовно вычищенной, чуть ли не вылизанной действительности. Все эти безупречные, точно вчера отштукатуренные и покрашенные в мягкие тона домики, палисадники, дорожки, невысокие зеленые изгороди казались почти декорацией. О, это была Германия!

Но документов у нас опять никто не проверил. Даже досадно: зачем же было напрягаться, использовать знакомство с пресс-атташе, добывать вожаделенную немецкую визу?

Уже перед самым отъездом в то сугубо частное турне, мои знакомцы из бюро Радио «Свобода», узнав, что я несколько дней

планирую провести в Германии, пригласили меня «заскочить на огонек» в мюнхенскую штаб-квартиру. Несколько минут я колебался, все-таки страшновато было... Но потом, тряхнув головой (была не была, все равно терять уже особенно нечего!), согласился, хотя по спине бежали мурашки. Было в этом остром ощущении и нечто очень приятное, прилив адреналина. Подумать только, я могу оказаться там, в самом логове. Радио «Свобода», Мюнхен! От самого сочетания этих звуков советский человек должен был замирать от ужаса. Десятилетия напролет внушали нам, что это самая что ни на есть сатанинская обитель. Пристанище мирового зла. В институте нам лекции читали «по враждебным радиоголосам». Их глушили, тратя на это сумасшедшие деньги (больше, чем на все собственное радио и телевидение вместе взятые), но находились сноровистые ловкачи, умевшие поймать в эфире забываемую всей мощью советского государства волну. И что-то иногда умудрялись расслышать.

В конце 80-х назло родной власти я стал время от времени комментировать внешнеполитические новости сначала на волнах Би-би-си на английском языке, а потом до меня добралась и «Свобода». С какого-то момента глушение прекратили – кажется, Яковлев уговорил Горбачева, получил поддержку Шеварднадзе, вялое сопротивление Лигачева удалось преодолеть. Мои не слишком частые выступления стали слышать друзья и недруги. Вот тогда-то я и стал получать предупреждения то ли от доброжелателей, то ли от каких-то «заинтересованных лиц», пытавшихся отбить у меня охоту давать интервью голосам из-за бугра. Но меня это только еще больше раззадоривало.

А потом вдруг однажды на адрес «Известий» пришел таинственный чужеземный конверт с непривычным пластиковым «окошком», сквозь которое просвечивала странная зеленая бумага с моим именем. Внутри оказался бибисишный контракт на уже состоявшееся интервью, обещавший мне, при условии, что я его подпишу, 29 английских фунтов стерлингов. То есть примерно 45 долларов. Ничтожная вроде бы по нынешним меркам сумма, но тогда... О, это были времена, когда как-то «срубленные» десять долларов означали сказочный поход в магазин «Садко» напротив метро «Киевская», с массой (как нам в то голодное время казалось)

вкусных вещей для всей семьи. А здесь – не 10 долларов, а больше 40! Четыре скромных похода или одно огромное пиршество!

Правда, я поначалу не знал, как можно тот контракт превратить в деньги. Колебался даже: может, стоит попросить британцев ничего мне за мои интервью не платить? Зачем дразнить гусей – тех самых, что вышли из шинели Дзержинского? Но потом подумал: черт возьми, ведь если денег брать не буду, все равно не поверят. Неприятностей в любом случае не избежать, и копию контракта они, эти самые «гуси», наверняка уже изготовили и к делу приобщили, для них это – само по себе доказательство, что продаю родину за деньги.

Так что лучше хоть надышаться перед смертью, насладиться магазином «Садко» напоследок...

Московское бюро Би-би-си предложило мне помощь в «монетизации» моих контрактов. Потом стали приезжать корреспонденты из Лондона, призывали меня на помощь и как комментатора, и как эксперта, и как советчика. Тоже платили – очень скромно по западным стандартам, о которых я, впрочем, имел в то время самое смутное представление. Но таким образом и накопил те 160 с небольшим долларов на первую поездку в Западную Европу. Ведь до этого бывал только на арабском Востоке, в Африке, да еще вот в Чехословакии и Венгрии – по путевке Союза Журналистов. И вот такой прорыв!

Радио же «Свобода» никогда никаких разговоров об оплате со мной не заводило. Да и мне (не поверите, наверно, но это были такие странные времена) в голову такое не приходило.

Меня снабдили номером телефона знаменитого редактора программы «В стране и мире», Савика Шустера, и я позвонил ему из парижского телефона-автомата. Как сейчас помню: стою внизу, в раздевалке великого музея Musee d'Orsay, голова гудит от обрушившейся лавины слишком сильных впечатлений – шутка ли, сразу столько любимого импрессионизма! Мане, Моне, Ренуар (ах, как много Ренуара на самом верху, и можно стать близко, и рассматривать не спеша каждый гениальный мазок).

И вот после этого всего еще и в «логово», в Мюнхен, надо звонить – я даже спрашивал себя: а может, ну их, целее буду? Чересчур много всего в этой поездке. Открытие свежих багетов –

глаза на лоб лезли, как вкусно. А круассаны, черт бы их побрал – в дублированных французских фильмах их называли рогаликами – кто бы мог подумать, что они так тают во рту! А эспрессо в Bag-Tabas, совершенно не похожий на то, что я почитал за кофе (хотя в Венгрии он тоже был недурен), а прогулки по большим бульварам? Это потом, после двадцать какого-то посещения Парижа, они мне станут казаться скучноватыми и однообразными, но в тот, самый первый, заветный раз в момент лишения советской «девственности» казалось, что ничего не могло быть на целом свете красивее. А синее море Лазурного берега, а Английская набережная в Ницце, а уже упоминавшееся Монако? Каждый день щипал себя и говорил: да-да, я там бывал, да, да, я сам, лично играл в рулетку в Монте-Карло! В Авиньоне стоял на всемирно знаменитом мосту и распевал с женой песню XV века, которую с детства знает каждый француз: *Sur le pont d'Avignon on y danse, on y danse, Sur le pont d'Avignon on y danse tous en rond* – все танцуем в круг на Авиньонском мосту. В кружок у нас не получилось, но так, символически, ногами подрыгали и музыкально поголосили. И неважно, что, как выяснилось, в седые века французы плясали под мостом, а не на нем – слово *sous* (под) так коварно похоже на слово *sur* (на) – в общем, сюр! Но какая, впрочем, разница...

Много еще всякого другого, для описания чего и нескольких томов не хватит, не то что ярких, а просто сумасшедших впечатлений от улыбчивого, красочного, сытого мира, совсем не похожего на совковую промозглую серость и слякоть. Что касается избытка в магазинах, то, казалось бы, Ливан и Кувейт меня все же в некоторой (но не полной) мере подготовили. Но, во-первых, именно что не в полной, а во-вторых, не только в магазинах и рынках дело. Настроение в этом новом для меня мире было совсем другое, солнечное и расслабленное, без угрюмого напряжения, без боязливых озираний, без умолкания испуганного при вольных речах.

Конечно, я не мог сразу стать таким, как они. Но полюбоваться можно было. Запомнить постараться, поскольку ни малейшей уверенности в том, что удастся вернуться сюда еще хоть когда-нибудь, не было и не могло быть. Вполне даже вероятной представлялась ситуация, что это будет первая и последняя вылазка на Запад.

И вот я стоял в подвале у телефона-автомата и не решался

набрать мюнхенский номер. Вспоминал, как пару недель тому назад позвонили домой – это был какой-то молодой, незнакомый ведущий. Он вел прямой эфир – опять же дело в те времена в советской радио и тележурналистике практически невообразимое. Ведущий по очереди обращался к эксперту в мюнхенской студии, потом к корреспонденту в Вашингтоне, а потом ко мне – по телефону. Темой передачи было очередное обострение ближневосточного кризиса. «Как будут действовать США? – спрашивал ведущий у американского корреспондента. – А как Западная Европа?» На этот вопрос отвечал эксперт в студии. Ну и потом доходила очередь до меня, чтобы я изложил позицию Москвы. Все шло благополучно, но в конце сюжет как-то вдруг персонализировался. «Вот вы, господин Остальский, говорите о том, какую позицию озвучил советский МИД. Но известно ли, что по этому поводу может думать сам Горбачев? Есть ли какие-то нюансы? Или он целиком и полностью полагается в этом на Шеварднадзе?»

– Есть основания предполагать, – заговорил я, – что Горбачев...

– Андрей, Андрей, мы вас вдруг перестали слышать! – заволовновался ведущий. – Ваш голос пропал...

– А я вас прекрасно слышу, – отвечал я.

– А, так теперь и мы вас. Вы вернулись. Продолжайте, пожалуйста. Вы говорили, что Горбачев...

– Да, – продолжил я, – дело в том, что позиция Горбачева определяется тем...

– Андрей, вы опять пропали...

То же самое повторилось еще пару раз. Меня прекрасно было слышно до тех пор, пока я не произносил фамилию Горбачева. В тот момент мой голос чудесным образом исчезал из эфира. А я и не подозревал, что существуют такие технические возможности.

Но ведущий не собирался сдаваться.

– Господа из КГБ, – сказал он в микрофон, и тысячи, десятки, а, может, и сотни тысяч слушателей, наверно, вздрогнули в этот момент, – пожалуйста, позвольте нам закончить передачу! Это ведь прямой эфир! Вся наша аудитория умирает от любопытства узнать, что творится в голове у советского лидера. Просим вас очень вежливо, но настоятельно: ради Бога, дайте господину Остальскому договорить!

И – можете себе представить! – дали. Связались, наверно, с каким-нибудь генералом, и тот сказал: «Ладно, не нужно нам скандалов. Черт с ним, пусть договорит. Но вы только запишите. Мы ему это в скором будущем припомним».

А теперь я стоял перед французским телефоном в великом музее и размышлял: стоит ли на самом деле звонить в Мюнхен? Ведь так все хорошо, так безоблачно, так весело. А после поездки в «логово», настроение как раз может испортиться. Липкий страх залезет во все поры – вон он уже и так где-то там шевелится, в глубинах организма.

И все же диск крутанул – кнопок тогда ведь еще не было.

И Савик сказал: «Да, ждем. Закажем вам пансион. Переночуете. Оплатим вам ночлег. Но проезд до Мюнхена вам придется самому осилить. Но ведь вы тут у нас получите накопившиеся гонорары».

– Гонорары? Правда? – спросил я, а сам лихорадочно думал: этого еще не хватало. Хотя с другой стороны, семь бед, один ответ. И потом, иначе мне проезд не потянуть, и так придется, наверно, где-то денег одолжить... Ладно, пусть платят свои сребреники...

– Конечно, гонорары, а как же! – удивился моей наивности Савик. – У нас в этот день обычно касса закрыта, но мы постараемся договориться с кассиром, чтобы он для вас специально открыл на несколько минут.

По дороге из музея я как бы между делом сказал жене: представляешь, кажется, мне деньги какие-то полагаются на «Свободе».

– Сколько? – тут же переспросила практичная жена.

– Понятия не имею. Ну, наверно... несколько сотен. Долларов или марок, не знаю. Ну в общем хватит, чтобы оплатить проезд до Мюнхена и обратно. И еще останется что-нибудь на магазины в Бонне.

Жена заметно повеселела, а то ведь наш жалкий бюджет был уже совсем на исходе. А я все никак не мог понять, радоваться мне или наоборот.

В Бонне гостеприимный корреспондент «Известий» предоставил ночлег и свою милую жену – в качества гида по городу. И так они все мне легли на душу – и сам корреспондент, и его жена, и город, – что я рискнул, открылся: попросил коллегу помочь купить

железнодорожный билет подешевле, надо, дескать, съездить в гости в Мюнхен, догадываешься, к кому...

Оказалось, что каждый иностранный журналист, аккредитованный в то время в Бонне, имел право раз в год на один бесплатный железнодорожный билет в один конец до любого города Германии. Применение тем билетам не часто находилось, поскольку все журналисты гоняли по сумасшедшим германским автобанам на сумасшедших немецких машинах. Так вот, корреспондент «Известий» отдал мне свой билет, да у кого-то из советских коллег выпросил еще один. В результате я и туда, и обратно прокатился на волшебном немецком поезде совершенно бесплатно. Я такого комфорта, да что там, ничего к тому близкого и не испытывал никогда, не знал, что такое бывает. Поезд не ехал, а летел, без шатаний и тошнотворной тряски и подпрыгиваний на рельсовых узлах. Я сидел в удобном, ласково обнимающем тело кресле, а мимо, в огромных стеклянных окнах проносилась беспредельно чистая, сияющая незнакомой, непривычной красотой природа, вылизанные и выскобленные поля и рощи, точно нарисованные, без трещинки и щербинки станции и полустанки. Сияли под мягким солнцем декоративные уютные городки, а прямо к креслу то и дело подкатывал буфет на колесах с немецким пивом, которое в то время мне казалось чем-то вообще неземным, потусторонним, и вкуснейшими ветчинно-колбасными и сырными бутербродами.

В Мюнхене меня поселили в очень скромном (но, как и всё в Германии, чистом) пансионе, с общей ванной и туалетом на этаже. Неважно, я тогда вовсе не был избалован гостиничной роскошью, к общему нужнику было не привыкать. Зато я смог посмотреть Мюнхен. Поездил по городу на трамвае, узнал, где находится тот самый, печально известный «гитлеровский» пивной зал, откуда началась смертельная для миллионов людей, в том числе и немцев, карьера помешавшегося на ненависти к евреям психопата. Пожилая женщина, указавшая мне дорогу, грустно покачала головой: «Зачем вам это? В Мюнхене есть много чего другого, интересного. А это... а это лучше оставить в покое». Но я упорствовал, добрался до пивного зала Hofbräuhaus. Пивная мне показалась большим, просторным и унылым, совершенно неуютным заведением, выпил я там из огромной кружки прекрасного пива — ну так оно и везде в Германии

прекрасное. Ничего не почувствовал, никакого содрогания или прикосновения к истории. Одну только скуку. Потом выяснилось, что настоящее здание-то давным-давно снесли, а потом выстроили на его месте точную копию. Так что понятно, почему не осталось никаких роковых следов в атмосфере. Фрики со всего мира, бывает, сюда ездят в свои ненавистнические паломничества, но я никого подобного в зале не разглядел. А еще оказывается, здесь, вернее, в прежнем здании-оригинале, и Ленин бывал. Ну и что с того?

Проникнуться от этого благоговением, которого я никогда и в мавзолее не испытывал, что ли? В общем, не ходите дети (и взрослые) в Хофбройхаус гулять. Ничего там нет интересного. А вот знаменитая на весь мир центральная площадь Мариенплац — это как раз место роскошное, и история там без сомнения витает в воздухе. Застроена площадь чрезвычайно эклектично — из-за того, что во время войны город разбомбили, и его пришлось в значительной степени отстраивать заново. Вот почему Новая ратуша выглядит гораздо древнее Ратуши Старой, и тут же, бок о бок совсем уже современные коммерческие здания. Но в этом разностилье как раз и возникает яркое ощущение естественности движения полноценной жизни.

Но вот штаб-квартира «Свободы» меня разочаровала — внешне она была совсем непрезентабельна. Так, нечто неброское, светлое, двухэтажное, вызвавшее у меня ассоциации со старым школьным зданием, в котором я когда-то учился. Зато у меня почти челюсть отвисла, когда я увидел, как тщательно охраняется вход в «Логово», — сверхчувствительная аппаратура, сквозь которую пропускали ваш портфель, рамки, сквозь которые вы должны были пройти — с таким уровнем мер безопасности я до тех пор не сталкивался. Ведь акты терроризма в то время были еще совсем редким явлением. Особенно меня поразило, что, пока вас и ваш багаж не осмотрят самым доскональным образом, вы оставались в замкнутом пространстве, между запертыми на мощные замки сверхпрочными дверями — ни ворваться в здание, ни бежать прочь.

Настроенный на лирический лад прогулками по Мюнхену, теперь я попал совсем в другой мир: это была территория холодной войны и высоких рисков, здесь не шутили, а ожидали диверсионного нападения. Как я узнал позднее, эти меры были ужесточены после

того, как румынская агентура заложила в здание бомбу, от взрыва которой пострадали шесть человек. Ведь здесь же располагалась и радиостанция «Свободная Европа», вещавшая на восточно-европейские социалистические страны и заслужившая личную ненависть румынского диктатора Николае Чаушеску.

Встретили меня довольно торжественно и повели по начальственным кабинетам. Был я, оказывается, важным гостем, потому как впервые станция заполучила во внештатные авторы человека, официально все еще числящегося не просто советским журналистом, а сотрудником второй по политическому значению газеты СССР, официального органа Верховного Совета! Да еще из привилегированного международного отдела. В какой-то момент меня даже кольнула мысль: «А что, может, я и правда – того-с, предатель? Но чего и кого? Мертвой лживой идеологии, чуть было не угробившей мир? Или, может, это я Константина Михайловича Харчева предал? Ха-ха! И вообще, холодная война подходит к концу, будем надеяться...»

За несколько часов, проведенных на станции, а также ужина, устроенного в мою честь в одном из ближайших ресторанов, чего я только не узнал! Оказывается, (я просто ушам своим не верил) на «Свободе» существовали две находившиеся в яростном ежедневном противоборстве эмигрантские фракции. Во-первых, славянофильская-антисемитская, для которой героями были Солженицын и ненавидевший евреев гениальный математик, академик Игорь Шафаревич, изобретатель термина «русофобия», а с другой стороны – западническая (которую враги именовали «сионистской»), для которой главным моральным ориентиром был Андрей Сахаров. Американское начальство не очень понимало суть разногласий и пыталось как-то сохранять мир в подведомственном коллективе. Однако гражданская война иногда выливалась в серьезные конфликты. Дело доходило до диверсий – могли и пленку с записанной передачей перед эфиром выкрасть...

«А во-вторых, – прошептал мне в ухо подвыпивший радиожурналист, – всем известно, что «Свобода» битком набита, просто таки даже кишмя кишит агентами КГБ». Еще несколько часов тому назад я бы подумал: «Ну и паранойя, однако!»

Но перед самым званым ужином случилось нечто, что зас-

тавило меня серьезнее отнестись к предупреждению случайного собеседника.

Произошел волнующий визит в специально открытую для меня кассу, в которой оперировал строгий и благообразный, с небольшой бородой, немец средних лет. Он хорошо говорил по-английски.

Был он несколько угрюм, видно, не очень обрадовался тому, что пришлось выйти на работу в выходной день. Но дело свое знал, быстро нашел мое имя в каких-то кондуитах, достал откуда-то квитанции... И вдруг покраснел и даже выругался. Слова «шайсе» я тогда не знал еще, но по интонации догадался, что это такое примерно. «Что случилось?» – спросил я. «Да, опять. Обычное дело...»

– Что опять, что обычное дело? Денег не завезли что ли, или подписи начальника под ведомостями нет?

– Всё есть, – отвечал бородатый. – Только вот копии, вторые экземпляры платежных квитанций, пропали, украдены.

– Как это пропали, как украдены, – не понял я.

– Как, как... КГБ, знаете такое название? Их агентура ворует копии квитанций.

«Зачем?» – чуть было не задал я глупейшего вопроса (чего только не выпалишь от неожиданности), но осекся. Замолчал. Ежу понятно зачем. Чтобы к делу подшить, хранящемуся в недрах соответствующего ведомства. Ну и что теперь делать? Бежать? Да нет, бессмысленно, все равно ведь уже враг народа, так хоть деньги взять. Много ли денег? Я не поверил своим ушам.

Мне причиталось больше двух тысяч марок – то есть опять же, не так уж и много по нынешним временам, меньше тысячи долларов, – накопившихся за пару лет. Но для совка это было целое состояние.

А сколько это походов в «Садко» – с ходу было и не сосчитать.

Так что после этого шока я воспринял сообщение о кагебешниках в рядах антисоветчиков «Свободы» вполне серьезно. На слуху была еще дикая история Олега Туманова, простого матроса, сбежавшего с корабля в Египте. Оказавшись в Мюнхене, он попал на «Свободу» в самом скромном качестве – у него ведь и образования никакого не было. Но Туманов чем-то невероятно понравился американскому начальству, настолько, что сделал совершенно феноменальную карьеру, дослужившись до должности руководителя русского вещания «Свободы». А потом вдруг исчез с этого поста и всплыл в

Москве, на устроенной в пресс-центре МИДа пресс-конференции, где он гневно разоблачал «клеветников», усилиями которых только что руководил.

Именно его высокий пост пугал: ведь в таком случае можно было ожидать, что под его крылом трудились и многие другие агенты. Не может быть, чтобы был он в единственном числе! Но неужели так уж прямо «кишмя кишат»?

В общем, настроение от того визита сложилось не очень-то благостное. Но поужинал, поблагодарил, и, переночевав еще раз в том же пансионе, вернулся на чудесном поезде в Бонн. И поездка помогла развеяться.

Деньги потратили довольно бездарно – пришлось спешить все истратить. Ведь при въезде на бдительную родину надо было декларировать все до копейки.

А этого делать не хотелось, хоть, казалось бы, скрывать уже было нечего. Но вдруг найдут предлог отобрать? Ох, как это обидно было бы...

Еще одна сюрреалистическая деталь того времени, врезавшаяся в память. Когда приехали на Белорусский вокзал, оказалось, что официальное такси получить практически невозможно – стояла многочасовая очередь. Зато тут же обретались, крутя ключи в руке, многочисленные «леваки». Доставшийся нам оказался водителем огромного автобуса «Икарус». За 10 долларов он был готов вести нас куда угодно. Абсурд: шмоток и всякой еды (время было голодное) мы, конечно, набрали немало (18 коробок), но не настолько же, чтобы автобусы для их перевозки требовались... К подъезду нашего дома в Черемушках «Икарус» еле-еле протиснулся. А вскоре нашу квартиру обчистили, и никаких материальных следов от нашей поездки и свободинских гонораров не осталось. Не могу сказать, что я отнесся к этому совсем уж равнодушно, грабеж неприятен тем, что это попрание, нарушение твоего личного пространства, это изнасилование своего рода. Ну и если лишаешься необходимых атрибутов, обеспечивающих элементарные бытовые удобства, то это тоже очень неприятно. Но что касается остального, то я уже и тогда научился относиться к материальным потерям философски – мишура все это и суета сует. Горевать из-за такого точно не стоит, жизнь для этого слишком коротка.

Но радио «Свобода» напомнило о себе в середине августа, когда я собирался в отпуск на пару недель в свой любимый подмосковный санаторий «Дружба». Тогда-то и принял я странный звонок из Мюнхена, со списком страховочной сети «на пожарный случай». Звонок тот должен был бы меня напугать, но не напугал. А зря.

Несколько дней спустя, утром 19 августа, я отправился, как мне было назначено, в биохимическую лабораторию санатория, чтобы сдать кровь на анализ. Медсестра как раз запустила мне иглу в вену, когда включенная у нее над головой радиоточка заговорила жирным дикторским голосом, торжественно извещающим о введении чрезвычайного положения в СССР. Ясно было, что государственный переворот, о котором тщетно пытались предупредить Горбачева Шеварднадзе и Яковлев, свершился. Но тот не поверил не только своим, еще недавно ближайшим соратникам, но (как потом выяснилось) и президенту Бушу. Даже «Свобода» знала уже о грядущих событиях и пыталась меня предупредить и помочь, да я, идиот, тоже не внял предупреждению и даже заветный список страховочной сети с собой не взял.

Я был уверен, что Горбачев арестован или изолирован («А может быть, и убит», – мелькнула мысль), что реальная власть перешла в руки хунты, в которой главным наверняка был самый зловецкий деятель того времени, председатель КГБ Владимир Крючков – тот самый, который объявил таких людей, как я, предателями и шпионами.

Кровь, видимо, буквально застыла в моих жилах. Медсестра принялась мять и крутить мою руку, приговаривая: «Не понимаю, что случилось, не течет... Наверно, придется колоть заново». Но мне было совсем не до медицины. Пробормотав какие-то невнятные извинения, я избавился от иглы и побежал к жене в номер.

То, что я физически испытал в те часы, не сравнимо ни с чем другим – ни с тем, что я ощущал под пулями и снарядами в Ливане и Ираке, ни при вооруженных нападениях, которым случалось подвергаться, ни в других, самых опасных ситуациях. Это была странная смесь отчаяния, ужаса и ненависти. Я не сомневался, что соответствующие подразделения КГБ уже получили списки неблагонадежных, подлежащих аресту, и в той же мере был уверен, что мое имя в тех списках наверняка есть, хоть, может быть, и не в

первых строчках. Скорее даже где-нибудь в конце. Но воспоминание о том, что я столько дополнительных улик против себя небрежно на виду оставил, не давало мне надежды, что у моей жизненной истории может быть сколь-либо благополучный конец. Я почему-то был уверен (всем нам, наверно, свойственно, несколько преувеличивать свое всемирно-историческое значение), что в «Известиях» уже идут обыски, и что скоро обыскивающие неизбежно дойдут и до моего кабинета. Может быть, уже дошли! Я попробовал позвонить по нескольким известным мне телефонам в редакции, ни один из них не ответил. «Ну конечно, а ты как думал», – говорил я себе. Ах, как пригодился бы мне забытый на столе в кабинете список «Свободы», какими последними словами я себя крыл за рассеянность. Потом автомат в санатории и вовсе вырубился. (Никаких мобильных в то время еще и в помине не было).

Я понял, что надо попытаться бежать. Реку Буг переплыть. Или в Крыму на иностранный корабль забраться. Или в Турцию пробиваться через кавказские горы. Не буду утомлять читателя всеми пунктами безумных, бессмысленных планов, которые я строил – важно было чем-то занять свой мозг. Про самоубийство тоже думал, этот план был, по крайней мере, реален. Но перебороть инстинкт самосохранения непросто, да и сильной боли не хотелось. Кроме того, и ощущение, что это все же грех, хранилось во мне где-то глубоко, на генетическом уровне. Идеальным решением казалось попытаться пересечь границу, ну а если при этом придется погибнуть, так это же красивая смерть. Перед глазами стояла картинка: я прыгаю в реку, плыву, в меня стреляют с берега как в Чапаева в фильме... Ну и что, совсем неплохой, достойный вариант.

Поплелся с небольшой группой санаторных либералов под стены соседнего цековского дома отдыха. Поскандировал там что-то про переворот, пооскорблял партию. Какие-то истерические голоса оскорбляли нас в ответ, грозили расправой. Мне даже послышался голос Харчева, но это была, конечно, галлюцинация. «Бред, кажется, начинается», – флегматично подумал, это даже уже и не испугало. «Капут вам, жидовские морды!» – истошно кричал кто-то из-за стены. «Почему именно “жидовские”?» – удивился я. Огляделся: вроде бы в нашей небольшой группе ни одного, явного по крайней мере, еврея не было. «Ах, ну да, – вспомнил я, – ведь “еврей” для этих людей есть

термин нарицательный, означает в переводе: либерал, западник, тот, кому свобода важна. Кто слишком много книжек читал и слишком буквально воспринял христианскую (она же иудейская) мораль».

И все же мне стало стыдно: то была глупая, совершенно бессмысленная акция. Скорее всего, мы переругивались через забор ни с какими не «харчевыми», а с жалкой цековской обслугой. Тоже мне манифестация! В общем, понунив головы, разошлись.

В номере я стал яростно крутить ручку радиоприемника – и вдруг невероятный сюрприз: почти сразу наткнулся то ли на Русскую службу Би-би-си, то ли все на ту же «Свободу»: в новостях довольно подробно излагали интервью с советником посольства СССР в Лондоне Александром Ивановым-Галицыным, который решительно осудил действия ГКЧП как противоправный государственный переворот.

Это был точно луч света в темноте, точно сигнал: держись! Не все еще потеряно!

Ведь Саша Иванов-Галицын по кличке «Князь» был моим близким другом и единомышленником. Человеком, с которым меня роднили и политические взгляды, и общее представление о главных ценностях жизни, и очень близкое чувство юмора, ощущение абсурдности этого мира. Мы с ним понимали друг друга с полуслова, с полужеста. И часто принимались, не сговариваясь, хохотать над вещами, которые оставались непонятными для непосвященных. Вызывая иногда даже некоторое недоумение окружающих.

То, что его имя, да еще в таком контексте, звучало в мировых новостях, показалось мне счастливым предзнаменованием. Я просто ожил, что называется, воспрял духом. Жизнь продолжалась, и жива была надежда.

На следующий день наш сын Дима уезжал на поезде в Голландию – по школьному обмену.

Жена была откомандирована в Москву проводить его на вокзал и усадить в поезд. Мы договорились, что она внушит Диме, что в Голландии нужно будет попросить политическое убежище. Рассуждали мы так: ему – как сыну репрессированного – на родине нормальной жизни не будет. В том же маловероятном случае, что нам самим все же удастся вырваться за рубеж, мы могли бы там потом воссоединиться.

Ни на секунду не сомневался я в неизбежности победы путчистов. Ведь на их стороне были все силы: и армия, и КГБ, и милиция, и ослабленная, но все еще обладающая немалой властью партия. Население было пассивно и ненавидело Горбачева – прежде всего, за неудачную попытку введения «сухого закона» – ну и в продолжающемся своем обнищании они винили, конечно, не дряхлую гнивающую систему, а краснобая-президента. Слой интеллигенции, готовый бороться за свободу, был чрезвычайно тонок. Храбрецов, готовых ради этого рисковать жизнью – еще меньше. «Настоящих буйных мало» – эта цитата из Высоцкого точно описывала ситуацию. Но был, конечно, один действительно «буйный» и чрезвычайно сильный человек – Борис Ельцин, образ которого (как простого и честного русского мужика) нравился массам. Тот факт, что он ненавидел Горбачева (и это было взаимно), тоже помогал ельцинской популярности. Так что на него была некоторая надежда. Но я не мог себе представить, что крючковская рать почему-то не решится сразу Ельцина нейтрализовать. Ему почему-то позволили добраться до Белого дома, который превратился в фокусную точку и символ сопротивления перевороту. Несколько месяцев спустя станет известна истинная причина невероятного, невозможного и нелогичного поражения путчистов. Причина эта – их патологическая трусость. Продукт партийной селекции, жалкие деятели эпохи застоя. Среди них тем более не было не то что «буйных», а и просто способных к сколь-либо решительным и последовательным действиям людей.

Командующий спецназом КГБ Карпухин отказывался что-либо предпринять без письменного приказа. Но его ни один из членов ГКЧП не осмелился подписать. Готов был действовать против защитников Белого дома и генерал Александр Лебедь, которого те, по нелепому недоразумению, сочли своим сторонником. Но и ему, военному человеку, нужен был приказ по всей форме. Стоило путчистам решиться поставить свою закорючку на соответствующей бумаге, и через пару часов от сопротивления остались бы только мокрое место и кровавые следы. И на этом все тут же бы и закончилось. Но Карпухина уговаривали действовать устно, без формальностей. На что тот, весьма логично, не соглашался. С какой стати должен был он брать на себя ответственность за

кровапролитие и чудовищный, незаконный поворот в истории страны?

Прибыв в Гаагу, Димочка дал, только сойдя с поезда, интервью корреспонденту главной голландской газеты «Фолксскрант». И на следующий день его физиономия красовалась прямо на ее первой странице с заголовком: «Родители сказали мне: останься в Голландии навсегда».

Но делать этого ему не пришлось. Три дня спустя переворот странным образом выдохся, путчисты сдались, их арестовали и заключили в тюрьму. А вот где победил переворот наоборот, так это в газете «Известия». Коллектив устранил поддержавшего ГКЧП главреда Ефимова и выбрал на его место Игоря Голембиовского, неформального лидера нашей антикоммунистической фракции. Круто перевернулась и моя судьба. Я паче чаяния вдруг стал большим начальником, членом редколлегии и руководителем всего международного отдела. А ведь еще несколько дней назад готовился покинуть любимую газету. После выхода из КПСС и еще кое-каких событий, о которых речь впереди, я начал осознавать, что над головой сгущаются чернейшие тучи и что из «Известий» придется уйти. Я уже договорился о переходе на работу в московское бюро американского агентства Ассошиэйтед Пресс, это должно было произойти осенью. Выдавливали из «Известий» тогда и самого Голембиовского. Он *нажил* немало врагов в верхах, и в этом я ему тоже невольно помог.

Книга Андрея Остальского «Судьба нерезидента» недавно вышла в свет в издательстве «Пальмира» (Санкт-Петербург)

Андрей Остальский на протяжении многих лет работал Главным редактором Русской службы Би-би-си. Много печатался в российской, британской, турецкой прессе. В постсоветское время возглавлял международный отдел «Известий», а до этого объездил почти весь Ближний Восток, Основатель газеты «Финансовые известия».

Автор научно-популярных книг на экономические темы «Краткая история денег» и «Нефть: сокровище и чудовище», «Спаситель капитализма. Джон Мейнард Кейнс и его крест», а также

страноведческих – «Англия: Иностранец Ее Величества» и «Иностранец на Мадейре».

Пишет и романы, главная тема которых – столкновение культур и национальных менталитетов: «Боги Багдада», «Жена нелегала», «Английская тайна». Есть в списке опубликованных книг и жесткая антиутопия («Синдром Л») и сатирическая альтернативная история («Контрэволюция») и даже современная детская сказка «Приключения мистера Крокера».

Евсей ЦЕЙТЛИН

«ГОЛОС ЗВЕЗДЫ»

Из цикла «Откуда и куда. Писатели Русского Зарубежья»

**Беседа с Верой Зубаревой – поэтом, прозаиком,
литературоведом, редактором**

Предисловия часто обманывают. Дело даже не в излишестве восторженных эпитетов – иногда предисловия оказываются плохим камертоном: они не только не открывают поэта, но мешают настроиться на его волну. На этот раз было не так. Я читал ранний, точнее – первый сборник стихов Веры Зубаревой. Книга, родившаяся в давнем 1990-м, имела удивительно точное имя – «Аура». Автор предисловия Белла Ахмадулина прозорливо писала: «Сначала я увидела её стихи, воображение соотнесло их с морем и побережьем, с бликами, с хрупким чередованием блеска и тени. Прихотливый, независимый и несомненно ранимый мир открылся мне, явилась мысль о возможном обидчике воздуха и моря». Ахмадулиной хотелось защитить, уберечь молодое дарование. С волнением она вспомнила тогда свой дебют, задумалась: «Тех, кто щедро и расточительно помогал мне, да и всем, кто попадался на добрые их глаза, – давно нет на свете. Сумею ли я посмотреть их любовным и охраняющим взглядом на тех, кто молод, на Веру Зубареву, например?»

В предисловии жили свойственное Ахмадулиной пророчество и – надежда: «Я верю, что она слышит голос своей звезды, предвещающей удачу, но оберегающей от суеты, вздора, поспешности. Её стихи – изъятие ясной и суверенной души, грациозно существующей в осознанном пространстве».

Двадцать семь лет спустя было очевидно: надежды Ахмадулиной сбылись. Вера Зубарева – автор 16 книг на русском и английском языках, многих журнальных публикаций, лауреат международных

премий, в том числе – первый лауреат премии имени Беллы Ахмадулиной. «Как ни удивительно, но вы ни на кого не похожи», – воскликнула когда-то Белла Ахатовна, слушая стихи Зубаревой. Эта счастливая непохожесть, бесспорно, отличает все написанное Верой Зубаревой – ее поэзию, прозу, литературоведческие работы.

Уже в той, первой, книге Веры Зубаревой не было ученичества:

Не дается, но добывается

Из условностей букв

Стих – в неровностях памяти

Мой про-свет, мой про-звук.

Подумал сейчас: пусть эти ее слова о вечных, как мир, «муках творчества» станут эпиграфом к нашему разговору.

ЕЦ: Давайте поговорим о людях, которые, словно добрые вестники, встретились на Вашем пути. Вы часто с благодарностью вспоминаете профессора Арона Каценелинбойгена – экономиста по образованию и системщика. Яркие и необычные разработанные им концепции. Необычна Ваша диссертация по теории литературы, выполненная под его руководством. Необычен курс лекций, который Вы уже много лет читаете в Пенсильванском университете: «Искусство принятия решений в литературе, кино и шахматах».

ВЗ: Без Арона Каценелинбойгена (1927-2005) не состоялось бы моё интеллектуальное развитие. И это сказалось бы на всём, что я сделала и продолжаю делать в литературоведении и художественном творчестве. Никогда бы не появилась ни моя теория чеховской комедии нового типа, ни моя теория позиционного стиля в литературе, ни моя теория драматического, столь существенно отличающаяся от всего ныне существующего в этой области. Сам Арон работал в русле школы Бертуланфи, идеи которой породили его концепцию индетерминизма и теорию предрасположенностей. В отечественном литературоведении кроме меня никто эти идеи не развивает. Все мои литературоведческие книги, включая и две последние – «Чехов в XXI веке: позиционный стиль и комедия нового типа» и «Тайнопись», базируются на этом. Немудрено, что пока эти идеи невнятны большинству литературоведов по обе стороны океана, как они были невнятны системщикам, впервые

столкнувшись с идеями Берталанфи и Каценелинбойгена. Но эта часть меня мало волнует. Понимание истеблишмента приходит гораздо позже. Куда печальнее было бы не вникнуть в то, во что вникла я, благодаря школе Арона Каценелинбойгена.

ЕЦ: Постоянен в Вашем творчестве образ Вашего отца – Кима Беленковича. Он живет в Ваших стихах, прозе, эссе и фильмах.

ВЗ: Он живёт во мне, и, я верю, вне меня. Его пульс ощутишь внутренним слухом, его свет различим внутренним зрением. Накануне его 18-летия бомба попала в корабль, на котором был и он. Осталось в живых только двое. Мой отец был одним из счастливицков. На следующий день, 14 ноября 1941 г., ему исполнилось 18 лет. Отец был известной личностью в городе, где я родилась, и город достойно хранит память капитана дальнего плавания, старшего лоцмана одесского и ильичёвского порта, журналиста и писателя Кима Зиновьевича Беленковича. Его памяти посвящён мой новый роман «Лоцман на трубе». Да, он был первым и единственным в мире лоцманом, который ввёл затонувший в одесском порту корабль, стоя на его трубе. Подробнее об этом можно узнать из моего одноимённого документального фильма, доступного на ютубе, и, я надеюсь, из романа, когда он выйдет.

ЕЦ: Я прочитал несколько Ваших статей о творчестве Беллы Ахмадулиной. И легко увидел будущую книгу. Каков ее лейтмотив?

ВЗ: Книга, как я уже говорила, вышла – и в очень хорошем московском издательстве «Языки славянских культур». «Тайнопись» посвящена библейскому контексту (и подтексту) в стихах Беллы Ахмадулиной 80-х – 2000-х годов. Об этом ранее никто не писал. Мне удалось разгадать значение дат, включённых в текст её стихов, как дат, относящихся к христианским праздникам, и показать, как это проливает свет на понимание ахмадулинского сюжета.

ЕЦ: Когда берут интервью у поэта, всегда ожидаем – почти дежурный – вопрос о рождении стихов. Мне не хотелось спрашивать Вас об этом. Ведь есть ответы Ваших великих предшественников – например, Маяковского, Пастернака, Ахматовой, которых уже давно, порой не слишком вдумываясь в суть, цитируют все кому

ни лень. Но вот вспомнил Ваши строки: «Стихи во сне приходят легче. И тем мучительней с утра тот поиск первобытной речи, не знавшей формы и пера». Сны как важный этап жизни-творчества интересуют меня давно. Так тридцать лет назад появились мои записи чужих и своих снов; так появилась моя книга «Послевкусие сна». А сейчас появился этот вопрос к Вам – *как?..*

ВЗ: По-разному. И во сне иногда тоже приходят. Всегда держу наготове ручку и бумагу и записываю в темноте, чтобы никого не будить и самой до конца не пробуждаться. Но это лишь самая первая стадия. А потом – тяжкий труд, иногда многолетний. Малюсенькое стихотворение переписываю помногу и никогда не останавливаюсь на достигнутом. Я – известная мадам Переделкина. Мне лучше не читать своих публикаций. Как только открою очередную – рука тянется к карандашу... Возвращаясь к теме сна и писаний, это даже запечатлелось в одних моих стихах, писавшихся именно так:

*Она будит меня, шепчет.
Я за нею пишу, засыпаю.
А по комнате бродит вечность
Неприкаянная, слепая.
Так и бродят они вместе,
Их приход не дано разгадать мне,
И подносит она месяцы
К побелевшей моей тетради.
Разобрать пытается почерк.
Хлещет ветер наотмашь ветками.
Снова шепчет. Чего она хочет?
Я пишу с закрытыми веками.
Сон – как будто в сознание провалы
С пробуждения краткой ремиссией.
Видно, что-то не досказала
Перед тем, как покинуть мир сей.*

Эти стихи возникли в период работы над «Тайнописью» и героиня их – Белла, которая действительно тревожила меня на протяжении всего того времени...

ЕЦ: В своих статьях Вы порой предлагаете новые концепции литературного процесса. Так, в противовес термину «Зарубежье» Вы выдвинули понятие «Безрубежье». Что же это такое?

ВЗ: В новом контексте нашего сетевого бытия понятие «рубежа» стало условным. В статье «Русское безрубежье», опубликованной в журнале «Дружба народов» (2014, №5), я пишу о том, что в отличие от глобализации, которая ведет к уничтожению культурных особенностей и установлению диктатуры единообразия, безрубежье направлено на сохранение многообразия и своеобразия культуры за пределами страны, её породившей. «Русское безрубежье — явление, которое требует размыкания критиков и литературоведов на более широкую панораму современного русского литературного процесса. Оно несет в себе надежду на возвращение Мастера к Маргарите и Маргариты к Мастеру».

ЕЦ: В современной русской литературе философская поэзия находится на обочине читательских интересов. Но вот журнал «Новый мир» публикует два Ваших поэтических трактата – «Трактат об обезьяне» и «Трактат об ангелах». Знаю, Вы работали над этими вещами много лет. Что вело и вдохновляло Вас?

ВЗ: Написан и третий трактат, завершающий. Посмотрим, как скоро ему суждено выйти в свет. Пока не опубликован, говорить о нём не стану. А «Трактат об ангелах» был написан на заре моего пребывания в США и был встречен с энтузиазмом и его вдохновителем – Ароном Каценелинбойгеном, и Эрнстом Неизвестным, давшим свою графику для публикации, и переводчиками на английский (Френсис Лейрд) и немецкий (Кирстин Брейтенфельнер), и издательствами в Одессе и в Швейцарии, где трактат вышел в двуязычных изданиях. Он поднял волну интереса в германоязычном мире, и мне даже устроили турне по Европе с презентацией этой книги. Разумеется, я мечтала, что однажды Ангелы долетят и до России. Это случилось благодаря стараниям замечательного Павла Крючкова, а также Ирины Роднянской, написавшей, в частности, следующее в предисловии к «Трактату об Обезьяне»: «Повествование ведется от имени некоего апологета новомодного просвещения на «обезьяний» лад, который и Книгу Бытия готов переписать во славу восстановления в своих правах четверорукого примата. Этот “при-

мат-доцент” всему нашему общежитию сулит непременный благой переворот по ходу победы Природы над Богом в их будто бы исходной конкуренции. Сам же автор, то прячась за повествовательной маской, то выглядывая из-под нее, исподволь ставит и завихрениям рассказчика, и состоянию общества, в той мере, в какой оно готово им следовать, неумолимый диагноз: деградация. Ставит его как бы играючи, развязывая себе руки свободным стихом с ассонансами, тоже свободными от педантизма, шутивными, можно сказать, рифмами, которые (будучи хоть и перекрестными, а не парными) вносят в текст некий дух раёшника с его устной “неподцензурностью”. Перед нами мысль затейливо-поэтическая, но она предстает и мыслью общественно-актуальной. Побуждающей отечественного читателя задуматься: а что у нас? Не зажаты ли и мы между двумя полюсами идеологической агрессии: фундаменталистской и неолиберальной?...» («Новый Мир», 2013, №10). Тракаты вышли в обратной очередности, но меня это не смущает. Удивляет, что разговор о вопросах, поставленных в обоих произведениях, не выстраивается в среде российской критики.

ЕЦ: Почему так? Каково Ваше объяснение?

ВЗ: Да потому что эти проблемы оказались вне сферы интересов критики, так же, впрочем, как проблемы, поднятые в моих поэмках «Милая Ольга Юрьевна», «Тень города, или Поэма о нашем времени» и др. Но здесь я не одинока. В тот же ряд могут быть поставлены, к примеру, и произведения Марины Кудимовой или Ефима Бершина, которых, если иногда и «замечают», то это не поднимает волну разговора на тот уровень, на котором штормит их поэтическое сознание. Прилагая пояснение Дмитрия Шеварова к судьбе «Нечаяния» Беллы Ахмадулиной («Российская газета – Неделя» от 23 ноября, с. 28-29), могу сказать, что и их произведения не «аукаются» с чем-то, о чём сегодняшняя российская критика может и желает говорить и думать. И ещё чётче, на примере Беллы, которую я чувствую, могу сказать, что пишутся подобные вещи не в надежде быть отмеченными истеблишментом, а потому, что проблема назрела. И посему ожидают они отклика-диалога, отклика-раздумья, отклика-обсуждения, т.е. полемики вокруг вопроса «камо грядеши». А иначе – глас вопиющего...

ЕЦ: В теории литературы открытия случаются редко. Но Вами – на материале чеховских пьес – разработана новая теория драматического. Что же отличает ее?

ВЗ: Прослушав курс по общей теории систем и теории предрасположенностей, я отчётливо поняла, что систему отличает наличие потенциала, т.е. элементов разного типа, находящихся во взаимодействии. Мера силы потенциала разная у разных систем. В художественном произведении потенциал представлен героями. Есть герои с мощным, средним и слабым потенциалом (ну и конечно же, все промежуточные типы, которые я упускаю здесь для простоты). Понятие «драматического» связано с динамикой, а динамика невозможна без усилий к действию. Мера динамики, сила воздействия на окружающую среду характерна для героев с мощным или очень сильным потенциалом. Таких мы наблюдаем в трагедиях и драмах, близких к трагедиям. Герои среднего потенциала имеют среднее влияние на свою среду, и они типичны для бытовой или мещанской драмы. Герои, имеющие мизерное влияние на своё окружение, действуют в комедиях. Вопрос смешного и грустного не должен приниматься в расчёт, поскольку он относится к реакции наблюдателя, а не к потенциалу героев. Разные наблюдатели по-разному реагируют на одну и ту же ситуацию, а почему – это уже вопрос к психологам. Вот вкратце и очень схематично описание того, что я сделала в теории драматического.

ЕЦ: Как бы Вы передали характер американской славистики, описали ее атмосферу, типичных персонажей?

ВЗ: Знаете, американская славистика многообразна и разношерстна. И это единственно неоспоримая вещь, с которой согласится любой славист или филолог. Больше этого, пожалуй, не скажу. Есть слависты, чьи работы меня вдохновляют. Среди них замечательные литературоведы Галина Рылькова, Александр Бурак, Кэрил Эмерсон, Радислав Лапушин, Кэрол Аполонио...

ЕЦ: Вы – Президент Объединения Русских Литераторов Америки (ОРЛИТА). Таких сообществ – немало в эмиграции. Некоторые именуют себя Союзами писателей – видимо, для того,

чтобы запоздало осуществить свою советскую мечту. А для чего Вы организовали это объединение?

ВЗ: Союзов не люблю. Они влекут за собой уставы, членские взносы, собрания и прочие формальности. Союзы у меня рифмуются с «узы». А там, где узы, вымирают музы. Объединение – это единение без обязательств. Мы просто отображаем русскую литературную жизнь современной Америки, публикуем литературные новости, рецензии, трансляции и т.д., и т.п. Все мы когда-нибудь уйдём, поэтому ценно сохранить тот образ творческой жизни, которую мы формировали, наш вклад в неё.

ЕЦ: Меня всегда по-хорошему удивляет Ваш журнал «Гостиная». Каждый номер посвящен развитию какой-то философской идеи или... поэтической ассоциации. Как чаще всего рождается тема номера?

ВЗ: Это как с дорожками к дому. В одном случае, они проектируются заранее, а в другом, прокладываются по тропкам, которые протоптали сами пешеходы. Тема номеров «Гостиной», выходящей в сети и в бумаге, рождается из материала, который к нам поступает. Иногда авторы, словно сговорившись, присылают нам тексты, находящиеся на одной волне. В этом есть что-то мистическое. Мы встраиваемся в эту волну, и так рождается тематическое единство номера. Сегодня «Гостиная» выходит усилиями замечательных редакторов, профессионалов своего дела. Это Ефим Бершин (поэзия), Елена Дубровина (литературное наследие), Сергей Надеев (первое стихотворение), Людмила Шарга (Одесская страница) и Елена Литинская, заведующая и прозой, и подготовкой номера наравне со мной на правах моего заместителя. Ну и, конечно, все наши сетевые и бумажные издания не осуществились бы без нашего веб-директора Вадима Зубарева, денно и ночно работающего с огромным количеством материалов, отобранных для сайта ОРЛИТы и для «Гостиной».

Евсей Цейтлин — эссеист, прозаик, культуролог, литературовед, критик, редактор. Родился в Омске в 1948 г. Окончил факультет журналистики Уральского университета, Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького.

Кандидат филологических наук, доцент. Преподавал в вузах историю русской литературы и культуры.

Автор многих книг, которые издавались в России, США, Литве, Германии, Украине. В 1978г. был принят в Союз писателей СССР, является членом Союзов писателей Москвы, Литвы, Союза российских писателей, членом международного Пен-клуба ("Writers in Exile"). Дважды эмигрировал: в 1990 – в Литву, в 1996 – в США. Произведения Евсея Цейтлина переводились на литовский, немецкий, украинский, польский, английский, испанский языки.

Был главным редактором альманаха «Еврейский музей» (Вильнюс). Редактор ежемесечника «Шалом» (Чикаго, с марта 1997).

Анна ПАВЛОВСКАЯ

НЕВЕРМОР

Везде зашифрованы птицы,
но я уже знаю причёт,
и ворон с открытой страницы
слетает ко мне на плечо.

Все то, что казалось узором,
сплошной закорючкой витой –
проснется с моим заговóром,
по слову, что сказано мной.

Смотри, как я пальцем касаюсь
обоев, где дышат цветы.
Смотри, как листва, разрастаясь,
молитвенно просит воды.

И вот уже сад вдохновенный,
и птицы поют меж ветвей –
в моей одинокой вселенной,
на белой ладони моей.

Раскрывается луг нараспашку,
Бьет крылом над запрудой ветла.
Кто родился в несчастной рубашке,
Понимает такие дела.

Вот карасик тебе, вот подлещик,
Что ты скажешь мне, Хемингуэй.

Я люблю настоящие вещи
В стороне от фальшивых людей.

Это сна золотая излука,
Это облачных куц облучок,
Что ввалилась волшебная щука
На последний пропащий крючок.

Рвется там, где было тонко,
невозможно удержать.
Я отматываю пленку,
продолжаю продолжать.

Год приходит и уходит,
все грехи совершены,
как всегда стоит на взводе
балерина тишины.

Все, не будет больше чуда,
не соединить края.
Часто снится почему-то
жизнь другая, не моя.

Я ушла от тебя, поселилась в прихожей,
В темном зеркале, в шапке, в пуху и пыльце.
Я ушла в белом платье в зеленый горошек
Самым длинным тоннелем со светом в конце.

Это я превращаюсь в чудовищ по Кафке
И меня зарывают, как княжеский клад.
Это я – с острия протестантской булавки

Улетаю на небо с толпой ангелят.
Оставляю гнездо на твоей батарее –

Алый шелк и ласкающий душу капрон,
И свистя, пролетаю кометой Галлея
В галерее дородных сикстинских матрон.

Это я и мои inferнальные тени
Покидаем надменно предательский дом.
Мы уходим по шпалам других измерений –
Кто с мешком, кто с разбитым дурным котелком.

Свет померкнет, погаснет последняя точка,
Растворится в тумане ночной силуэт.
Помашите мне вослед оренбургским платочком,
Потому что никто не помашет в ответ.

Не лупили меня комсомольцы,
не снимали ботинки жлобы,
никогда сквозь горящие кольца
я не прыгала в реве толпы.

Молоко не давали за вредность,
спецпаек не вручали тайком,
на Лубянке под грифом «секретно»
не листали мой детский альбом.

Припадала к запретной иконе,
заполняла страницы враньем,
словно Данко несла на ладони
сердце, полное вечным огнем.

Как поэт (и немного философ)
я одна ощущала вину,
что закончился сказочный Носов,
где Незнайка летал на Луну.

БАЛЛАДА О КРЫЛЬЯХ

мне выдали крылья как прочим тесак и рубанок
а я между прочим была неразумный ребенок
я не понимала что крылья нежнее пеленок
и лучше пуховых перин и дубовых лежанок

я встала так рано как будто еще не ложилась
тяжелая бабочка рядом со мною кружилась
и я оступилась и в черное небо споткнулась
и я с этим небом в бессмысленной схватке схлестнулась

нельзя победить говорили поддайся и сдайся
нельзя победить говорили напейся и сдуйся
и черного неба уже никогда не касайся
не смей не моги говорили уйди и раскайся

а я не могла отступить не могла отступиться
осталось одно в это черное небо вцепиться
и слиться крыльями как плотная вязь лигатуры
на звездном ветру на краю бесхребетного мира

я встала так рано а было уже слишком поздно
и все что я делала было напрасно и тленно
и я проиграла и падая мордой о звезды
я крылья сломала о черные зубы вселенной

на каждом рассвете не важно на каждом закате
в каком бы болоте меня не застало светило
спасибо тебе говорю что в безумном полете
и я не сдавалась а ты меня все ж победило

МОЛИТВА

Успокой ветра и бури,
головную боль уйми,
потому что по натуре
остаемся мы детьми.

Дымный столб идет на север,
ураган сметает юг.
Неужели Ты во гневе
Землю выпустишь из рук?

Мы стоим, прижавшись к маме,
мы спросонья веки трём,
смотрим синими глазами
как сгорает отчий дом.

над кладбищем чиркают небо стрижи
повсюду охапки ромашек
здесь столько уже моих близких лежит
и ваших и ваших и ваших

я камень горячий от пыли протру
поправлю цветы и лампаду
и не потому что я тоже умру
и не потому что так надо

прости мне мое неуменье молчать
что здесь за оградой покоя
забытую ссору пытаюсь начать
чтоб только задеть за живое

Когда ноябрь широкой грубой кистью
Замазывает небо дочерна,
Как пьяный трагик, я прощаюсь с жизнью,
Пишу сонеты и схожу с ума.

Я вижу крон фасетчатый узор,
Травы застывшей завиток овечий,
И утренний прозрачный невермор
Иголками проходит по предплечьям.

Свет прибывает поездом Люмьеров,
Сжигая все сомнения дотла,
Но для меня прощанье не премьеры,
Я этот кадр уже переросла.

Прости меня, я знаю твой секрет, –
Манок надежды, говорок сердечный...
Я выдыхаю вóрона в рассвет
И ухожу в дурную бесконечность.

Анна Павловская родилась в Минске. Поэт, прозаик, сценарист.

Президентская стипендия за работу над сценариями (группа Пташука), Минск, 2001. Лауреат «Илья-премия», «Сады лица», премии Есенина, дипломант Волошинского конкурса...

Публикации: «Новый мир», «Дружба народов», «День и ночь», «Зарубежные записки», «Интерпоэзия», «Сибирские огни», «Дети Ра», «Крециатик», «Плавучий мост» и др.; в ряде антологий, в том числе – «Приют неизвестных поэтов. Дикороссы» (Ю.Беликова) и «Русская поэзия XXI век» (Г.Красникова), «Лучшие стихи. 2013» (В.Куллэ).

Автор книг «Павел и Анна» (2002, Москва), «Торна Соррьенто» (2008, Минск).

Юлиан ФРУМКИН-РЫБАКОВ

«ЦАРЬ-БОМБА» ИЛИ «КУЗЬКИНА МАТЬ»

В октябре 1961 года, за год до Карибского кризиса, чуть было не толкнувшего СССР и США к ядерной войне, Советский Союз на атомном полигоне на Новой Земле испытал самую мощную в мире термоядерную (водородную) бомбу – её тротиловый эквивалент составил 58 миллионов тонн! Ни до, ни после в мире не было взрывов подобной мощности. Это была та самая “кузькина мать”, которой Хрущёв пугал Запад.

Мы публикуем воспоминания одного из тех, кто имел отношение к тому событию. На наш взгляд, особенно интересны бытовые подробности армейской службы молодых людей, брошенных, что называется, в самое пекло. Воспоминания написаны специально для журнала ВРЕМЕНА.

Памяти Юрия Владимировича Ступакова

23 августа 2017 года, в 12 часов пополудни, отпели в Храме Святого Пророка Илии На Пороховых и проводили в последнее плавание моего друга, капитана дальнего плавания Юрия Владимировича Ступакова.

Мы познакомились в июне 1961 года на острове Новая Земля, на «Первом ядерном полигоне СССР». Мне было 19, Юре 23.

В долгоиграющий полярный день, когда солнце, как игла на заезженной пластинке, елозит на одном месте, нас выстроили для вечерней поверки. Жили мы в большой землянке на берегу залива. Утренняя и вечерняя поверки были на вольном воздухе. Возможно, это была землянка поморов, а, может быть, землянка-барак первых военных строителей, высадившихся на Новую Землю в 1954 году после решения правительства о создании секретного ядерного объекта.

Рядом со мной стоял здоровенный парень. В ожидании переклички мы с ним поддавали друг дружку плечами, скача на одной ноге. Не помню, как это произошло, но от моего толчка Юрка влетел в дверь землянки и вышиб её. В нём было килограммов девяносто живого веса. И я, и он получили по два наряда вне очереди и пошли чинить дверь. С этого и началась наша дружба.

Три с половиной года мы ели с Юрой армейский пуд соли.

В нашем первом пристанище на Новой Земле были двухэтажные нары, сколоченные из досок. Больше никакой мебели в землянке-бараке не было. По всему фронту двухэтажных нар – скамья из сороковки. На неё мы складывали форму, а под скамейку ставили сапоги.

Землянка же была врыта в высокий берег, состоящий из песчаника и глинистых сланцев, именно врыта, а не вырыта. Когда-то часть берегового откоса срыли и на образовавшейся площадке соорудили землянку...

Задняя стена и торцы были прикрыты от ветров и снега берегом. На фасаде, выходящем на залив, была дверь. В землянке стоял котелок, работающий на угле. На улице – горка угля, который мы носили пожарным ведёрком к топке. Трубы отопления шли выше нар под низким потолком.

На верхних нарах можно было только лежать или сидеть, клоня голову от тяжких мыслей. Дух в землянке был *жилой*, ибо естественное проветривание шло только через дверь, когда её открывали.

Под брэнчание гитары пели: «Сижу на нарах, как король на именинах// И пачку «Севера» мечтаю закурить. // Я никого не жду, я ничего не жду, // И никого уж не сумею полюбить...». Это была блатная песня, ходившая в то время, только много позже я узнал, что песню написал Глеб Горбовский.

С Глебом Яковлевичем Горбовским я познакомился через 50 лет, когда поздравлял его с 80-летием от имени «Союза писателей XXI века» в концертном зале Александро- Невской лавры.

Новоземельские крысы, наглые и жирные, бегали ночью по тёплым трубам, а утром, прежде чем обуться, нужно было перевернуть сапоги, чтобы вытряхнуть крысу, заночевавшую в голенище.

Житие наше в экстремальных условиях проистекало из при-
скорбного факта – ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО провала, вызванного
Великой Отечественной войной.

В весенний призыв 1961 года в армию забривали всех.

Я был студентом вечернего отделения Северо-Западного Поли-
технического института и призыву не подлежал.

Но вышло Постановление правительства об отмене льгот ве-
черникам и, одновременно, приказ министра обороны о весеннем
призыве. В связи с недобором сроки службы матросам на Северном
флоте увеличили на год, т. е. четыре года вместо трёх. Сухопутным
военнослужащим три года, вместо двух лет.

До этого служба на Севере в связи с суровыми условиями Запо-
лярья была на год меньше, чем на Большой земле.

Десантировали нас на Новую Землю 9 июня 1961 года.

Ступаков, в бытность курсантом ленинградской мореходки,
попал в жесточайшую драку 14 мая 1957 года, в «чёрный вторник»,
случившийся на стадионе им. Кирова на матче «Зенит» – «Торпедо».

Тогда «Зенит» проиграл с разгромным счётом 1:5. Драка была
безудержной, как свадьба... Началось с того, что поддатый болель-
щик «Зенита» выбежал на поле и стал гнать из ворот вратаря, го-
товясь лечь костями, но не пропустить больше ни единого мяча.
Милиция пыталась его вывести, но он дрался, а когда его скрути-
ли, повалив на газон, за него вступились подогретые болельщики.
Дрались с милицией несколько сот человек. Были выломаны скамьи
и ворота, ведущие с трибун. На подмогу милиции стали прибывать
курсанты училищ, в том числе из мореходки.

Юрке было 19, и он, участвуя в драке, принял сторону болель-
щиков...

После «разбора полётов» Ступаков был отчислен из училища.
Не имея специальности и жилья в Ленинграде, он завербовался на
Тралфлот.

Приказ о весеннем призыве застал Юру в Атлантике. Капи-
тан траулера, получив радиограммой повестку о призыве в армию
Юрия Ступакова, отправил его попутным судном в Мурманск.

Призыв был мгновенным, как крик «Полундра!».

Летом второго года службы роту накрыла бессонница. Нескончаемым полярным днём, три месяца, по «ночам» мы гоняли в футбол.

Много работали: строили госпиталь в посёлке Белушья Губа, тянули по тундре водовод Белушья – Рогачёво, строили шахтёрский посёлок в проливе Маточкин Шар.

...30 октября 1961 года весь гарнизон Белушьей Губы был выведен из казарм. В казармах были открыты окна и двери. Нам раздали чёрные, закопчённые стёклышки.

Простояв минут 30-40, мы услышали гул авиационных двигателей. Задрал головы, увидели два самолёта, идущих на большой высоте в сторону пролива Маточкин Шар.

В 11 часов 33 минуты по Москве, «Царь-бомба» была сброшена над боевым полем в районе губы Митюшихи с высоты 10500 метров.

Для того, чтобы замедлить скорость падения бомбы и дать самолёту-носителю какое-то время для ухода от эпицентра взрыва, бомба спускалась на парашюте площадью 1600 квадратных метров.

«Царь-бомба» взорвалась на высоте 4000 метров. В момент взрыва мы видели в небе ярчайшую вспышку, как от электросварки, а мы были на расстоянии 280 км от эпицентра, видели, как в небо поднялся гигантский столб испарившейся мгновенно земли, который стал расти на наших глазах, поднимаясь всё выше и выше, ножка его стала уменьшаться в диаметре.

Огненный шар взрыва не коснулся земли, его сплющило ударной волной, отражённой от поверхности полигона. Радиоактивное облако поднялось на высоту 67 километров. Размер купола из радиоактивных продуктов достиг 20 км в диаметре по одним данным, по другим – 90 км.

В пятидесяти километрах от эпицентра взрыва, в посёлке на берегу пролива Маточкин шар были разрушены все щитовые дома, устояло только зимовье промысловиков, сложенное из толстых брёвен.

Вспышка взрыва была видна на расстоянии более 1000 километров.

Взрывная волна от «Царь-бомбы» обогнула земной шар 3 раза, прежде чем затухла. На 40 минут во всём Заполярье прервалась

радиосвязь. Мощность взрыва была 57 000 000 тонн в тротиловом эквиваленте: это больше, чем все суммарные взрывы всех зарядов всех стран за всё время Второй мировой войны, включая Хиросиму и Нагасаки.

Ударной волной самолет-носитель, который к тому времени находился на расстоянии 45 километров от точки сброса, скинуло до высоты 8000 метров, т.е. самолёт провалился на ДВА километра ПЯТЬСОТ метров (!) в момент, когда его настигла ударная волна, но не разрушился. В течение некоторого времени после этого Ту-95В был неуправляем...

Что случилось с самолетами и экипажами, в то время пока не было связи, никто не знал. Оба самолета благополучно приземлились на аэродроме «Олений». Второй самолёт ТУ-16 был летающей лабораторией, фиксирующей параметры взрыва и ведущей фото и киносъёмку.

На фюзеляже Ту-95В были подпалины, полученные от мощнейшего светового излучения в момент взрыва. Именно это световое излучение мы и наблюдали на расстоянии 280 км.

Самолёты были покрыты специальной светоотражающей краской. Экипажи самолётов имели приказ довести самолёты до зеркального блеска. Но и отполированный до зеркального блеска самолёт не устоял перед световой ударной волной. Кроме этого надо понимать, что температура воздуха над местом сброса и внутри самолёта резко выросла, но никаких данных по этому вопросу мне пока не удалось найти.

Как теперь пишут, особое внимание было уделено специальной подготовке экипажа самолета-носителя. Никто не мог дать летчикам гарантию благополучного возвращения после сброса бомбы.

Когда я опубликовал воспоминания на своей странице в Фейсбуке, мне позвонил давний знакомый.

– Юлиан Иосифович, я с большим интересом прочёл ваши воспоминания. Мне об этом рассказывал мой дядя, Мартыненко Владимир Фёдорович. Он был ОТВЕТСТВЕННЫМ лётчиком за проведение испытания «Царь-бомбы» от НИИ и находился за штурвалом самолёта-лаборатории, пролетевшего над вами. О нём есть в Википедии.

Да, есть. Полковник авиации Мартыненко Владимир Фёodoro-

вич в 1962 году получил Золотую Звезду Героя за участие в испытании ядерного оружия на полигоне Новая Земля.

Со слов племянника Владимира Фёдоровича, у членов экипажа сошла от ОЖОГА кожа на открытых частях тела...

Здесь надо сказать, что я и Юра были авантюристами. Как я теперь понимаю, мы рассматривали службу в армии как Большое приключение.

Как только приняли присягу, я и Юра подали рапорты с просьбой откомандировать нас на самую северную точку Новой Земли – на Мыс Желания.

На следующее утро нас вызвали в штаб батальона. В штабе, кроме начальника штаба, майора Расторгуева, никого не было. Майор, коренастый крепыш с фигурой гимнаста, перетянутый ремнём в узкой талии, со шрамом через всю левую щёку, с белоснежным подворотничком на гимнастёрке, поставил нас по стойке «смирно».

Раза три молча прошёлся перед нами, внимательно нас разглядывая. Остановился. Взял со стола наши рапорты. Не помню дословно его энергичной речи. Но точно помню, что мата в ней не было.

Суть её сводилась к тому, что мы представления не имеем об условиях тамошней службы, о повальном пьянстве, проявлениях гомосексуализма, самострелах...

Он протянул нам наши рапорты:

– Приказываю! ПОРВАТЬ! При мне!

– Есть! – сказали мы, и порвали рапорты.

В командировку на боевое поле Д-2 мы тоже попали из-за своих авантюрных наклонностей.

В сентябре 1961-го, после вечерней поверки, командир роты Ломанов, прохаживаясь перед строем, остановился и сказал:

– Нужны добровольцы для выполнения особого задания! Если есть такие, шаг вперёд!

Я шагнул. Посмотрел вправо, влево. Увидел Ступакова и Толю Сморогина.

Из 180 человек личного состава роты вышли мы, трое.

О, это было БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ.

Сделаю небольшое отступление, вернее, экскурс в сравнитель-

но недавнее прошлое. Побывав в Главном архиве ВМФ в Гатчине, я с немалым трудом смог получить некоторые несекретные документы, касающиеся нашей службы на ядерном полигоне. С немалым изумлением установил, что по официальным бумагам срок исчисления нашей службы начинался с... января 1962 года. Но мы-то были на полигоне в 1961-м! Как это увязать с реальностью? Постепенно до меня стал доходить смысл расхожей циничной фразы: «Нет человека, нет проблем».

– Можно мне посмотреть документы по в/ч № 1137? – спросил я.

– Нет, – ответила архивариус, – у нас нет никаких документов по в/ч №1137. Их вообще нет, – добавила она.

Мы, рабочие военного призыва 1961 года, не знали, какую миссию нам предстоит выполнять в специальной монтажно-строительной части 1137. Но руководство полигона знало. Знало и Министерство обороны.

В тот миг, находясь в архиве, я понял, что мы несли службу, работали, подвергались радиации, но нас как бы и НЕ БЫЛО, мы как бы и НЕ СУЩЕСТВОВАЛИ, потому что срок службы нам исчислялся с января 1962 года. ТЕМ, кто останется в живых.

Но тогда... Тогда я этого не знал. Не знали этого и мои товарищи.

...10 октября я стоял на палубе штабного корабля «Эмба». Конечно, это был не «Летучий голландец», отнюдь. Но с моря дул свежий ветер, несущий запах приключений. «Эмба», по слухам, был когда-то яхтой Гитлера.

Командовал кораблем капитан II ранга Гилевич.

Ветер Баренцева моря, дохнувший в полную силу при выходе из Белушьей Губы, необычайно возбуждал.

Я всегда приходил в волнение при виде большой географической карты, равно как и при виде старинного глобуса. Меня распирало от сознания того, что из невообразимого прошлого, из поколения в поколение, никогда не прерываясь, во мне течёт кровь предков, я чувствовал себя древним иудеем, вышедшим на поиски Земли обетованной.

На следующий день «Эмба» встала на рейде губы Митюшихи.

Подошёл базовый тральщик, и мы перешли на новый борт.

Тральщик отвалил от «Эмбы» и встал в конце небольшого плавучего пирса, соединяющегося с берегом деревянным настилом.

Осталась в прошлом большая кают-компания «Эмбы», отделанная красным деревом, большой кубрик, в котором мы жили сутки. Остался в прошлом жуткий гальюн на баке, до которого не просто было добраться в пятибалльный шторм, заставший «Эмбу» в открытом море.

Но ещё сложнее было справлять нужду. Справа и слева у каждого толчка были поручни, за которые, сидя орлом, нужно было держаться изо всех сил. Амплитуда качки в гальюне была сумасшедшей.

Если в кубрике, находящимся на спардеке, качка была не смертельной, то в гальюне, находящемся на баке, когда нос корабля проваливался, ты летел вниз с десятков секунд с замиранием сердца. В нижней точке, когда ты мог бы перевести дух, неодолимая сила стихии безжалостно выталкивала корабль и тебя вместе с ним из морской пучины в небеса, и ты летел вверх, вверх, как на качелях, но... сидя орлом над ватерклозетом.

Земля обетованная оказалась в районе губы Митюшихи, на полуострове Сухой Нос и называлась Боевое поле Д-2 в зоне «А».

Северная сторона представляла невысокий горный хребет. По всей высоте почти отвесного склона были видны цвета побежалости.

Горная порода плавилась от нестерпимого ядерного жара. Тундра, простиравшаяся к югу от хребта, была пустынна и дика. Не было видно ни птиц, ни чаек.

Жили на тральщике. Спали не раздеваясь, в гамаках. Ни тюфяков, ни белья не было. В 6-00 подъём. Завтрак. Каша с тушёнкой или макароны по-флотски, чай, кофе, какао, масло, сыр.

После завтрака построение, получение костюмов полной радиационной защиты, противогазов, индивидуальных дозиметров.

Рядом с урезом воды посадка в вертолёт. Вертолёт закидывал нас по точкам. На точках работали по одному.

Оставшись на точке, надо было надеть противогаз, наглухо задраить костюм радиационной защиты и шурфить, шурфить радиоактивную вечную мерзлоту, готовя шурфы под пиропатроны.

Из инструментов были лом, кирка, сапёрная лопатка. Радиационный дозиметр зашкаливал. Обливаясь потом (в спецпошиве, в противогазе, в костюме полной радиационной защиты – это прорезиненный комбинезон, надеваемый поверх спецпошива: ватных штанов, сапог и ушанки), я долбил вечную мерзлоту.

Наконец, в полном изнеможении я сбрасывал противогаз, вспарывал застёжки радиационного панциря, падал на спину и запуская руку во внутренний карман, доставая пачку «Шипки».

О, каким наслаждением было лежать на спине! Низкое северное небо, тундра. На десятки километров ни души.

Замечательные сигареты «Шипка». Сколько мыслей рождали они...

Дозиметр зашкаливал, и я понимал, что в этой нереальной тишине радиация, не имеющая ни цвета, ни запаха, входит с каждой затяжкой в лёгкие и не вылетает тонкой струйкой вместе с сигаретным дымком, растворяясь в разреженном воздухе Севера.

Кстати, на Новой Земле на 16% кислорода меньше, чем на материке.

...Часа через три после начала работ подъезжали взрывники. Заложив взрывчатку в шурфы, делово делали подрыв и уезжали, лязгая гусеницами, на следующую точку.

Выгребая руками разорванное в клочья нутро земли, ровняя стенку шурфов и ставя закладные детали под анкерные болты, чувствуешь кожей абсолютно безжизненную тундру боевого поля.

Вышки, которые монтировались, крепились тремя анкерными болтами к закладным деталям, намертво забетонированным в вечную мерзлоту. Три стойки из швеллера № 40 сходились пирамидально на высоте двух метров и крепились с помощью болтов к круглому основанию-площадке, на которой монтировался стальной барабан диаметром около метра, с узкими бойницами. Всё это сооружение было предназначено для установки контрольно-измерительной аппаратуры, фиксирующей параметры ядерного взрыва.

На Новой Земле в октябре темнеет быстро. Норма – за световой день сделать три шурфа и поставить три закладных.

Если утром, экономя время, всех закидывали на точки по воздуху, то вечером, на огромном боевом поле, нас собирали ГТС (гу-

сеничным транспортным средством.) В глубокой темноте, после 2 часов пути, часам к 8-9 вечера, доставляли на базу.

Наш общий с Юрой Ступаковым старший друг и товарищ, Юрий Анисимович Фёдоров, майор, кандидат медицинских наук, начальник службы радиационной безопасности НОЧ, мерил дневные дозы облучения и заносил их в журнал с грифом «СС» («Совершенно секретно»).

Только после этого снимались защитные костюмы и отдавались на дезактивацию. В районе 22-00 садились за вечерний харч и, налопавшись, валялись, как были, в спецпошивах, в гамаки, проваливаясь в тяжёлый сон. Питались два раза в сутки. Утром и вечером.

Работа на боевом поле продолжалась около двух недель.

Общая картина происходящего была нам неизвестна, но чувствовался бешеный темп работ.

Ветер гнал низкие облака. Ни на одном из кораблей не горели ни бортовые, ни стояночные огни. Иллюминаторы были задраены, так что ни единый световой блик не скользил ночью по свинцовой воде губы Митюшихи. Посмотреть сверху, нет нигде жизни на сотнях вёрст вокруг.

Как ни пытали мы Юрия Анисимовича, он не раскололся и не сказал ни мне, ни Ступакову, какие дозы радиации мы получили.

Похохатывая, говорил:

– Наукой доказано: малые дозы облучения плодотворны для потенции...

Изучив Таблицу: «ХРОНОЛОГИЯ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ СССР (1949-1962)», она есть в открытом доступе, я установил, что мы работали в паузе между двумя сериями испытаний.

Прибыли мы на боевое поле Д-2 после ядерного воздушного взрыва. Это был взрыв крылатой ракеты с ядерным зарядом. Мощность взрыва была 15 килотонн. Ракета взорвалась на высоте 1450 метров над боевым полем 8 октября 1961 года, а 11 октября началась наша работа на Д-2.

Работа продолжалась вплоть до 19 октября. Обратно, в Белушку мы шли на тральщике.

20 октября, в рамках учения с весёлым названием «Радуга», на боевом поле Д-2 был осуществлён воздушный термоядерный взрыв баллистической ракеты Р-13, запущенной впервые с дизельной подводной лодки.

До 30 октября – испытания «Царь-бомбы» – оставалось десять дней...

После взрыва «Царь-бомбы» испытания шли почти каждый день»: 31 октября – 2 испытания; 2 ноября – 2 испытания; 4 ноября – 3 испытания.

Второй раз мы работали на боевом поле Д-2 спустя несколько дней после испытания термоядерной бомбы 4 ноября 1961 года.

Мы демонтировали скрученные жгутом металлоконструкции. Характерно, что все металлоконструкции были скручены одинаково, в одну сторону.

Летали на боевое поле Д-2 вертолётom. Срезали металлоконструкции газовым резаком. В Белушке была кислородная станция, обеспечивающая потребность военных строителей кислородом. Но если кислород доставлялся в баллонах, то ацетилен получали в карбидных аппаратах на месте. Карбид был расфасован в железные бочки по 100 кг. Их доставляли на точки вертолётom.

Так вот, Ступаков был тем МЕХАНИЗМОМ, который доставлял 100-килограммовые бочки с борта вертолётa к карбидным аппаратам. Юра клал бочку с карбидом в горизонт на пороге вертолётного фюзеляжа, приседал, заводя руки за голову, а мы накатывали бочку ему на плечи. Он хватался за выступающие края бочки, и, выпрямляясь, поднимал её. Не берусь сказать, сколько бочек он перетасил на своём горбу.

Вот такой пуд соли был у нас на Новой Земле.

...Когда-то мы со Ступаковым хотели написать трилогию о нашей службе: «По первому...», «По второму...». «По третьему...», имея в виду годы службы на Новой Земле. Не написали.

Не раз блуждали в страшной Новоземельской метели. В так называемой Новоземельской Боре, когда температура – 25, ветер 20 метров в секунду, когда на бровях намерзают наледи и мир кругом исчезает.

Однажды попали в метель, классифицирующуюся как Первый

вариант. Но это мы узнали потом. При такой погоде движение в гарнизоне запрещалось.

Нас это «счастье» настигло на пути в роту. Чтобы идти, нужно было ложиться на ветер. Мы ничего не видели в крошечном потоке снега и ветра, сбивающего с ног. В какой-то момент мы поняли, что потеряли направление и не знаем, куда идти.

Паники и страха не было, но куда идти, мы не знали. Остановились, пытаясь хоть что-то рассмотреть в этом аду. И, о СЧАСТИЕ, мы увидели в мгновение, когда порыв ветра ослаб, свет прожектора и указующую длань Ильича, стоящего у Базового матросского клуба (БМК). Этого мгновения оказалось достаточно, чтобы мы сориентировались и вышли к казарме.

Но природа Крайнего Севера не только сурова, но и удивительно красива.

Один из сослуживцев писал домой: «Служу на макушке Земного шара». Это было правдой.

Однажды, выйдя по нужде морозной полярной ночью, я замер, задрвав голову, забыв, зачем я вышел. Над головой горели, переливаясь, длинные-длинные сполохи. Их было пять. Причудливо изгибаясь на фоне звёздного неба в полной тишине, они нездешним светом освещали казармы, пустые дороги, сугробы, портовые краны на пирсе, залив... Зрелище Полярного сияния было гипнотически притягательно...

Это был танец, медленный танец, спокойный, полный внутренней силы и красоты.

Казалось, тундра впитывает неземной свет всех оттенков радуги, чтобы в начале лета расцвести мхами, цветным лишайником, папоротником, хвощами, ромашками...

В декабре 1961 года на вечерней поверке командир роты, капитан Ломанов, объявил перед строем, что за выполнение особого задания военный рабочий Ступаков представлен к ордену, а военный рабочий Фрумкин к медали.

Начальник «Первого ядерного полигона» на Новой Земле, генерал-лейтенант Кудрявцев, получил звание Героя Советского союза. Многие офицеры были награждены. И по делу. Кудрявцев же, кроме звания Героя, получил инфаркт.

Его брат был командиром эсминца, находящегося в охране. В установленное время корабль не вышел на связь, и никто не знал, успел ли эсминец уйти из зоны поражения до наступления времени «Ч». К счастью, всё закончилось благополучно.

И для нас всё закончилось благополучно.

Правда, объявленных наград мы не получили, но остались ЖИВЫ. Это – самое главное.

...Юра приобщил меня к классической музыке: Дворжаку, Глинке, Шопену, Чайковскому, я его к стихам: Пастернака (у меня был томик его стихов), Сельвинского, Маяковского, Есенина, Багрицкого...

Я знал сотни стихов наизусть и читал их.

Любимым моим стихотворением тогда были «Контрабандисты» Багрицкого.

Недалеко от нашей казармы находилась редакция и типография гарнизонной газеты «За Родину». Там стояли линотипы и другое полиграфическое оборудование. Я свёл знакомство с работниками редакции и типографии.

Вскоре мы организовали там ЛИТО. У нас был замечательный парень, Виля Иванов, поэт. Был прозаик – капитан Артёменко. Был художник, Толя Шапиро. Поэт, ст. лейтенант Виталий Задорожный.

Виля Иванов переписывался с ленинградской поэтессой Ириной Маляровой, которая была литературным консультантом газеты «На страже Родины», выходящей в Ленинграде. Я присоединился к этой переписке.

Однажды я прочёл на ЛИТО «Контрабандистов» Багрицкого. Оказывается, ребята записали всё на магнитофон. И вот, как-то в декабре, вечером, ко мне в кубрик вбежал Петя Брагин:

– Френк, – у меня в армии было такое прозвище, – Френк, там крутят твою запись.

Я ничего не понял, но мы выбежали на улицу. Полярная ночь. Метёт пурга. Качаются фонари. И в этой круговерти из форточки редакции над всей улицей:

*По рыбам, по звёздам проносит шаланду.
Три грека в Одессу везут контрабанду.*

*На правом борту, что над пропастью вырос:
Янаки, Ставраки, папа Сатырус...*

*.....
Так бей же по жилам, кидайся в края,
Бездомная молодость, ярость моя!..*

И я, и Юра Ступаков, и капитан Артёменко, и Виля Иванов, и Толя Шапиро, и Саша Родичев, и молодые офицеры, выпускники ЛИСИ (Ленинградского инженерно-строительного института), которых тоже «забрили» в армию – все мы ИНТУИТИВНО сопротивлялись НЕСВОБОДЕ.

Несколько лейтенантов, выпускников ЛИСИ, создали театральный кружок при Доме офицеров и поставили «Океан», пьесу Штерна.

В 1963 на Новую Землю призвали, в качестве вольноопределяющихся, девчат из Мурманска и Архангельска.

Они работали телеграфистками, кладовщицами. Поселили их в двухэтажном общежитии на Френкель-штрассе. Так мы называли главную улицу Белушки, построенную военными строителями под началом полковника Френкеля.

ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ, который личному составу годами глушили химией, закладываемой в компоты и кисели, впавший было в зимнюю спячку, ожил, встал по стойке «СМИРНО!!!» и ступил на боевое дежурство...

И по ночам, и днём усиленные патрули несли службу у ставшего невероятно популярным дома на Френкель-штрассе – головной боли руководства полигона и командования частей...

В один из выходных дней батальон был выстроен на плацу. Командование батальона, в лице подполковника Фёдотова, замполита майора Васина, командиров рот и старшин стояло в ожидании...

Командир батальона сообщил, что на одну из девушек было совершено нападение с целью изнасилования.

Командование гарнизона и военная прокуратура ведут по факту нападения расследование. Потерпевшая сообщила следствию, что она оставила следы своих зубов (не подумайте ничего худого) на

запястье нападавшего, и теперь происходит осмотр всего личного состава гарнизона в присутствии прокуратуры и понятых.

В это время подъехала машина с потерпевшей.

Нам приказали закатать рукава и предъявить руки для осмотра. Девушка шла вдоль строя, внимательно и задумчиво вглядываясь в наши лица, а потом переводила взгляд на руки...

Всё было тщетно – в наших рядах не было насильника. Командир батальона повеселел, и нас развели по казармам...

Ветрянка стихотворчества не миновала моего друга. Ступаков, будучи максималистом, написал в 1964 году «Венок сонетов», выдержав формально все классические каноны.

В 1964 году нашему ЛИТО при газете «За родину» удалось продавить политотдел полигона, и нам разрешили выпускать литературный Альманах. Тогда же вышел первый и единственный номер альманаха «Североморец».

В газете «Правда Севера» (газета выходила в Архангельске) появилась публикация моих стихов. Как-то днём, в обед – мы приходили в роту – меня вызвали в штаб батальона. Я явился.

Майор Расторгуев дал мне команду «вольно», взял со стола газету, подошёл и говорит:

– Поздравляю с публикацией!

Кроме стихов, я выступал в самодеятельности. Пел. У меня был неплохой баритон. Старшина Корзун сделал меня запевалой. И вот как-то идёт рота на обед. Старшина идёт сбоку.

– Ать-два, ать-два! Ногу твёрже! Запевай!

Надо ж ему прогнуться перед начальством. А мы-то с объекта пришли, усталые, голодные.

Я начал было, а ребята молчат. И я замолчал.

-- Запевала, за-пе-вай! – я молчу.

Дошли до столовой. Старшина:

– Рота! Пра-а-авое плечо вперёд, шагом марш!

Разворачивает роту от столовой к казарме.

– Запевай!

Я молчу.

– Запевай!

Три раза прогнал роту туда-обратно. Последний раз вся рота

молча развернулась и ушла в казарму без обеда. Надо выходить на работу, обед-то кончился!

Мы построились в казарме, сами. Потребовали командира роты. Пришёл командир, замполит, майор Васин, о нём позже.

- В чём дело? – спрашивает комроты старшину.
- Товарищ капитан! Рота не выполнила моего приказа!
- Какого? – спрашивает Ломанов.
- Отказались петь по дороге в столовую!
- Вы накормили роту?
- Никак нет! Не идут больше в столовую.

Саша Родичев, стоя в строю:

- Товарищ капитан, разрешите обратиться?
- Обращайтесь!
- Рота не обедала, не отдыхала, поэтому мы на работу не выйдем.
- Старшина, это так?
- Товарищ капитан...
- Значит так! Роту накормить! Вам, после развода, явиться в канцелярию.
- Есть! – говорит старшина.

Старшина припомнил мне эту историю в мой день рождения.

Ребята мне на день рождения подарили шерстяной тельник. Я с удовольствием влез в него. Тепло, уютно, сверху надел гимнастёрку. На утренней поверке старшина увидел у меня тельник под гимнастёркой.

Вызвал меня в канцелярию роты. Поставил по стойке «смирно».

- Вы нарушили уставную форму одежды! Тельник снять!

Надо сказать, что почти вся рота носила тёплые тельники. На это смотрели сквозь пальцы.

Я стою, молчу.

- Два наряда вне очереди.

Молчу.

- Четыре наряда вне очереди!

Молчу.

- Шесть нарядов вне очереди!

Да, нарушил я уставную форму одежды.

– Товарищ старшина, – говорю – расстёгивая гимнастёрку – чтобы в дембель вернули!

Вернул.

А шесть нарядов вне очереди пришлось отрабатывать.

В 1962 году Ступакова приняли кандидатом в члены партии, и он стал комсоргом роты, а потом и батальона.

У нас служил Юра Аникин. Был он, что говорится, метр с кепкой, вырос в детдоме. Специальность у него была редкая – жестянщик. Удивительные вещи делал он из оцинковки, художественные.

Я уже не помню проступка нашего Аники-воина, но его должны были отдать под трибунал. Для исполнения формальностей было необходимо его исключение из комсомола.

На общем комсомольском собрании роты выступил замполит, договорившийся до того, что военный рабочий Аникин является изменником Родины потому, дескать, что он нарушил присягу. Замполит предложил проголосовать за исключение Аникина из комсомола. Мы понимали, что если сделаем это, то будем последними подонками. Саша Родичев, будучи секретарём собрания, в соответствии с регламентом дал слово нам. После наших выступлений слово взял Ступаков.

Он был краток.

– Предлагаю, – сказал он, – не исключать комсомольца Аникина из членов ВЛКСМ, а объявить ему строгий выговор и взять на поруки.

Секретарь собрания мгновенно поставил вопрос повестки дня на голосование.

– Поступило два предложения...

Голосуем первое:

– Исключить комсомольца Аникина из членов ВЛКСМ. Кто за это предложение, прошу поднять руки.

Ни одна рука не поднялась в Ленинской комнате.

– Кто воздержался?

Воздержавшихся не было.

– Кто против? – Поднялся лес рук. – Единогласно! – констатировал секретарь.

Голосуем второе предложение.

– Кто за то, чтобы не исключать комсомольца Аникина из членов ВЛКСМ, а вынести ему строгий выговор и взять на поруки?

Посмотрев в зал, Саня (а руки подняли все) сказал: – Единогласно!

Дело о передаче Юры Аникина под трибунал лопнуло. Это нам так казалось.

Было ещё два комсомольских собрания с той же повесткой дня. Замполит не мог смириться с фиаско. Но и на этих собраниях мы не сдали Аникина.

Ступакова как комсорга прорабатывали по партийной линии, но он своей принципиальной позиции не сдавал, и мы его в этом деле поддерживали.

На третьем году службы, зимой, у меня началась депрессия. Дошло до того, что однажды я доказал (!) Ступакову, что жизнь не удалась, что всё кругом дерьмо, и из этого дерьма уже не выбраться. Жизнь кончена.

– Всё, не ХОЧУ больше...

Юрка посмотрел на меня.

– Давай! – сказал он.

– Вместе?

– Да!

– Когда?

– А, прям щас, вот только сбегая за мылом и верёвочкой! Подожди! – и он поднялся, чтобы идти.

Я как-то мгновенно, как от удара, пришёл в себя, посмотрел на Юрку и мы стали хохотать...

Юра демобилизовался только в декабре 1964 после первого ПОДЗЕМНОГО испытания ядерных зарядов на Новой Земле.

После армии мой друг закончил Военмех. Вновь поступив в Мореходку, окончил её с отличием. Стал капитаном дальнего плавания. Ловил рыбу в Атлантике, ледяную рыбу в Антарктиде. Принимал новейший Большой морозильный рыболовный траулер (БМРТ) в Канаде. Когда летел в Канаду с командой, командир самолёта пригласил капитана Ступакова в пилотскую кабину. Юра мне рассказывал о ночном небе над Канадой...

Имея два высших образования, зная английский, обладая богатейшим опытом морского рыболовства, Ступаков после перегона БМРТ из Канады должен был стать капитан-директором Северо-Западного рыболовного района. Но... во время рейса из Канады, после сеанса радиосвязи, когда коллеги посетовали, что план трещит, Юра завёл трал, выловил 1000 тонн рыбы и сообщил, что план выполнен! Это было серьёзным нарушением правил лова.

По приходе в Мурманск третий помощник капитана подал на Ступакова рапорт. Юру исключили из партии, сняли с капитанской должности...

После ухода из Тралфлота он работал в Карском и Баренцевом морях в качестве капитана экологического судна. Ходил на полярные станции. Зимовал на острове Вайгач. Во время зимовки как-то ночью нагонная вода подняла лёд, корабль сорвало с якорей и выбросило на берег. Летом Ступаков снял его с мели и дошёл своим ходом в Архангельск для ремонта.

У него были больные ноги. Однажды в Антарктиде, где ловил ледяную рыбу, на траулере вышел из строя один гребной винт регулируемого шага (ВРШ). Одной машиной судно не могло выгresti против ветра. Его сносило в южные широты, во льды. На борту было 100 человек команды. Ступаков не сходил с мостика 10 суток. Ноги распухли, пришлось распороть брюки, на ногах у него были разрезанные рыбачьи сапоги 48 размера. Юрка мне говорил:

– Ты знаешь, у меня тогда в башке крутились твои строчки: «День прожит, подведена черта.// Тундра задохнулась от тумана...»

*Новая Земля, август 1963
День прожит, подведена черта.
Тундра задохнулась от тумана.
Жизнь, она не то, чтобы не та...
Вытащу махорку из кармана,
Развяжу и память, и кисет,
Закурю, свернув сигарку.
Эх, сейчас бы взять велосипед,
Да с девчонкой в Павловске, по парку...
Над землёй – корова языком
Небо в одночасие слизнула.*

*Нет казармы. Белый монохром
Затопил Белушку, Кармакулы.
Враз пропала Новая Земля
И мы тоже с нею все пропали.
Атомные сгнули поля.
Се ля ви, случилось тру-ля-ля.
Как всегда, когда его не ждали.
Не прикажешь небу: от винта!
Антифриза дёрнешь полстакана
Гражданин Земшара, си-Ро-ота!...
День прожит. Подведена черта.
Тундра задохнулась от тумана...*

Последнее место его работы – строительство и сдача в эксплуатацию нефтяного терминала в Приморске. В должности помощника капитана порта Ступаков инспектировал танкеры и другие суда, приходящие в порт.

Юрий Владимирович получил почётную грамоту от правительства Санкт-Петербурга за личный вклад при вводе в эксплуатацию нефтяного Терминала в Приморске.

Через 43 года после Новоземельской эпопеи я стал ветераном войск особого риска.

Юрий Владимирович Ступаков, получив справку в Центральном Военно-морском Архиве о своём участии в испытаниях «Царь-бомбы» через 13 лет после меня, не стал заниматься оформлением своего ветеранства.

– Да пошли они! – сказал он мне.

Последний год был тяжёлым. У Юры начался некроз тканей на правой ноге. Сначала ему ампутировали пальцы, потом пол-ступни, потом ещё...

Последней книгой, прочитанной им перед смертью, был роман «Место» Фридриха Горенштейна, который произвёл на него огромное впечатление.

Как я ни просил Юру, он не оставил воспоминаний...

Заканчивая воспоминания, я не имею права не упомянуть о ТРАГЕДИЯХ, свидетелями которых мы были.

Испытания ядерного оружия на Новой Земле оплачены многими человеческими жертвами.

После наложения моратория на воздушные испытания, на полигоне начались интенсивные строительные работы по подготовке площадки Д-9 к подземным испытаниям.

Необходимо было восстановить, а практически построить заново посёлок для шахтёров и испытателей, разрушенный взрывом «Царь-бомбы».

Несколько раз мне довелось работать на точке Д-9. В частности тогда, когда зимой ледокол «Красин» доставил первые строительные материалы.

В 1963 на полигон был переброшен батальон военных строителей, в основном ребят из Узбекистана и других республик Средней Азии. Они плохо говорили по-русски, радовались хорошему, по сравнению с прежним, питанию.

Батальон занимался общестроительными работами на Д-9 и жил в армейских палатках по 15 человек. Спали на двухэтажных деревянных нарах.

Глубокой осенью 1963 года на Д-9 случилось ЧП.

Ночью погасла буржуйка в одной из палаток. Заснул дневальный. А когда проснулся, не смог разжечь печурку. Он взял кружку, налил туда солярки, открыл дверцу буржуйки и плеснул соляру. Мгновенно вспыхнул огонь, парень отшатнулся, при этом он опрокинул ёмкость с соляркой. Начался пожар. Все ребята, а спали они в спецпошивах, в спальнях мешках, погибли.

С Новой Земли на материк пошёл груз 200.

Не знаю, по какой причине, но несколько погибших хоронили на Новой Земле.

В Базовом матросском клубе, в вестибюле, стояли пять закрытых гробов. На крышках лежали фуражки и стояли фотографии мальчишек, переснятые с документов.

Молча, мы прощались с ними. Неважно, что мы их не знали поимённо. Мы вполне могли бы оказаться на их месте.

В вестибюле стояло несколько женщин, жёны офицеров, в траурных накидках.

Они пришли ОПЛАКАТЬ и ОПЛАКИВАЛИ незнакомых им мальчиков, так страшно и нелепо погибших. Оплакивали по-бабьи, навзрыд...

Ещё о двух трагедиях. Одна из них не коснулась меня лично, вторая коснулась косвенно.

Зимой 1963 года в гарнизоне пропал солдат срочной службы. Поиски не дали результатов, а поздней весной, когда стали проводить регламентные работы на водозаборе (посёлок Белушья Губа живёт на пресной воде из озера в центре Белушки), обнаружили у сетки водозабора тело пропавшего солдата. Видимо, в пургу он заплутал, подошёл к месту водозабора и провалился в полынью. Целую зиму гарнизон пил воду, отфильтрованную через форму этого парня.

В феврале 1962 года командование моей части получило ХОДАТАЙСТВО из военкомата о предоставлении мне краткосрочного отпуска по семейным обстоятельствам.

У отца был тяжелейший инфаркт. Отец был главным сталеплавильщиком Ижорского завода, Лауреатом Сталинской премии, полученной им в 1950 году за разработку «Технологии получения высокопрочных литых якорных цепей для морского флота СССР».

Меня вызвали в штаб.

Замполит майор Васин сообщил мне о ходатайстве. Спросил, знаю ли я о болезни отца?

– Да, знаю – ответил я.

Дальше случилось нечто...

Замполит стал мне говорить, да что там говорить, УБЕЖДАТЬ, что в отпуск лететь не надо. Что всё бессмысленно. Что отец, может быть, уже умер. Что я потрачу зря деньги на дорогу, а они, деньги, достаются здесь дорогой ценой...

(Нам, военным рабочим, платили зарплату. Процентом 10 её выдавали на руки, а 90% перечисляли на сберкнижку. Кроме этого, каждые 6 месяцев нам увеличивался полярный коэффициент к зарплате. К моменту демобилизации у меня было 80% полярки.)

Я слушал этого низенького, толстопузого мужика, перепоясанного ремнём, и не понимал, КАК можно говорить ТАКОЕ сыну...

В отпуск я, конечно, полетел. Командование части мне его предоставило.

Только через 43 года я прочёл в архивной справке:

« В приказе командира в/ч 77510 от 30 ноября 1961 года, № 0149 значится: В соответствии с приказом МО СССР № 0133 от 27.07 1959 г. за участие в выполнении временных специальных работ в условиях воздействия радиоактивных веществ и источников ионизирующих излучений предоставить дополнительный отпуск нижепоименованному личному составу: ... военному рабочему в/ч 51246, Фрумкину, Юлиану Иосифовичу».

Итак, в феврале 1962 года я полетел на Большую землю.

В Рогачёво, где находится аэропорт Новой Земли, перед самой посадкой в самолёт, на взлётное поле въехал санитарный фургон. Оттуда вышли два офицера.

Один из них громко спросил:

– Военный рабочий Фрумкин есть?

– Есть! – сказал я.

Офицер подошёл ко мне.

– Вы знаете, что на Кислородной станции было ЧП? Обгорел солдат, ваш сослуживец?

– Да, знаю.

– Командование просит вас взять сопроводительные документы и передать вашего товарища и документы в Архангельске медикам, которые встретят ваш самолёт. Мы сейчас погрузим солдата, ему сделали обезболивающие уколы и дали снотворное. Во время полёта он не доставит хлопот ни вам, ни экипажу самолёта...

На подлёте к Архангельску я пошёл к лётчикам и попросил, чтобы они послали запрос: будут ли медики встречать наш самолёт. Запрос отправили.

В Архангельске меня встретили медики, и я передал бедного парня, с ожогами первой и второй степени, с рук на руки вместе с пакетом документов. Из Архангельска его, как я узнал потом, отправили в Ленинград, в Военно-медицинскую академию. Но парень не выжил.

Таковыми выдались мои молодые годы. Вспоминать о них буду всю оставшуюся жизнь.

Юлиан Фрумкин-Рыбаков родился в 1942 году в городе Краснокамске. Срочную службу в советской армии проходил на «Первом ядерном полигоне» (остров Новая Земля). Участник испытания 30 октября 1961 года «Царь-бомбы». Ветеран войск особого риска.

Окончил Северо-Западный Политехнический институт, по образованию инженер-металлург. 30 лет работал на Ижорском заводе в электросталеплавильном цехе, в мартеновском цехе.

Стихи и проза печатались в журналах «Звезда», «Нева», «Дети Ра», «ЗинZИвер», «Слово/Word» (Нью-Йорк), «Футурум АРТ», «Словоллов», «Реальность и субъект», «Острова/Islands» (Нью-Йорк), «День и Ночь» (Красноярск); в антологиях: «Город-текст», издание Русской библиотеки Толстовского фонда, США, «Лучшие стихи 2011», Москва ОГИ 2013 г.; в альманахе «XXI век», издание Русской библиотеки Толстовского фонда США.

В 1994 году создал издательство «Водолей». Основатель литературного клуба «Невостребованная Россия» (1997), общественной организации «Золотая книга Колпино» (1997).

Автор книг: «Время на вырост» (1994), «Преломление слова» (2001), «Лето господне» (2003), «Эхо» (2007), «Ландшафт» (2009), «Дайте жизни оболочку» (2010), книги прозы «Летят перелётные птицы. Минувшее – век XX», СПб. 2016 год.

Лауреат нескольких литературных премий.

Член Международной Федерации Русских Писателей (IFRW), член Союза писателей XXI века. Живет в Колпино.

Светлана ГЕБЕЛЕВА

СЕКРЕТНЫЕ ПАПКИ АННЫ КУПРЕЕВОЙ

Не так давно я побывала в родном городе Минске. Вновь и вновь возвращаюсь памятью в необычный, волнующий день 16 октября 2017 года, когда я пришла с группой минчан на так называемое «Военное» кладбище, к захоронению супружеской пары Купреевых.



Иван Кузьмич был одним из ведущих специалистов по истории Великой Отечественной войны на территории Беларуси. Он готовил документы о зверствах гитлеровцев для Нюрнбергского процесса. Под влиянием мужа Анна Павловна стала историком, продолжила изучение темы войны.

К сожалению, Иван Кузьмич прожил всего лишь 60 лет. Он умер в 1957-м. В то время кладбище, расположенное в центре города, уже закрыли для захоронений. Но по завещанию мужа рядом с ним было оставлено место и для жены. Она ушла из жизни ровно четверть века назад... Ее предали земле и забыли. И только спустя годы, в октябрьский день 2017-го на могиле Купреевой был установлен памятник. Это произошло по инициативе Белорусского землячества Нью-Йорка, отдавшего дань памяти и уважения выдающейся женщине.

Купреева не воевала. Она была труженицей тыла. Свой подвиг Анна Павловна совершила спустя много лет после войны, восстановив честь и достоинство узников Минского гетто. Но за это при жизни Купреева не услышала слов благодарности. А после кончины ушла в небытие на 25 лет...

«ДОЧЬ ВРАГА НАРОДА»

Она родилась в Лельчицах, на Полесье. На её долю выпало немало испытаний. В 1938 году её отца Павла Семёновича Козлова и других руководителей Полесской области арестовали и расстреляли в одну ночь. В апреле 1957 года Аню, её сестру Лену, брата Володю и маму Татьяну Ивановну пригласили в КГБ. Сообщили, что их муж и отец реабилитирован, что он ни в чем не виноват. Вдове и детям принесли извинения. Но Аня, Лена и Володя ещё долго жили с ярлыком «дети врага народа».

...Татьяна Ивановна с тремя детьми на руках оказалась выброшенной на улицу и едва могла свести концы с концами. Аня, старшая из детей, начала трудовую жизнь ещё подростком. В начале войны им удалось эвакуироваться. В тылу Ане пришлось работать и дояркой, и счетоводом, и разнорабочей. И тянулась к учебе, проявляя немалые способности. Она окончила курсы при Муромском учительском институте. Потом этот же институт. Аня училась на двух факультетах сразу: историческом и педагогическом.

В Белоруссию смогла вернуться в 1946-м. Её назначили завучем спецдетдома в Гомельской области, где находились дети, спасённые из Озаричского концлагеря смерти. Спустя некоторое время её перевели в Минск. Она работала в детпрёмнике МВД. Заочно училась в Белорусском государственном университете.

После окончания университета Купреева поступила в аспирантуру. И здесь обнаружилось, что она – «дочь врага народа». Ей не давали ни темы диссертации, ни возможности сдать кандидатский минимум. Только после вмешательства высоких инстанций ей удалось сдать экстерном все предметы и защитить диссертацию. Это произошло, когда она уже была сотрудником Института истории Академии наук БССР, где работала с 1957 года.. Защитив кандидатскую диссертацию и пройдя конкурс, Купреева была зачислена на должность старшего научного сотрудника.

Она исследовала историю партизанского движения в Беларуси и проблемы восстановления народного хозяйства после освобождения от оккупации. Вела огромную работу не только в архивах республики, но и во многих архивах Российской Федерации. Результаты этих научных исследований были опубликованы в монографиях, научных коллективных трудах, энциклопедических изданиях и периодической печати.

Её работа, которая шла в общепринятом русле, высоко ценилась. Купреева получала благодарности, награждалась, премировалась...

НЕУДОБНАЯ ТЕМА

Но время шло и вносило в жизнь свои изменения. В конце 70-х годов в Институте истории партии при ЦК КПБ была создана группа по изучению Минского патриотического подполья. В этой работе должны были участвовать и сотрудники Института истории. Встал вопрос, кто будет работать над исследованием деятельности подпольной организации на территории еврейского гетто Минска. Заведующий отделом Филимонов видел, как сотрудники на предложение взять эту тему отводили глаза. Понятно: подполье, еврейское гетто... Антисемитизм в те времена процветал. Евреи – герои... Этого не может, не должно быть. Хотя знали, что так было! Но лучше делать вид, что не знаешь...

Минский журналист Сергей Крапивин писал о тех временах: «...Тема организованного еврейского антифашистского сопротивления была закрыта в истории СССР. Такая избирательная память о войне... Советские историки постигли «правило»: хочешь стать бла-

гополучным учёным мужем, вовремя получать звания, должности и хорошие оклады – пиши про апробированных номенклатурных партизан Витебщины или Минщины. А хочешь иметь проблемы – займись Минским подпольем»...

Ещё хуже было заняться изучением Минского гетто и его тайной организации, откуда вышло Минское городское подполье.

Несмотря на то, что тема эта была утверждена *сверху*, всё равно учёные-историки боялись. Не побоялась Анна Павловна Купреева. Она, единственная, глаз не отвела.

Мне довелось побеседовать с Александром Андреевичем Филимоновым. Он с теплом говорил: «Я доверил непростую тему именно тому человеку, который воспримет её всем сердцем, не испугается, не отступится. Анна Павловна была не только талантливым историком, но и человеком редкой порядочности и доброты».

Во время Великой Отечественной войны Минское гетто было единственным

из всех еврейских гетто на белорусской территории, где действовала боевая подпольная организация. Ею руководил секретарь подпольного Тельмановского (в гетто) райкома Михаил Гебелев, мой отец.

320 подпольщиков – узников гетто были под его началом за колючей проволокой. Гибли люди. Но гетто боролось. Самые опасные задания Гебелев брал на себя, за что его прозвали «Бесстрашный Герман». 100 тысяч евреев в Минском гетто поглотила фашистская фабрика смерти. Но подпольщикам удалось спасти несколько тысяч узников, переправив их в лес к партизанам, а несколько сотен детей-сирот устроить в детские дома русских районов Минска и пригородов, дав им русские или белорусские имена и фамилии. Сам Михаил Гебелев погиб в застенках гестапо в августе 1942 года.

Я никогда не видела своего отца, потому что родилась в июне 1941 – за две недели до начала войны. 24 июня семья отправилась в эвакуацию далеко от родных мест. Отец остался.

Возвращение в Минск было горьким. Отец погиб. Но я с детства знала

о нём. Мама, мои старшие сёстры Рая и Зина, друзья, соратники отца помогли мне воссоздать его образ. Став журналистом, я начала

писать о нём. Мои коллеги в минских газетах говорили: «Тема гетто не пройдёт». И были правы. Я очень переживала, но надеялась, что когда-нибудь мне позвонят и скажут: «Напиши о своём отце...»

ЕЁ ЗАВЕТ

И вдруг телефонный звонок. Женский голос: «Мне нужна ваша помощь, Света». Звонила Анна Павловна Купреева, старший научный сотрудник Института истории АН БССР. Она сказала: «Я работаю над историей Минского гетто. Помогите мне собрать материалы о вашем отце».

Я с радостью откликнулась на просьбу, тем более, что у меня уже было собрано немало воспоминаний родных, сослуживцев, односельчан. Ездил по городам и весям, разыскивая людей, которые знали отца.

Помню день, когда Купреева пришла к нам. Я волновалась в предчувствии встречи, потому что до сих пор не встречалась с учёными. Она оказалась такой скромной, милой и простой, что сомнения улетучились. Анна Павловна рассказала коротко о себе. А потом с большим вниманием слушала нашу маму. Мама была очень общительным и эмоциональным человеком. Рассказывая о муже, которого горячо любила, она не смогла сдержать слёз. Анна Павловна обняла её, утешила..

Да, главной темой жизни Купреевой стала история Минского гетто и его подпольной организации, над которой она работала 15 лет, до последнего своего вдоха. Она сделала всё, чтобы установить правду о людях, которые очутились в неволе и вели мужественную борьбу от начала и до трагического конца. И чем глубже вникала она в суть, тем ярче раскрывалось мужество обречённых. Донести до новых поколений то, что десятилетиями сознательно скрывалось властью, – вот в чём была её задача. Она шла путём правды и совести. А это было непросто. Отношение к ней в Институте изменилось. Коллеги нередко выказывали своё пренебрежение. Начальство не замечало. Она стала изгоем. Но никто и ничто не могли остановить её.

Купреева работала исключительно скрупулёзно. Врач Феликс Липский, сын подпольщицы Розы Липской, бывший малолетний

узник гетто, рассказывал: «Анна Павловна записала воспоминания сотен уцелевших узников гетто, их близких. Многие из спасшихся из ада были ещё живы, когда она начала свою работу. Каждое из этих воспоминаний она сопоставляла с архивными данными. Тщательно просеивала, чтобы донести до людей одну только правду. Она открыла малоизвестные страницы борьбы подпольщиков...»

Мы часто виделись с ней, подружились. Благодаря Купреевой я вновь встретила и с Феликсом Липским, и с Феликсом Хаймовичем, о которых сохранились лишь детские воспоминания. В их семьях мы бывали когда-то с мамой. Купреева познакомила меня с Антониной Андреевной Мелентович, чудесной белорусской женщиной, работавшей с моим отцом до войны и в подполье. В её квартире на улице Разинской, 25 Михаил Гебелев встречался со «Славкой», «Победитом» (партийные клички секретаря Минского подпольного горкома еврея Исаия Казинца) и подпольщицей Лёлей Ревинской. Обсуждались планы совместных действий. Анна Павловна советовала мне встретиться с Александрой Фёдоровной Носковой и с другими людьми, в домах которых были конспиративные квартиры, организованные Гебелевым для совместной работы подпольщиков гетто и города.

Купреева познакомила меня с Давидом Рувимовичем Киселем, который работал с Михаилом Гебелевым на одном заводе. Было это до войны. А встретив приятеля в гетто, отец привлёк его к своей работе.

После войны ряд узников Минского гетто не были признаны подпольщиками. Обладая фундаментальными знаниями в этом вопросе, Купреева помогла им добиться справедливости. Среди этих людей был и Давид Кисель. Уже находясь в Баффало, я получила письмо от Фриды Аслёзовой, дочери Киселя. Анна Павловна разыскала её родителей в Риге. Давид Кисель – узник Минского гетто, подпольщик, партизан – после войны по навету стал узником советского ГУЛАГа. И всё же дождался светлого дня реабилитации. Семья воссоединилась. Фрида написала мне о роли Купреевой в судьбе её отца.

«Здравствуйте, Света! Хочу сказать добрые слова об Анне Павловне. Изучая материалы о вашем отце, она узнала, что Давид Кисель выполнял в подполье задания М. Гебелева, и разыскала моих

родителей. Наша семья очень благодарна Анне Павловне за то, что она написала об участии в подполье моего папы, так как об этом нигде не было сказано в связи с тем, что с 9 августа 1945 года по 1956 год он находился в ГУЛАГе. Спасибо и вам. Фрида».

Анна Павловна помогла десяткам бывших узников добиться справедливости. От неё я узнала, как сложилась жизнь того или иного узника гетто.

Она собрала много бесценных данных о погибших и живых, об их детях и внуках, стала родной в их семьях.

По свидетельству Феликса Хаймовича, Купреева появилась в их доме в 1980 году. Она провела много времени в беседах с его отцом Борисом Хаймовичем – бывшим узником гетто, а затем комиссаром 1-го отряда 203-й партизанской бригады. Она просила его помочь ей составить план гетто. Феликс вспоминает: «Анна Павловна буквально водила отца за руку по бывшему району гетто, задавая вопрос за вопросом. Так улица за улицей наносились на план местности».

Вот он передо мной, этот план. Каждая улица, каждый переулок имеют своё чёткое название. Очерчены границы гетто на август 1941 и январь 1942 года. Эту карту и многие другие документы, завещанные мне Купреевой, я свято храню многие годы. Я постоянно советовалась с Анной Павловной. Она стала дорога мне как мать, как самый надёжный друг. Купреева открывала всё новые страницы мужества моего отца и других подпольщиков. Она верила: рано или поздно, правда будет востребована. Её слова оказались пророческими. В 2005 году именем моего отца была названа одна из улиц Минска.

Когда многолетняя работа Купреевой была завершена, её положили в архив с секретным грифом. Никому не показывать, не использовать собранные бесценные материалы и свидетельства. Вот так.

Анна Павловна делала всё возможное, чтобы они появились в печати. Времена менялись, ветер перестройки кружил головы, и тем не менее, в Беларуси многое оставалось по-прежнему. Пытаясь опубликовать свой документальный очерк о подпольщиках Минского гетто, Купреева обошла редакции многих местных изданий. Но только один человек осмелился опубликовать материал с запре-

щённой темой. Это Анатолий Андрухович – тогда главный редактор журнала «Беларуская мінуўшына». К тому времени, когда очерк появился в печати, Анна Павловна была уже неизлечимо больна. Она стойко, мужественно переносила невыносимую боль. Я часто навещала её в больнице, приносила гранки с её очерком. Она правила, а я относила в редакцию. Она ещё успела подержать в руках журнал со своим очерком. Это была последняя радость в жизни замечательной белорусской женщины, совершившей подвиг во имя еврейского народа.

Она умерла 13 октября 1993 года. По стечению обстоятельств в это время в Минске впервые в истории проходили Дни памяти евреев Беларуси. Анна Павловна так мечтала принять в них участие! Не довелось... В день, когда перестало биться её сердце, проходила научно-практическая конференция по программе Дней памяти евреев. С докладом о подпольной организации Минского гетто выступала сотрудница Института истории АН БССР Галина Кнатько. В основе её выступления был труд Анны Павловны. Но она даже не вспомнила о Купреевой.

Я выступала после Кнатько. Прежде чем рассказать об отце, я напомнила людям о Купреевой, о её подвиге. Президиум был явно недоволен моим сообщением... Не обращая на это внимания, я сказала: «Сегодня Анна Павловна умерла. Прошу почтить её память». Все в зале поднялись. Пришлось встать и президиуму. А на следующий день в театре оперы и балета состоялось торжественное собрание, завершающее программу Дней памяти. У парадного входа в театр меня ждала сотрудница музея истории ВОВ Раиса Черноглазова. Она остановила меня и, глядя с ненавистью, бросила: «Кто вам позволил нарушить ход конференции и говорить о Купреевой?!» Я ответила коротко: «Моя совесть».

Чем же была Анна Павловна так неуютна Кнатько и Черноглазовой? Придя домой, я вновь достала письмо Анны Павловны, которое она написала мне, уже находясь в больнице, 23 августа 1993 года. Нашла абзац: «...В Институте многих собранных мною материалов нет. По совету зав. отделом Литвина Алексея Михайловича я на папках надписала «Фонд Купреевой», так как Кнатько всё это выдавала за свою работу. Научная справка (копия) пока у меня. Есть экземпляр у Кнатько и второй – у Черноглазовой, она его вынесла

из партархива. Кнатько меня просила текст о подпольной борьбе в Минском гетто для её монографии за её и моим авторством. Сдала текст – более 60 страниц машинописного текста – 9 марта сего года, но от неё ни звука».

Вот вам и объяснение: труд Анны Павловны присвоили...

В конце августа того же года Купреева прислала мне со своим сыном Володей экземпляр своего очерка о подполье гетто с запиской: «Простите за описки. Руки не работают. Но в голове материал пока держится. Он мною выстрадан, выхожен. Выхожен ногами, руками, душой и сердцем. Я жила и живу им. Это были прекрасные люди!»

Вместе с её работами, завещанными мне, Володя передал мне ещё одну записку Анны Павловны: «Распоряжайтесь, Светочка, материалами как считаете нужным». Сделав копии, я передала наследие Купреевой в Иерусалимский институт изучения Катастрофы и героизма еврейского народа Яд Вашем, чтобы им могли пользоваться историки разных стран и читатели этого центра. В ответ получила письмо от директора архива Мемориала Яд Вашем Хаима Гертнера. «Уважаемая Светлана! Руководство Мемориала Яд Вашем выражает вам глубочайшую благодарность за передачу в дар архиву документов Анны Павловны Купреевой, героической исследовательницы Минского гетто. Статьи, написанные ею, воспоминания и очерки о подпольщиках, карта Минского гетто являются бесценным вкладом в изучение Катастрофы».

А в 2015 году, в преддверии 70-летия Победы, документальный очерк Купреевой «Спрятанная правда» о подпольщиках Минского гетто обрёл вторую жизнь. На этот раз в США, в русскоязычном журнале «Форум». Этот красочный, содержательный журнал до последнего времени издавался в Миннеаполисе (штат Миннесота) с участием Белорусского землячества Нью-Йорка. Его редактор Евгений Блажнов – известный московский журналист, в прошлом профессор, преподаватель МГУ, интеллигентный, широко образованный человек, отдавал много страниц своего издания восстановлению имён незаслуженно забытых героев. Мы попросили нашего друга и коллегу, редактора газеты «Авив» из Минска, Александра Чернушевича перевести очерк Купреевой с белорусского на русский язык и опубликовали его в трёх номерах «Форума».

ПИСЬМО ТАТЬЯНЫ

В августе 2016 года я получила по интернету письмо от незнакомой женщины. «Добрый день, Светлана Михайловна! Меня зовут Татьяна Новосельская. Живу в Минске. Работаю в Университете. Как волонтер присматриваю за могилами на «Военном» кладбище. Сейчас администрацией города развёрнута деятельность по приведению в порядок захоронений. Вот и пытаюсь что-то сделать. Я знакома с историей Минского гетто, знаю о Вашем отце. Из Ваших статей узнала об Анне Павловне Купреевой. Вы утверждаете, что её похоронили в 1993 году рядом с могилой мужа. Но кроме его имени, на могиле нет ни таблички, ни упоминания об Анне Павловне. Могила сильно запущена. Я прибрала, насколько возможно. Администрация кладбища в книге захоронений не нашла имени Купреевой. Вы пишете, что присутствовали на похоронах Анны Павловны. Она точно там похоронена? Может быть, жив её сын и можно его найти? Я бы связалась с ним, и мы вместе внесли бы её имя в книгу регистрации захоронений. Эта женщина более чем достойна не быть забытой!»

Не описать, как глубоко проникло это письмо в моё сердце. Я плакала над письмом Татьяны Новосельской, историка, замечательной женщины с чутким сердцем, как у Анны Павловны. Помню, как в день кончины Купреевой обзвонила в Минске несколько десятков человек, попросив отдать ей последний долг. Когда назавтра пришла на «Военное» кладбище, то увидела сына Анны Павловны Володю, её младшую сестру Лену, пару сотрудников Института истории... Евреев, кроме меня и супругов Киселей, там не было...

И вновь заросла тропа к её могиле, которой, оказывается, вовсе нет. Нет ни надгробия, ни столбика, ни крестика, ни её имени. Ушла в небытие святая женщина, которая одна вышла на защиту памяти об узниках гетто, самого крупного на территории СССР.

Письмо Татьяны Новосельской призывало к действию. Я передала письмо в Белорусское землячество Нью-Йорка. Оно взволновало ветеранов так же, как и меня. Ведь остались люди, которые общались с Купреевой. Среди них президент Белорусского землячества Савелий Каплинский, бывший малолетний узник Минского гетто, подпольщик и партизан. Анна Павловна записала воспоминания не только взрослых, но ещё и маленьких Гаврошей...

Благодаря поддержке Каплинского и вице-президента Давида Мельцера был создан проект по восстановлению памяти Анны Павловны. По мнению ветеранов, на ее могиле должен быть воздвигнут памятник, что будет актом высшей справедливости. Как инициаторы, мы обязались обеспечить осуществление проекта материально. К нам присоединились активисты Чикагской ассоциации ветеранов ВОВ во главе с Абрамом Сагаловичем. Позже проект поддержали и руководители Союза белорусских еврейских общественных организаций и общин. Мы обратились за помощью к Временному поверенному в делах Республики Беларусь в США Павлу Шидловскому. Белорусские дипломаты всегда помогают нам в решении важных вопросов. Вскоре Павел Адамович сообщил, что руководство Мингорисполкома не возражает против сооружения и установки памятника Анне Павловне Купреевой в семейном захоронении. А дальше нам помогал Генеральный консул Республики Беларусь в Нью-Йорке Виктор Черехович.

Обращение Белорусского землячества к Павлу Шидловскому и его ответ опубликовал в минской газете «Авив» её редактор Александр Чернушевич. На него сразу отозвался минчанин Эммануил Иоффе, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой Белорусского педагогического университета, главный специалист по Холокосту среди учёных-историков Беларуси. Мы с профессором – давние знакомцы. Часто беседуем об Анне Павловне. Как-то при встрече в Минске Эммануил Григорьевич достал с одной из полок домашней библиотеки солидную книгу. Это оказался библиографический справочник «Институт истории Национальной Академии наук Беларуси в лицах», изданный в Минске в 2008 году. Среди ЛИЦ есть и Купреева. Названы темы и публикации её работ, ...кроме той, которой она посвятила 15 последних лет жизни. Думаю, комментарии здесь излишни...

Конечно, не всё было просто в осуществлении нашего замысла... Нашлись спонсоры в общественных организациях. Морально и материально поддержали проект сыновья легендарной подпольщицы и партизанки Цили Ботвинник-Лупьян – Семён и Ян, а также Алик (Гилел) Осташинский – сын известной подпольщицы Славы Гебелевой-Осташинской. Их матери стали для Анны Павловны одними из первых свидетельниц героизма еврейских женщин гетто.

СОЗДАТЕЛИ ПАМЯТНИКА

Так получилось, что самым трудным было найти тех, кто мог бы реально осуществить создание памятника. Не просто вершить такое дело через океан. Поэтому надежда была на минчан. На людей надёжных, благородных, бескорыстных. Такие появлялись на горизонте, однако исчезали.

Рядом со мной с первого дня знакомства была Татьяна Новосельская. Почти каждый день мы встречались с ней на скайпе, делились новостями, решали проблемы. Несмотря на большую разницу в возрасте, мы с Таней подружились. Она познакомила меня по скайпу со своей семьёй: мамой Тamarой Петровной, мужем Александром, специалистом по компьютерам, дочерью Дашей – чемпионкой Европы по плаванию. Через год, приехав в Минск, я смогла пообщаться с этими милыми людьми у них дома. Несмотря на большую нагрузку в университете, волонтерскую работу, заботы о семье, Татьяна стала первым помощником в осуществлении нашего проекта.

Заказать памятник было не так уж сложно. Но типовой, стандартный. А мы хотели для Анны Павловны особый. «Звони Вене, он не откажется», – подсказало мне сердце. Вениамин Маршак – знаменитый минский сценограф, художник-постановщик республиканских и городских массовых зрелищ. Он – мой двоюродный брат, человек добрейший и отзывчивый. Правда, всегда очень занят. Но есть темы, к которым он не может быть равнодушным. Это Война и Дети. Веня согласился участвовать в проекте.

Татьяна и Вениамин в свободное время бескорыстно работали над созданием памятника. Прежде им нужно было узнать, где и как затерялись следы Анны Павловны, затем найти её родных – без их разрешения невозможно было соорудить памятник. Они прошли много инстанций. Удалось выяснить, что младшая сестра и сын Анны Павловны умерли. Никому не было дела до захоронения Купреевых...

Когда формальности были улажены, Вениамин Маршак приступил к созданию эскиза памятника. Татьяна Новосельская тем временем нашла гранитную мастерскую «Мементомори». В эскизе, выполненном Веней, соединились дарования художника, архитектора, скульптора. Все участники проекта могли увидеть и оценить

эту работу. Талантливые люди в гранитной мастерской воплощали в жизнь их замысел.

Большую помощь оказывали Тане и Вене директор кладбища



Анна Гриб и её заместитель Ирина Тушинская. Особенно Тушинская. Она помогала и в подготовке места для установки памятника, и в благоустройстве территории... Пришёл волнующий день, когда Таня сообщила: «Памятник установлен. Приезжайте. Ждём».

ПРИЗНАНИЕ

И вот пришёл этот день, 16 октября 2017 года. Он выдался сухой, солнечный и тёплый.

Собралось немало людей, для которых имя Купреевой – не пустой звук. Непрошенные слёзы навернулись на глаза. Сколько раз представляла, как приду к ней и что скажу... Смотрю на милое лицо, ниспадающие волнистые волосы, на застенчивую, едва заметную улыбку. Такой она была в молодости. Такой решил представить её людям автор памятника Вениамин Маршак. Говорю ей: «Здравствуйте, дорогая Анна Павловна! Как радостно, что вы вернулись к нам, к минчанам, теперь уже навсегда».

Светлана Гебелева – коренная минчанка. Журналист. За плечами Белорусский государственный университет и один из колледжей города Баффало (штат Нью-Йорк), где она живёт сейчас.

Всю сознательную жизнь посвятила восстановлению имён незаслуженно забытых героев Великой Отечественной войны, и прежде всего, своего отца Михаила Гебелева, руководителя подполья Минского гетто. Это был тернистый путь. Но он привёл к появлению в Минске улицы Михаила Гебелева, а позже – к изданной в Беларуси книге «Долгий путь к заветной улице».

Статьи Гебелевой публикуются в русскоязычной прессе США, Израиля, в газетах и журналах Беларуси и России.

Борис КУЗНЕЦОВ

«ВНЕБРАЧНЫЕ ДЕТИ»

Из Записок адвоката-камикадзе

Па-Де-Де с Майей Плисецкой

– Ты не дочь Майи Плисецкой, ты дочь лейтенанта Шмидта, – эти слова я сказал в холле Пресненского районного суда молодой женщине, похожей на девочку, небольшого росточка, худенькой. Она стояла, окруженная телекамерами и журналистами, в первой позиции, прижав пятку левой ноги к середине ступни правой и слегка вывернув колени наружу. Девочку звали Юлия Глаговская, она и впрямь внешне похожа на молодую Плисецкую. Рядом громоздилась полная комичности фигура ее израильской мамы с голубыми глазами, русыми с сединой прядями всклокоченных волос, одетая по моде конца 50-х годов и, что сразу бросалось в глаза, с сеткой, которую называли авоськой.

– Мы будем требовать проведения ДНК, – перебивая друг друга, кричали мать и дочь, явно недовольные, что внимание большой толпы журналистов и телевизионщиков переключилось на участников процесса, выходявших из зала суда.

Журналисты и камеры развернулись ко мне, «дочка» недовольно надула губки, а израильская мамаша стала что-то шептать журналистам, кивая в мою сторону.

Посыпались вопросы.

– А Вы согласны с проведением генетической экспертизы? Это спросила Саша Шнитникова, корреспондент РИА-Новости.

– Майя Михайловна Плисецкая попросила передать, что у нее кровушки не хватит на всех авантюристов.

28 января 1999 года «Московский комсомолец» опубликовал большой материал Владимира Симонова, лондонского корреспон-

дента газеты с заголовком «Здравствуйте, я дочь Майи Плисецкой», а также подзаголовки к ней: «У Майи Плисецкой есть тайная дочь в Израиле», «У знаменитой балерины обнаружился плод тайной любви». В материале утверждалось, что в сентябре 1976 года балерина тайно в Ленинграде родила дочь вне брака.

Сюжет был закручен лихо. Со слов Юлии Глаговской ее приемная мать в сентябре 1976 года родила мертвую девочку в специальном родильном доме, куда ее определил приемный отец Борис Глаговский – офицер КГБ, который к тому же дальний родственник Плисецкой по материнской линии. В то же время, в том же родильном доме лежала Майя Плисецкая, которая родила девочку втайне от своего мужа Родиона Щедрина. Борис Глаговский познакомился с Плисецкой, когда сопровождал труппу Большого театра в зарубежных гастролях. Он подменил ребенка и много лет скрывал эту тайну от матери и дочери. Юлия, узнав «тайну своего рождения», несколько раз встречалась с Майей Михайловной и та якобы даже признала в ней свою дочь.

Непосредственно перед публикацией Юля каким-то образом связалась с теткой Майи Михайловны Суламифь Мессерер, которая вместе с сыном Михаилом жила в Лондоне и та, в свою очередь, вывела Юлию Глаговскую на корреспондента МК.

С Майей Михайловной и с ее мужем Родионом Константиновичем Щедриным мы встретились на их московской квартире. Большая квартира в центре Москвы, антикварная мебель, хорошая старинная живопись, элементы творческого беспорядка, ноты, документы.

Майя Михайловна была абсолютно убеждена, что эту публикацию организовала ее тетка – Мита, так родные звали Суламифь Мессерер. В свое время она была одной из ведущих балерин Большого театра, привела Плисецкую в балет. После ареста отца и ссылки матери взяла племянницу к себе. Считая, что племянница ей обязана жизнью, пыталась установить полный диктат. Характер у нее был тяжелейшей: упорная, конфликтная. Она делала много добра, но потом истязала людей, при каждом удобном случае напоминая о сделанном ею, обременяя родственников и знакомых обязанностью быть ей благодарными не только словами, но и делами. Майя

Михайловна рассказала, что ее любовь нередко сменялась ненавистью. Плисецкая, судя по ее биографии – и этого она в своей книге не скрывает, ее характер тоже не подарок, в роду у нее дипломатов не было – особой гибкостью не отличалась. Коса нашла на камень, когда сын Суламифь Михаил Мессерер, закончив хореографическое училище, претендовал на дебют с Плисецкой, которая не видела в Михаиле своего партнера. Суламифь как любая еврейская мама считала своего сына гениальным танцовщиком и требовала от Майи Михайловны, чтобы та танцевала с ним. Судя по всему, Михаил был весьма посредственных способностей, а Майя Михайловна за счет своего поразительного таланта и трудолюбия уже была примой и в категорической форме сказала: «Нет». Конфликт закончился полным разрывом отношений.

Характерец Плисецкой я испытал и на себе. 4 августа 1999 года в газете «Коммерсантъ» была опубликована статья Юлии Папиловой «Голос крови», в которой автор комментирует судебный процесс так, как она его понимает.

Через несколько дней у меня состоялся довольно жесткий разговор с Родионом Константиновичем. Главная претензия состояла в том, что я допустил выход такой публикации.

Я ответил письмом.

«Дорогие Майя Михайловна и Родион Константинович!

Не скрою, меня огорчил разговор с Родионом Константиновичем.

1. Недопонимание происходит, как мне кажется, из-за того, что есть некий разрыв между восприятием ситуации на эмоциональном и подсознательном уровне и реальной правовой ее оценкой и принятием решений и осуществление действий в связи с такой оценкой.

Если вы обратили внимание, что я двигаюсь к окончательной цели последовательно, поэтапно. И это правильно с точки зрения достижения стратегии для достижения окончательного результата. Пройдя первую стадию подготовки к процессу, которая была довольно длительной даже для исков такого рода, мы подготовились к процессу так, что победили с первого захода. Мне нужна была победа беспорная. Слишком велик риск.

Вы можете возразить: какая проблема? Все ясно. Да, ясно, что

Глаговская не дочь, но позицию, которая заняла редакция и журналист состояла в том, что они с данным фактом по сути согласились. Но их позиция состояла в том, что не они распространяли эту информацию, а они только лишь изложили факты того, что говорила и писала Глаговская. А факты того, что Глаговская писала письма и утверждала, что она дочь, действительно имели место.

Адвокат «Московского комсомольца» привел такой наглядный пример: Газета опубликовала фотографию, на которой изображен человек с плакатом на котором написано: «Ельцин – вор». «Значит ли это, – сказал адвокат, – что газета должна проверять: Вор Ельцин или нет».

Если бы нам не удалось разбить их позицию, то отказ нам в иске мог быть расценен и воспринят как то, что дочка-то была.

А такое решение нанесло урон не только Вам, но и моей репутации, которой я очень дорожу.

Решение еще не вступило в законную силу. Заседание кассационной инстанции назначено на 2 сентября, а поэтому я не очень спешу делать какие-либо телодвижения, хотя письмо прокурору Израиля направил.

2. Предотвратить публикацию в «Коммерсанте» я не мог, да и не считал нужным. Юлию Папилову я знаю несколько лет и то, что она не «куплена» я отвечаю головой. То обстоятельство, что она не привела мой довод, который Вы, Родион Константинович, считаете главным, не означает ее ангажированность.

Во-первых, этот довод был важен для Суда, возможно он важен для обывателя, но для юриста важнее довода, чем решение Суда, быть не может. Даже факт того, что Земля вращается вокруг Солнца, не есть довод для юриста. Но если об этом скажет Суд, то таки она действительно вращается.

Во-вторых, я сам не очень «люблю» это доказательство – заключение гинекологов. По-моему, он какой-то не эстетичный. Для Суда – это доказательство, это аргумент, а для публики, для читателей!?! Сомневаюсь.

Больше того, я попросил Юлю Папилову задать Глаговской несколько вопросов, она сделала это по моей просьбе. Для дальнейшего информация будет иметь значение.

Я на связи.

Свидетельствую Вам, Майя Михайловна, и Вам, Родион Константинович, свое глубокое уважение и, надеюсь, что это письмо поможет прояснить недопонимание, которое возникло».

Больше трений с Плисецкой и Щедриным не возникало.

На гастролях в Японии в 1980 году Суламифь вместе с сыном обратились в посольство Великобритании с просьбой о предоставлении им политического убежища. В своей книге «Я – Майя Плисецкая» великая балерина подробно описывает отношения в многочисленной семье Плисецких – Мессереров.

Мне позвонил и попросил взять защиту Плисецкой художник Борис Мессерер, также известный как муж чудной и нежной Беллы Ахмадулиной, с которыми мы познакомились в 1994 году в моей первой поездке в Израиль. По-моему, это были первые большие гастроли творческой группы из России. Группа шестидесятников, – так мы их называли. Я решал какие-то юридические вопросы, а поэтому мы с моей женой Надюшкой, уже бывшей, были включены в группу поддержки. От звездных имен рябило в глазах. Олег Ефремов, Эммануил Виторган, Василий Лановой, Вахтанг Кикабидзе, Нани Брегвадзе, Лариса Голубкина, саксофонист и большая умница Леша Козлов, с которым мы в свободные минуты обсуждали Льва Гумилева и его «Этногенез и биосфера земли», Белла Ахмадулина с Борисом Мессерером. Почти со всеми мы подружились.

В своей книге «Тринадцать лет спустя. Сердитые заметки в тринадцати главах» Майя Михайловна так описывает обращение ко мне за защитой: *«Друзья советуют мне прибегнуть к помощи известного московского адвоката Бориса Кузнецова. Его очень хвалят. Странное совпадение, но первого мужа моей тети Суламифи Мессерер тоже звали Борис Кузнецов. Принесет ли мне это совпадение успех в моем желании обличить ложь? Может, наоборот? И я встречаюсь с адвокатом Кузнецовым. Он безвозмездно соглашается мне помочь».*

В концентрированном виде излагаю позицию защиты.

– Майя Михайловна, можете вспомнить, где Вы были в сентябре 1976 года? Спросил и по длительности паузы понял, что получить ответ на этот вопрос нереально.

Пока я выслушивал полные экспрессии и неподдельного возмущения Плисецкой, Родион Константинович больше помалкивал, иногда кивал или вставлял замечания. Если у Плисецкой негодование выливалось наружу, то Щедрина вся эпопея с «дочерью» была неприятна. Не то, чтобы он верил в этот бред, но я хорошо представлял себя на его месте, когда любимую обвиняют в супружеской неверности.

– Майя Михайловна, а допускаете ли Вы проведение генетической экспертизы?

– На всех мошенников у меня кровушки не хватит. У меня есть в Мюнхене профессор-гинеколог, он вполне может сделать заключение, что у меня никогда не было детей. Устроит?

– Устроит, если справка будет переведена, заверена нотариально и апостилирована.

Я провел краткий курс правового ликбеза.

– По гражданскому праву на истца по делам о защите чести и достоинства возложена обязанность доказать факт распространения сведений и то, что они порочат истца, а ответчик обязан доказать соответствия сведений действительности. К сведениям относятся факты негативных поступков, например, совершения преступлений, или сообщение о наличии психического заболевания, супружеской измене. При этом оценка личности и вообще высказывания негативного мнения о человеке – это не факты и не сведения. Законодательство четко разграничивает право на свободу изложения своего мнения и защищаемые правами человека на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, правом на обращение в государственные органы.

– Закон не требует от нас, чтобы мы доказывали, чтобы факты, опубликованные в газете – правда. Это должны доказать редакция и автор публикации. Но мы должны не просто выиграть это дело, в чем я не сомневаюсь, мы должны не просто победить, мы должны учинить разгром. Но и этого мало, мы должны вывалить газету и журналиста в перьях, в дерьме – погоня за сенсацией, за тиражом газеты не должна проходить асфальтовым катком по человеку. А поэтому не торопите меня, я должен очень тщательно подготовиться.

– Майя Михайловна, со мной в деле Елена Зингер, молодой, но очень профессиональный адвокат, цепкая, жесткая. Мы обычно

работаем по делам вдвоем или даже втроем, во-первых, есть с кем посоветоваться, во-вторых, мы не срываем процессов, если один из адвокатов по какой-то причине не может, то есть второй. Не возражаете?

Майя Михайловна не возражала.

Не могу не сказать о Лене Зингер, которую в Адвокатском бюро звали не иначе как Кука. Она ко мне попала сразу же после окончания МГИМО, который закончила с отличием, свободный английский и китайский языки, не просто блестящие знания права, но глубокое понимание глубинных процессов права, взаимосвязь и взаимозависимость отдельных отраслей, конкретных норм, а главное, умение применить все это в конкретных делах. В Бюро работали замечательные профессионалы, но Кука была особенная: очень эмоциональная и очень рассудительная, нестандартно мыслящая. Высокая, с типично еврейской внешностью, с огромными глазами, которые занимают половину лица. Мы с ней провели не один десяток процессов, которые практически все закончились для наших клиентов положительно, в значительной степени из-за ее изобретательности, отсутствия стандартов и стереотипов в подходах к стратегии и тактике защиты. К моему сожалению и к нашему общему счастью, она вышла замуж, живет в Греции, мы постоянно на связи, иногда видимся, иногда я обращаюсь к ней с просьбами.

Лена Зингер готовила все основные процессуальные документы по этому делу. Участвовала со мной в процессе, во многом благодаря ее усилиям, процесс был выигран, аж дважды.

Три месяца мы готовили процесс.

Были получены ответы из УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, что Борис Глаговский в штате КГБ СССР никогда не состоял.

Библиотека Конгресса США прислала несколько сотен упоминаний в мировой прессе о Великой Балерине, такой же список на несколько тысяч ссылок и публикаций я запросил в Публичной библиотеке.

Командировка в Питер для меня всегда в радость. Люблю побродить по знакомым с детства местам, зайти в школьный двор, где уже нет школы, постоять под окнами бывшей питерской квартиры, всматриваться в лица прохожих, выискивая своих одноклассников.

С трудом нашел участкового. Молодой сержант только неделю назад заступил на должность.

– Дима, я буду делать установку по дому, а Вы меня прикройте.

Парень не знал ни что такое установка, ни как она проводится.

– Установка – это такое оперативное мероприятие, при проведении которого негласным способом по месту работы или жительства мы получаем информацию о человеке, который нас интересует. При этом установка проводится под легендой, а иногда и с документами прикрытия. Когда мы подходили к домоуправлению, уже возникла легенда прикрытия: Я ищу родственников некого Михельсона, который скончался в Израиле и осталось наследство.

В домоуправлении сведения о семье Глаговских были скудные, данные о месте работы отца и о школе, где училась Юлия Глаговская, отсутствовали. Мы с Димой стали последовательно обходить квартиру за квартирой.

– Дима, Вы помните, из фильма «Семнадцать мгновений весны»? Штирлиц заходит к сотруднику гестапо, задает вопрос, который его интересует, а затем просит у него лекарство – и его сакральная сентенция: «Всегда запоминается последняя фраза».

Словоохотливые старушки перечислили всех, кто жил в доме и уехал в Израиль, вспомнили и Глаговских.

– Да если бы он работал в КГБ, поехал бы он в Израиль?

– Может, как наш разведчик.

– Да что ты несешь, Спиридоновна, он работал на автобазе какой-то, еще машину давал Степан Петровичу, который переезжал...

Степан Петрович был дома. Пенсионер оказался на редкость говорливым.

– Хороший мужик Борис, работал на автобазе, снабжением занимался, ...да я к нему заезжал на работу в автобазу облисполкома у Спас-Преображенского собора, зря он уехал, это его Людка жена подбила, и девчонку их помню, она училась в школе перед Русским музеем, а вот как зовут ... забыл. После этого тридцать минут мы с участковым морочили старику голову, расспрашивая о несуществующем Михельсоне, рассказывая несуществующие детали его биографии.

– А вот скажите, зачем нужен был весь этот марафет, ну сказали бы, что Глаговским интересуемся?

– Дима, ты прав. Можно было просто ограничиться беседой, не камуфлируя цель и наш главный интерес, но, во-первых, не хочется на живого и порядочного человека бросать хоть малейшую тень подозрения, во-вторых, раз уж мы познакомились, должен же я тебе показать, как проводится классическая установка. Я по молодости лет однажды залетел... В Дзержинском райотделе я начинал опером, и поручили мне провести установку по месту жительства сестры одного расхитителя, который разыскивался. У Сенного рынка дом, Московский проспект, дом 4. На всю жизнь запомнил. Я зашел к одним соседям, к другим, а на лестнице мне попался веселый разговорчивый мужик, я с ним по-науке, о тех... о других расспрашиваю, Гурфинкеля вспомнил. Он знал его хорошо, все про него рассказал... Я пришел в райотдел довольный, справку написал подробную, мой начальник – Надежда Георгиевна Беляева похвалила меня. Правда, в адресе у сестры Гурфинкель не появился. А когда через пару месяцев его задержали и вели по коридору, он мне улыбнулся и потрепал по щеке, это был тот самый мужик, с которым я битый час разговаривал на лестнице. Вот так, Дима.

В отделе кадров и в музее Большого театра я провел несколько дней. Первоначально просмотрел приказы по зарубежным гастролям и почти сразу обнаружил приказ о гастролях труппы Большого театра в Австралию с участием Майи Плисецкой. В репертуаре гастролей, который был приложен к приказу, в Австралии Майя Михайловна танцевала в балетах «Анна Каренина», «Лебединое озеро», «Айседора» и «Болеро». Как она позднее рассказывала, в Большом театре разрешения танцевать в спектакле «Болеро», «чуждом советской морали», дирекция ей не давала и мировая премьера балета была показана на сцене Зеленого континента.

Время гастролей совпадало с днем рождения «дочки».

Еще неделю я провел в Музее Большого театра, выискивая плакаты, афиши, буклеты.

Стадия подготовки к процессу была завершена. Справки из автобазы, ответ из родильного дома, объяснения врачей и медсестер аккуратно подшивались в адвокатское досье. Начался процесс в Пресненском районном суде Москвы.

Позицию газеты «Московский комсомолец» и автора публикации Симонова – а их интересы представлял сильный адвокат Андрей Муратов – мы примерно представляли, но объяснения, данные в суде ответчиками, неприятно поразили своим цинизмом. Позиция газеты и автора публикации выглядела примерно так: «Газета и журналист сообщили факт, что есть некая девушка – Глаговская, которая говорит, что она дочь Плисецкой. Так это или не так, газету не интересует, она сообщила только о заявлении Глаговской. Газете важно, что к этому факту привлечен интерес читающей публики».

Вопросы, которые мы подготовили заранее, не могли поставить в тупик адвоката, опытного в судебных баталиях, а поэтому мы с Леной решили не напрягать вопросами Андрея Муратова, а сконцентрироваться на перекрестном допросе автора публикации.

Была непроверенная информация, что в советское время Владимир Симонов работал на разведку, но участие в судебном процессе имеет свою специфику и Симонов растерялся под градом вопросов.

– Скажите, ответчик, в публикации содержится утверждение, что Глаговская является дочерью Плисецкой?

– Пожалуй...

– Пожалуй – да, или, пожалуй – нет?

– Пожалуй, да, но нам это известно только со слов Глаговской, чьи слова мы цитируем.

– В заголовках «У Майи Плисецкой есть тайная дочь в Израиле», «У знаменитой балерины обнаружился плод тайной любви» – это цитата Глаговской или это журналистский текст?

– Мы пересказывали суть сведений, которые нам сообщила Глаговская.

Дожимаю:

– Я не спрашиваю об источнике получения сведений, повторяю вопрос: Эти заголовки являются цитированием Глаговской или это Ваш авторский текст?

– Это не мой текст, заголовки придумали в редакции.

– Значит ли это, что автором этих заголовков являетесь не Вы, а тот сотрудник редакции, который их придумал? Вы отказываетесь от авторства, эти заголовки были поставлены вопреки Вашему мнению, чем нарушено Ваше авторское право?

Это, конечно, было слишком, и Симонов поторопился исправить оплошность.

– Нет, нет. Подпись под материалам моя, значит, она относится и к заголовкам.

– В Ваших заголовках содержится утверждение, что у Плисецкой есть дочь?

– (тихо) Да.

– Скажите громко и внятно.

– Да, да.

– Сведения об этом факте сообщила Вам Глаговская?

– Да.

– Вы обязаны были проверять сведения, которые она Вам сообщила?

– Я сообщил о том, что есть такая Глаговская.

– Вы только что показали, что Глаговская Вам сообщила, что она дочь Плисецкой, Вы должны были проверить этот факт?

– А как я это проверю?

– Вы сколько лет занимаетесь журналистской работой?

Симонов отвечает, называя двухзначную цифру.

– И Вы не знаете, как проверяется информация? Вы сняли трубку, позвонили Майе Михайловне? Спросили у нее: Вот здесь некая Глаговская, утверждает, что она Ваша дочь, это правда?

Ответа нет.

– Ваша Честь, я хочу услышать ответ на мой вопрос.

Судья (Симонову):

– Вы можете ответить?

– Нет, я Плисецкой не звонил.

– Вам известен пункт 2 статьи 49 Закона «О средствах массовой информации», которым на журналиста возложена обязанность проверять информацию?

– Да.

– Вы выполнили это требование Закона?

Симонов поворачивается к Андрею Муратову, но я на него смотрю в упор, не мигая, он молчит.

Симонов, не получая поддержки, выдавливает из себя:

– Нет.

– Вы в публикации ссылаетесь на то, что отец Глаговской – быв-

ший сотрудник КГБ, знаком с Плисецкой по зарубежным гастролям Большого театра. Так?

– Да, со слов Глаговской.

– Вы проверяли информацию об этом?

– Нет.

– Ваша Честь, ходатайствую о приобщении к материалам дела ответ из УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о том, что Борис Глаговский там никогда не работал.

Андрей Муратов поднял голову.

– А может он не в Ленинградском КГБ работал, а в центральном аппарате, в Москве?

Я согласно кивнул.

– Прошу приобщить ответ из Управления кадров ФСБ России, что Борис Григорьевич Глаговский в органах КГБ, ЧК, НКВД, МГБ, ОГПУ не числится. Прошу также приобщить справку, что Глаговский Борис Григорьевич работал инженером по снабжению автобазы Ленинградского облисполкома до отъезда в Израиль.

Андрей Муратов не унимался.

– Он мог в штате КГБ не состоять, а работать на негласной основе.

Я почувствовал себя жителем Тел-Авива и ответил вопросом на вопрос.

– Вы утверждаете, что гражданин Израиля Борис Глаговский агент КГБ, был или есть?

Андрюша Муратов в мою ловушку не полез.

– Я не располагаю сведениями о сотрудничестве Глаговского с КГБ.

– Ходатайствую о приобщении ответа из Санкт-Петербургского ОВИРа о том, что Глаговский до отъезда на постоянное место жительства в Израиль за границу не выезжал.

– Ответчик Симонов, Вы пишете, что Плисецкая родила девочку в спецроддоме. Вы проверяли эту информацию...

Ответа я уже не ждал.

– Прошу приобщить ответ из родильного дома № 13 города Санкт-Петербурга, что Людмила Глаговская родила 1 сентября 1976 года здоровую доношенную девочку, а Плисецкая в этом роддоме ни на родах и ни на лечении не находилась.

– А Вы знали, ответчик Симонов, где находилась Майя Михайловна Плисецкая 1 сентября 1976 года?

Вопрос также прозвучал риторически.

– Ваша Честь, прошу приобщить к материалам дела документы, подтверждающие, что Майя Михайловна Плисецкая, имея 52 года от роду, 1 сентября 1976, когда она, по версии газеты «Московской комсомолец» и Владимира Симонова должна была мучиться в родах в родильном доме, танцевала на гастролях в Австралии.

В материалы дела легли приказы, список трупы, гастрольный план, афиши, программки, буклеты, газетные отчеты в зарубежной и советской прессе, которые бесспорно доказывали, что с 26 июня по 6 сентября 1976 года Майя Михайловна Плисецкая танцевала для австралийских зрителей.

Моя речь была жесткая: кроме правовых вопросов, я коснулся важного, как я считаю, вопроса приоритета человеческой личности, ее прав и интересов. В тезисах речи были такие слова:

– Ваша Честь! ...Каким бы великим и значимым для общества, для страны, для истории мирового искусства ни была личность Великой Балерины Майи Михайловны Плисецкой, она остается человеком, с тем же комплексом многообразных социальных и человеческих проблем, который имеет каждый из нас. Она окружена близкими и родными, друзьями и знакомыми, она так же ранима, а может быть, и более чем другие, когда затрагивается ее репутация, ее личные качества – порядочность, честность, ее поведение в обществе, взаимоотношение в семье, наконец. Есть люди, и мы их сейчас видим на скамье для ответчиков, а это для них скамья подсудимых, для которых больше других обычных человеческих переживаний, тонких нитей человеческой души имеет значение аморфный читательский интерес. Мы судим их не только за нарушение Закона, за нарушение Конституции, где личность, ее интересы является самым важным приоритетом общества и государства, мы судим их за их черствость, за их безразличие к чувствам и переживаниям человека.

Мы судим их за безнравственность в журналистике, которая не только является четвертой властью, владеет умами и чувствами читателей, слушателей, телезрителей, но и создает нравственный климат в обществе. Мы судим их за разжигание низменных человеческих страстей, которые никогда не заменят такие понятия, как

порядочность, бережное отношение к людям. От ваших принципов нормального человека тошнит, от вашей газеты несет помойкой. Ради рекламы, увеличения читательской аудитории, ради повышенных гонораров, вы способны на низкие и недостойные поступки. У вас даже не находится мужества честно признать, что в погоне за сенсацией вы походя изваляли в грязи доброе имя человека.

Решение суда было категорическим: признать сведения о дочери Плисецкой не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство Плисецкой.

С ответчиков взыскали «запредельные суммы» – с редакции «Московского комсомольца» 10 тысяч рублей, а с журналиста Владимира Симонова 8 тысяч рублей.

Я тогда заявил:

– Если и дальше оценивать моральный ущерб в столь мизерные суммы, суды по-прежнему будут задыхаться от бесчисленных дел о защите чести и достоинства. Есть пока только один способ остановить поток порочащих людей публикаций – жесткие экономические санкции.

«МК», категорически не желая печатать никакого опровержения, и ее представители заявили, что намерены обжаловать решение суда.

Мы внимательно отслеживали российскую и зарубежную прессу, среди которых были крупнейшая русскоязычная газета США «В новом свете» и влиятельнейшее испанское издание El Pais.

В России же историю о дочери балерины напомнила читателям газета «Московские ведомости» (номер от 27 марта – 2 апреля 1999 года), не добавив к ней никаких новых подробностей, но при этом упрекнув Плисецкую в нежелании пройти генную экспертизу и расставить все точки над *i*. Мы подали иск на газету, требование об опровержении было удовлетворено, но издание в 2000 году было ликвидировано.

Майя Михайловна прокомментировала отказ «МК» печатать опровержение как «Сказочку без развязочки» – точное отражение ситуации.

И в самом деле – это был не конец.

Примерно через полгода мне стало известно, что решение по делу Плисецкой отменено по протесту заместителя Председателя Верховного Суда Виктора Мартениановича Жуйкова.

Как оказалось, секретарь Бюро неделю не заходила на почту, а мы переехали в другой офис, и извещение о принесении протеста и времени его рассмотрения я получил с опозданием. Секретарь был уволен.

Повод для протеста был формальным. Еще перед началом судебного процесса я попросил у Плисецкой доверенность на представление ее интересов в суде, она торопилась перед отъездом в Японию и оформить доверенность в России не успела. Я позвонил в Осаку своему приятелю, к сожалению уже покойному, Жоре Комаровскому, Генеральному консулу России в Осаке, блестящему знатоку Японии, профессору, владеющему бóльшим числом иероглифов, чем большинство японцев, а самое главное, понимающему ментальность нации, и попросил его связаться с Генконсульством в Токио и быстро без задержек оформить доверенность Майе Михайловне.

Поспешность при оформлении доверенности и, видимо, мой звонок Жоре Комаровскому сыграли злую шутку. Доверенность подписал консул в отсутствие Генерального консула и поставил «/», что означает на бюрократическом письменном жаргоне «за». Это формальное нарушение, а также мое отсутствие на заседании Президиума Верховного Суда привело к отмене решения. Я не разделял позицию Жуйкова. Главное, что имело место выражение воли доверителя, чтобы я представлял ее интересы, которое на самом деле имело место, доверенность подписана должностным лицом, который имел право такие доверенности заверять. У меня был ответ заведующего Консульским департаментом МИДа Николая Садчикова, (впоследствии он был послом в Швеции, потом представлял интересы России в Ватикане, мы с ним познакомились и подружились, сейчас, к сожалению, его нет в живых) что консул, подписавший доверенность, имеет право на ее подписание.

При повторном рассмотрении мало что изменилось по существу. Несколько веселых минут доставило ходатайство представителя «Московского комсомольца» Андрея Муратова о допросе в качестве свидетеля Юлии Глаговской и ее мамы, которые уже не-

сколько часов, пока шел процесс, общались с журналистами в холле Пресненского суда. Описанная в начале главы сцена как раз была при повторном рассмотрении дела Плисецкой.

Я возражал.

– Ваша Честь, что может показать Юлия Глаговская? Она, конечно, может вспомнить момент своего рождения, опознать тот орган, благодаря которому она была произведена на свет, идентифицировать его как орган Майи Плисецкой, помнить, как ее новорожденную забрали от Плисецкой и подложили в постель Людмиле Глаговской, но этот ее феномен, помнить все с момента своего рождения, должны исследовать психиатры. Что же касается подтверждения факта ее встречи с собственным корреспондентом газеты, письма, которые она писала Суламифь Мессерер, то у защиты Плисецкой нет сомнения, что все, о чем написано в статье, написано со слов Глаговской.

Суд отказал в допросе Глаговской, хотя я немного и жалею, что ее не допросили, это было бы смешно.

В холле перед дверью в зал судебного заседания Глаговские стояли, прильнув к двери, и слышали мои доводы, которые были приведены в возражениях на ходатайство Муратова.

– Это мы сумасшедшие? Да я тебя засужу. Он нас оскорбляет. Мы уже в суд подали на Плисецкую о признании материнства.

– Мои предположения о необходимости обследовать маму и дочь специалистам в области психиатрии не лишены оснований. И вы могли только что в этом убедиться, господа журналисты, – сказал я, обращаясь к представителям четвертой власти.

В одном из перерывов я попросил репортера из судебного пула Любу Шережик спросить у Глаговских про Бориса Глаговского, почему его не пригласили в качестве свидетеля, ведь это самый полноценный свидетель.

Мамаша отодвинула дочь от микрофонов:

– Мы с ним развелись, он считает нас сумасшедшими.

Холл содрогнулся от хохота.

«Экспресс-газета» попросила меня прокомментировать иск Плисецкой, мое интервью на разворот было опубликовано в четвертом номере за август 2001 года. Собственно, ничего нового я не

сообщил, тем более, что публикация вышла после решения суда. Гораздо большей интерес вызвало интервью Юлии Глаговской, которое она дала тому же специальному корреспонденту Борису Кудрявову, опубликованному в восьмом номере той же газеты.

Юля рассказала много интересного. Больше других досталось корреспонденту «Московского комсомольца» – автору публикации Владимиру Симонову. Оказалось, что публикация не была согласована с Глаговской, что он тайно записал разговор с Суламифь Мессерер на диктофон.

– Симонов подставил всех.

Еще один пассаж Глаговской:

– Плисецкая совершила крайне необдуманый поступок: подала в суд. Этим судом, сама того не ведая, она заварила кашу, которую не может расхлебать три года.

Досталось и мне.

– Стиль его (Кузнецова) работы – пошлый, мерзкий, наглый, выходящий за рамки адвокатской деятельности.

Заявление о возбуждении уголовного дела о клевете на Юлию Глаговскую я направил в прокуратуру Израиля. Мать и дочь Глаговские не уставали повторять, что засудят то ли Плисецкую, то ли меня за клевету и оскорбление. Естественно, страха быть привлеченным у меня не было, заявление, если бы оно и появилось, перспективы не имело. Мне было проще написать такое обращение, чтобы впоследствии не терять время на еще один судебный процесс.

Ни на меня за оскорбление, ни на Плисецкую о признании материнства Глаговские в суд не подали, деньги, которыми редакция «Московского комсомольца» оплатила их проезд в Россию, пропали зря.

Второй раз решение суда было аналогично первому: Признать сведения о внебрачной дочери Майи Михайловны Плисецкой не соответствующими действительности, порочащими ее честь и достоинство. Взыскать с редакции газеты «Московский комсомолец» и с корреспондента Владимира Симонова денежную компенсацию за причиненный моральный вред в размере...». Размер компенсации остался без изменения.

С Маей Михайловной после процесса я несколько раз встречался. Она побывала в моем доме-фрегате, к сожалению, я с ней так и не сфотографировался, постеснялся. Потом мы с Надюшкой были приглашены на ее юбилейный вечер в Большой театр.

«Не смиряйтесь, до самого края не смиряйтесь. Даже тогда – войте, отстреливайтесь, в трубы трубите, в барабаны бейте... до последнего мига боритесь... Мои победы только на том и держались. Характер – это и есть судьба», – Майя Плисецкая.

Спасибо, Майя Михайловна, я и не смиряюсь, и воевать продолжаю. Все, как учили.

Борис Аврамович Кузнецов – известный российский юрист, адвокат.

В качестве сотрудника уголовного розыска участвовал в раскрытии сотен преступлений. Как адвокат представлял, в частности, интересы бывшего генерала КГБ О. Д. Калугина по уголовному делу о разглашении государственной тайны, по иску к президенту СССР М. С. Горбачёву, председателю Совета министров СССР Н. И. Рыжкову и председателю КГБ СССР В. А. Крючкову о лишении наград, звания и пенсии.

В 2002-2005 годах представлял интересы потерпевших по делу о гибели атомной подводной лодки «Курск» — членов 55 семей подводников. Подверг резкой критике результаты официального расследования обстоятельств катастрофы, в том числе в своей книге «Она утонула. Правда о «Курске», которую скрыл генпрокурор Устинов».

11 июля 2007 года Тверской суд Москвы дал согласие на привлечение Кузнецова к уголовной ответственности. Адвокат покинул пределы России. По мнению самого Кузнецова, он подвергся преследованию за публикацию книги о гибели «Курска»

В феврале 2008 года Борис Кузнецов получил политическое убежище в США. В настоящее время живет в Риге (Латвия).

Леонид СТОНОВ

ДОЛГИЙ ПУТЬ ОТ ЧЕРТЫ ДО ЧЕРТЫ

Не столько рецензия, сколько воспоминания...

Я дважды залпом прочел книгу известного израильского писателя Давида Маркиша «От Черты до Черты» (издательство «Э», Москва, 2017). Несмотря на сердцебиение, которое она вызывает, мне захотелось еще раз осознать, что натворил Сталин, этот «замечательный грузин», как рекомендовал его Ленин, холодный убийца десятков миллионов собственных граждан. Хотелось бы понять, как все это могло произойти...

Ценность книги в том, что автор не только дополнил свидетельства семейной трагедии, оставленные его матерью, Эстер Маркиш – женой поэта Переца Маркиша, а также Александром Лазебниковым – братом Эстер и произведениями самого Давида, но и дал широкое полотно описаний страданий еврейского народа, достигших апогея в XX веке, веке-волкодаве, по точному определению Мандельштама.

Мой одноклассник Саша Аллилуев, племянник жены Сталина, Надежды Сергеевны Аллилуевой, рассказывал, что Сталин дважды в жизни смертельно испугался – когда застрелилась Надежда Сергеевна и когда соратники разбудили его и сообщили о нападении Германии на Советский Союз. Смертные приговоры лучшим людям страны он утверждал без страха и сомнения. Мой отец еще в конце тридцатых годов говорил, что Россия долго будет помнить Сталина и не сможет наладить экономику, а главное, не сможет восстановить духовную жизнь нескольких поколений своих граждан, пока не проведет суда над палачом миллионов и его системой... Прошедшее столетие показало, что отец был прав.

...Середина января 1948 года. Нам звонит поэт Лев Квитко и просит срочно позвать к телефону Давида Бергельсона. Обычно та-

кие звонки сопровождалась шутками. Бергельсон после войны не установил в своей квартире телефон, считая, что он мешает работать. Изредка он пользовался нашим телефоном, т.к. наши квартиры располагались на одной лестничной площадке. Обычно Давид был добродушен и остроумен, но на этот раз был суров и мрачен. Мы думали, что он опять станет жаловаться на плохой язык «Молодой гвардии» Фадеева, которую он, по заданию Союза писателей, переводил в эти дни на язык идиш. Но Бергельсон, слушая Квитко, вдруг как-то осел, будто потерял внутреннюю опору, и сказал в трубку только одно слово: «ПОНЯТНО». Заспешив домой, он выдал: «Михоэлс убит».

В течение нескольких последующих месяцев были арестованы почти все члены Президиума Еврейского Антифашистского Комитета (ЕАК) и было подготовлено «окончательное решение еврейского вопроса в СССР», сценарий которого разработал непосредственно Сталин.

В октябре 1948 года отец и я, как всегда в еврейский Новый год, посетили хоральную Синагогу в Большом *Спасоглиницевском переулке* Москвы. В те годы, чтобы попасть внутрь синагоги на Кол-Нидрей, надо было приходиться часа за 2-3 до начала службы. В тот день в синагоге впервые появилась Голда Меир, тогда еще Голда Меерсон, первый посол Израиля в Москве. Когда она вошла в синагогу, большая часть присутствующих пала на колени и воцарилась абсолютная тишина.

Люди еще не поняли резкого крена в советской политике на Ближнем Востоке, и молодые советские евреи продолжали обращаться в ЕАК с просьбой послать их на защиту Израиля от так называемых палестинцев и войск соседних арабских стран. Толпа взбудораженных, охваченных энтузиазмом евреев долго не расходилась, и мой папа-провидец, сказал тогда, что Сталин нам этого дня не простит...

Давид Маркиш вплетает судьбу своего отца, выдающегося поэта, в общую картину развития искусства в начале XX века. Большое внимание уделялось языку идиш, на котором творили еврейские поэты и писатели. Однако годы радужных надежд пролетели довольно быстро. В конце 20-х годов ситуация в Советском Союзе в корне изменилась. К сожалению, немногие понимали, что ждет их в

новой, враждебной, ксенофобской, все более авторитарной стране. Именно этим можно объяснить то, что многие еврейские деятели культуры вернулись в СССР «в среду языка идиш». Эти творческие люди в числе нескольких десятков тысяч других евреев из-за границы были обмануты коммунистической пропагандой, исходившей от Коминтерна. Они поверили, что Еврейская автономная область, образованная в составе Хабаровского края, станет в условиях тяжелейшего климата домом для советских евреев. Сегодня в Биробиджане живет меньше тысячи евреев...

Вот пример судьбы еврейского поэта. Михаил Гольдштейн, семья которого эмигрировала из России в Аргентину, одурманенный коммунистической пропагандой, в 30-х годах приехал с женой и дочкой в Биробиджан. Там их поселили в бараке, где в первую же зиму замерз насмерть его годовалый ребенок. Сам поэт был осужден, а по освобождению пошел добровольцем на фронт и погиб в самом начале войны.

Большое внимание в книге уделяется международным еврейским организациям, таким как социалистический БУНД и гуманитарно-экономический Джойнт, а также отдельным политикам, таким как Эрлих и Альтер, впоследствии уничтоженным НКВД. Большой раздел рассказывает об огромной финансовой и технической помощи американских фирм в развитии сельского хозяйства на юге Украины.

...Еще не закончилась Вторая мировая война, как поползли слухи о планах организации Еврейской автономии в Крыму. Наиболее проницательные люди считали, что это провокационная акция и что советские власти хотят отвлечь внимание общественности Запада от идеи создания независимого еврейского государства в Палестине. Поэтому трудно объяснить, что заставило руководство ЕАК и большое число евреев поверить этим слухам. Может быть, свою роль сыграла эйфория, связанная с триумфальной поездкой Михоэлса в США и Канаду в 1943 году. (Зная о международной репутации Михоэлса, Сталин отправил его и давнишнего агента Лубянки поэта Фефера для сбора денежных средств на нужды войны и для увеличения числа сторонников СССР.)

Многие евреи восприняли этот успех как поворот в советской национальной политике. ЕАК получил тысячи писем от советских

евреев с просьбой послать их в Крым для организации Еврейской автономной республики.

Как и следовало ожидать, слух об автономии в Крыму вскоре умер, но он успел раздуть антиеврейские настроения по всей стране. По-видимому, это было одной из целей, может быть, даже главной целью слухов, так как раскрутка этого проекта происходила после повальной высылки крымских татар в отдаленные районы Средней Азии и Сибири.

Постепенно накатила новая, более мощная волна государственного антисемитизма, евреям стало трудно устроиться на работу, поступать в ВУЗы, продвигаться по службе. Летом 1951 года я, будучи студентом биолого-почвенного факультета МГУ, оказался в Крыму для картирования степной части Крыма в зоне строящегося Северо-Крымского канала. По работе я встречался со многими агрономами совхозов. Никто из них даже не слышал об Еврейской автономии в Крыму, тем более, что в то время уже креп и развивался Израиль. Крым тогда усиленно заселялся жителями РСФСР и Украины. То есть, никаких реальных действий по организации еврейской автономии в Крыму не проводилось, да и не планировалось.

Как стало известно позже, в это время зверски пытали арестованных членов руководства ЕАК, стараясь выбить из них признания в поддержке организации Еврейской автономии. Есть доказательства, что с этой же акцией сталинской власти был связан арест жены Молотова, Полины Жемчужиной, которая несколько раз встречалась с Голдой Меир в Москве.

...Как известно, в августе 1939 года, после подписания советско-германского Пакта и секретных протоколов к нему, советское руководство прекратило антигитлеровскую пропаганду. Советское радио и газеты все четыре года войны сообщали об уничтожении немцами мирных граждан, прежде всего, коммунистов, но ОФИЦИАЛЬНО ни разу не говорилось об уничтожении евреев только за то, что они евреи. Издание подготовленной Ильей Эренбургом и Василием Гроссманом «Черной Книги» о геноциде в отношении евреев было запрещено. (ВПЕРВЫЕ полный текст этой книги был напечатан в Вильнюсе в 1993 году).

О Катастрофе евреев, названной Холокостом, население СССР

и сами евреи были почти не информированы. Отсюда опасные иллюзии, особенно в первые месяцы войны. Наша семья на себе испытала результаты отсутствия этой жизненно важной информации. В июле 1941 года мы с мамой эвакуировались из Москвы в Чистополь. Сестра моей мамы, Белла Зиновьевна Идлин-Волосевич, родилась и жила в Харькове. С самого начала войны мама стала забрасывать ее письмами и звонила ей каждый день, умоляя немедленно приехать в Чистополь. В ответ та каждый раз говорила и писала: «...Я скромная учительница, беспартийная, кто меня тронет?» Когда наш родственник Арон Турецкий, отвечавший за отправку оборудования Харьковского тракторного завода в глубокий тыл, говорил ей, что евреи приходят прямо на товарную станцию и он их размещает между станками, она даже обиделась: неужели он не понимает, что в товарном вагоне можно простудить ее полуторагодовалую дочку. В итоге Белла была расстреляна в Дробицком Яру.

К счастью ее дочка Алена выжила; ее спасли и прятали белорусские бабушка с дедушкой, Волосевичи, хотя это было для них смертельно опасно. В 1944 году мамина подруга, известная московская пианистка Елизавета Лойтер, которая прибыла в Харьков в составе фронтовой бригады, с трудом разыскала семью Волосевичей и привезла девочку в Москву, где ее удочерила наша семья.

Давид Маркиш не побоялся поставить точку в дискуссиях о существовании сталинского плана *решения еврейского вопроса*. До сих пор есть немало людей, включая историков, которые не верят, что план депортации евреев из крупных городов в Сибирь когда-либо существовал. Я, как и Давид Маркиш, абсолютно уверен, что такой план был разработан.

12 августа 1952 года сотрудники МГБ расстреляли почти всех членов Президиума ЕАК, а их семьи выслали в Казахстан и Сибирь. Выслали и всю семью Переца Маркиша, в том числе четырнадцатилетнего Давида.

Сталин вспоминает о докладной записке врача Кремлевской больницы Лидии Тимашук «об ошибочном диагнозе и неправильном лечении» члена ЦК ВКП(б) А.А. Жданова врачами Кремлевской больницы, написанной ею в 1948 г. В конце 1952 года Сталин под выдуманым им самим предлогом, что эти врачи планировали в будущем уничтожить других вождей, поручает руководителям

МГБ срочно арестовать и получить «признательные показания» медиков.

В начале ноября 1952 года, в числе других врачей и профессоров, были арестованы В. Виноградов, М. Вовси (двоюродный брат Михоэлса), Б. Коган, А. Гринштейн и многие другие. В январе 1953 года в газетах была опубликована информация о «Деле врачей». Народ мгновенно отозвался на это сообщение – тысячи людей по всей стране отказывались лечиться у врачей-евреев. В крупных городах органы власти стали составлять списки евреев для депортации, наченной сначала на февраль, а потом на март 1953 года.

В преддверии высылки евреев Сталин планировал напечатать в газетах письмо известных еврейских деятелей культуры, науки и промышленности, в котором обосновывалась не только необходимость депортации, но даже польза ее для еврейского народа. Но тут сталинский сценарий дал сбой: не все известные евреи согласились подписать это письмо. Одни под разными предлогами тянули время, другие уезжали из Москвы, а самые смелые даже открыто отказывались.

К счастью, тиран не успел осуществить чудовищный план. Он умер в день радостного еврейского праздника Пурим.

Давид Маркиш тщательно исследовал связанные с этим исторические документы (а также воспоминания Каверина, Эренбурга, Рейзена, Булганина, Снечкус и многих других), которые бесспорно доказывают, что такой план был и интенсивно готовился быть реализованным. От себя могу сказать, что лифтерша нашего подъезда в писательском доме в Лаврушинском переулке тетя Лена (Елена Ефремова), предупредила мою маму, что составляются какие-то списки и что мы в них есть.

Так существовало российское еврейство: ОТ ЧЕРТЫ ДО ЧЕРТЫ...

Книга Давида Маркиша является прекрасным памятником как героям-мученикам, так и всем безвинно убиенным евреям СССР.

Леонид Стонов родился в Москве. Сын репрессированного – его отец, писатель Дмитрий Стонов, в 1949 году был осужден на 10 лет за «антисоветскую пропаганду и агитацию».

Окончил биолого-почвенный факультет МГУ. Заведовал лабораторией в одном из НИИ. Автор двух книг и более двухсот научных статей и авторских свидетельств.

В 1979 году подал заявление на выезд с семьей из СССР. Пробыл в отказе более 11 лет. Остался без работы и был лишен ВАКом ученых степеней и званий за «антипатриотическое поведение». Впервые в истории СССР организовал советско-американское Бюро по правам человека. Несколько раз выступал в комиссиях американского Конгресса об антисемитизме и нарушении прав человека в бывшем СССР.

В США с декабря 1990 года. Является международным директором американской еврейской правозащитной организации UCSJ (Union of Councils for Soviet Jews).

Все шло великолепно, однако в ушах попрежнему пульсировало брошенное
Вэлом мимоходом в самом начале знакомства про золотую жилу. Боясь быть
назойливым, босс все-таки не выдержал и однажды спросил напрямую:

– Вэл, каков будет наш следующий шаг?

– Дорогой Марк, не торопись. Не пришпоривай коня, он и так скачет резво. Скажу
лишь одно: наш следующий шаг будет называться *аутсорсинг*

Леон Михлин

Когда-то, еще совсем юной и только начинавшей открывать для себя мир
чувственных наслаждений, она порой фантазировала о том, чтобы брать деньги
за любовь. Вот приходит к ней, скажем, симпатичный мужчина, который ей
нравится, и предлагает провести время вместе, а она ему отвечает игриво: «Если
заплатишь!» Сейчас, однако, выбирать симпатичных клиентов не приходится.

Евгений Кисин

В пространство смерти и в простор любви
Впадает время, тщась в водоворотах,
И вечность вырастает на крови
Чертополохом, черным стоном свода.

Михаил Ковсан

Статья рассказывала, как на мирный грозненский рынок в 1999 году неожиданно
свалилась российская ракета «земля-воздух». Публикация данного материала
являлась показательным моментом: есть ли возможность публиковать о
чеченской войне правду?

...Материал был уже сверстан и подготовлен к печати. Текст не просто
отредактировали, его полностью переписали, подставив мою фамилию. В
глазах потемнело, когда я беззвучно прочла: «Боевики-чеченцы из самодельных
ракетных установок обстреляли на грозненском рынке женщины и детей».
Меня затрясло от негодования.

Полина Жеребцова

Какой ответ вычитывается на мой вопрос «Хотят ли русские свободы?» Вот какой.
В данный исторический момент – не хотят. Или, лучше сказать, не готовы к
свободе. Народ, искорёженный... гнетом «самого свирепого деспотизма», не
обладает политической зрелостью, необходимой для жизни в свободном,
демократически устроенном обществе.

И в ближайшем, обозримом будущем Россия вряд ли превратится из закрытого,
авторитарного, с несменяемой властью общества в открытое общество западного
типа. Что до ее шансов в более отдаленном будущем, то повторю одну из
любимых поговорок: Never say never! Никогда не говори «никогда»!

Владимир Фрумкин

